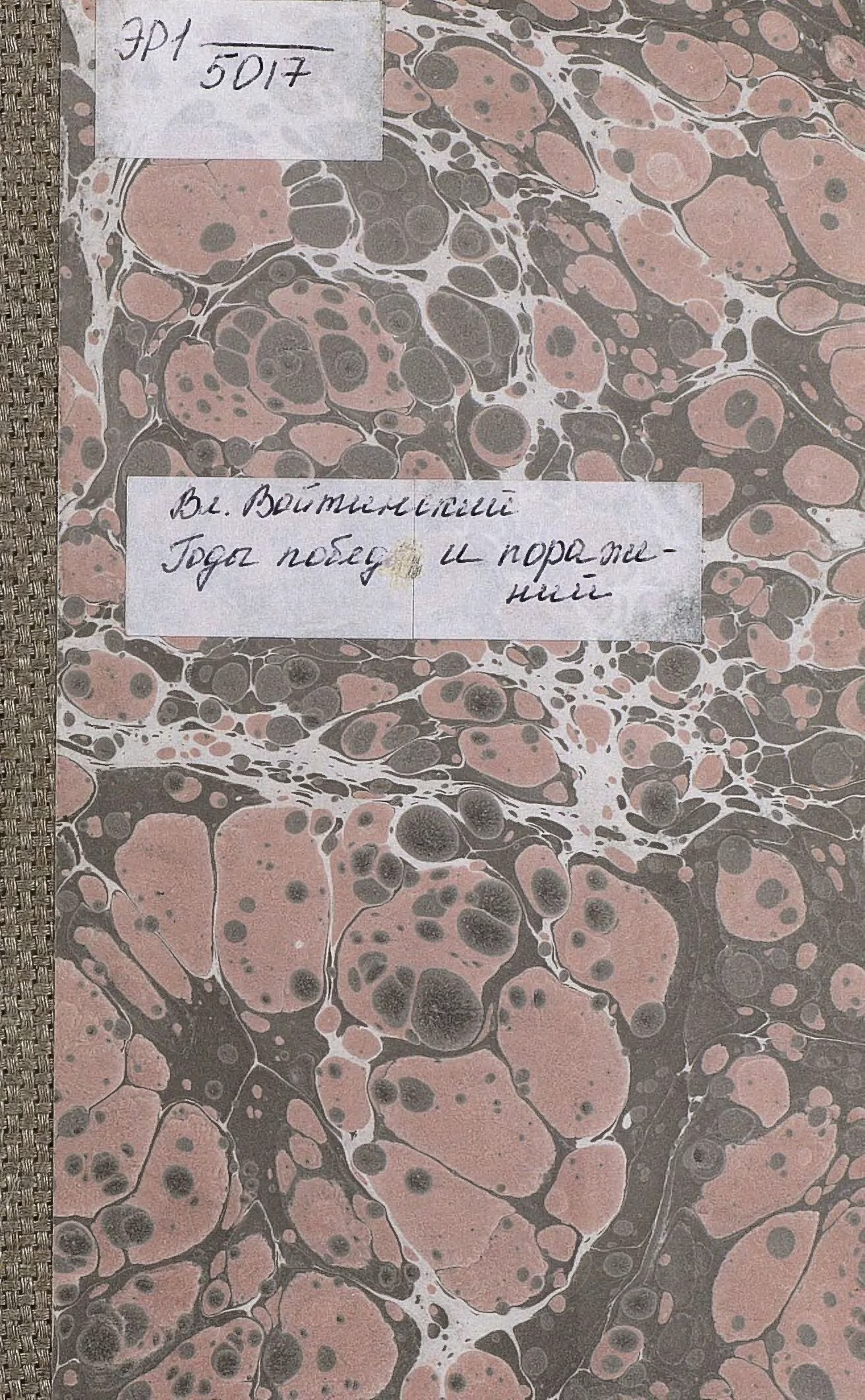

ЭР1 5017
Вл. Войтинский
Годы побед и пора-же-
ний

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 8

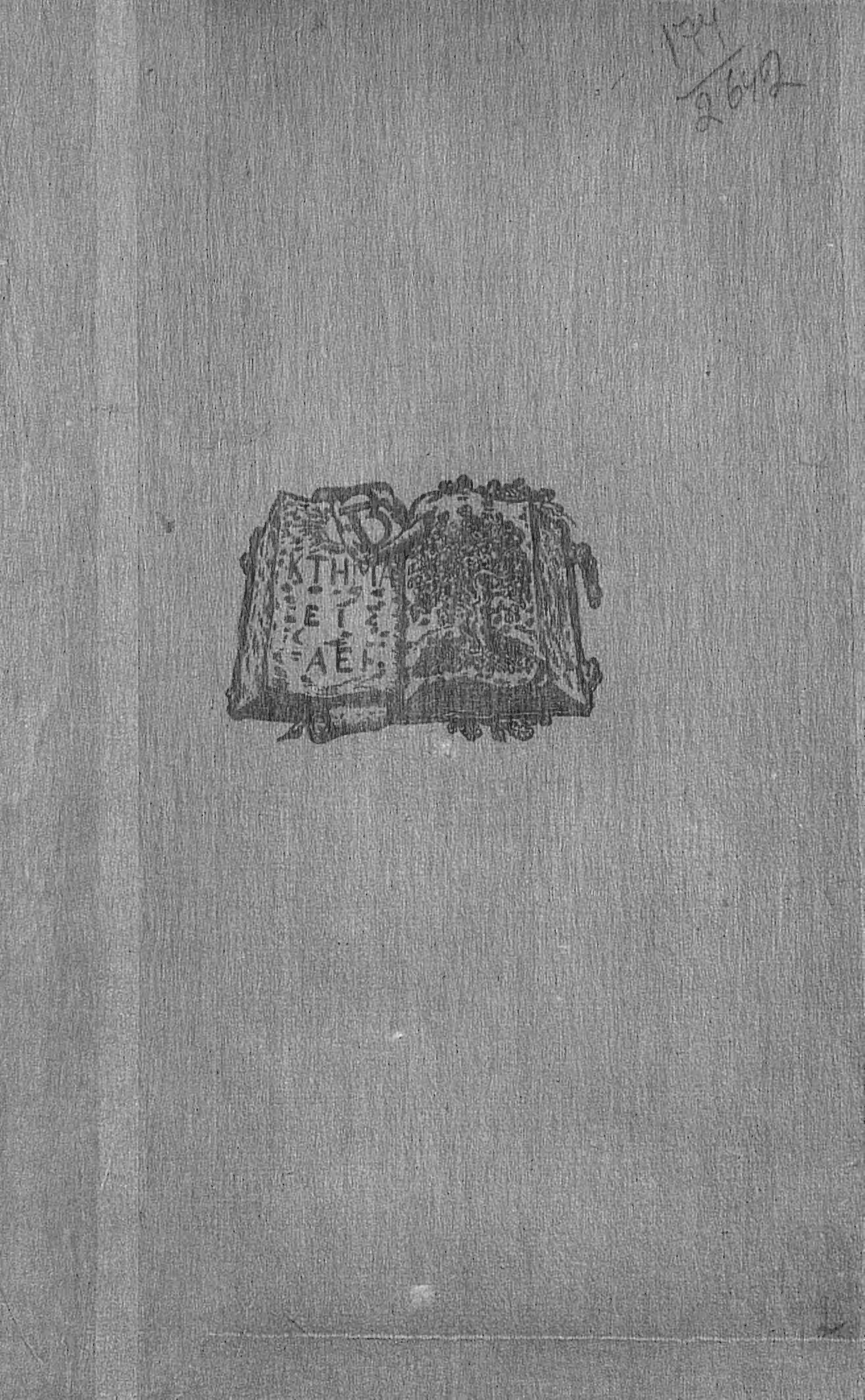
ВЛ. ВОЙТИНСКИЙ

ГОДЫ ПОБЕД И ПОРАЖЕНИЙ

КНИГА ПЕРВАЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
1923


ΚΤΗΜΑ
ΕΙΣ
ΑΕΙ

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

Вл. ВОЙТИНСКИЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА
1923

Вл. ВОЙТИНСКИЙ

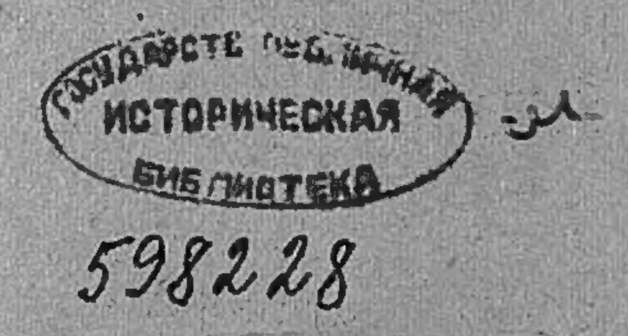
ГОДЫ ПОБЕД И ПОРАЖЕНИЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

1905-ЫЙ ГОД



ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН * ПЕТЕРБУРГ * МОСКВА
1923



Типография H. S. Hermann & Co., Berlin

1905-ый год

1905-ый год — это целая эпопея, необ'ятно широкая, бесконечно разнообразная. Догорающая война на Дальнем Востоке, Цусима, Ляоян и Мукден; солдатские бунты, восстанья матросов, разложение военной организации царизма; аграрные беспорядки; забастовки рабочих и уличные демонстрации; земская оппозиция, либеральная кампания в прессе, выступления Союза Союзов; волна погромов; Портсмут; борьба темных закулисных влияний, растерянность правящих верхов, их переходы от тупого упрямства к панике и от паники к безграничной самоуверенности; резкие колебания правительственного курса и общественных настроений, под'емы и падения революционной волны, — все должно найти свое место в картине этого бурного года, начавшегося расстрелом рабочих на улицах Петербурга и завершившегося разгромом восставшей Москвы.

Как рядовой участник событий 1905-го года, я видел непосредственно лишь небольшую часть этой огромной картины: так пловец непосредственно ощущает лишь несколько струек безбрежного потока. Этим определяются рамки моих воспоминаний: студенческое движение и митинговая кампания в Петербурге; рабочее движение осени 1905 г., при первом Совете Рабочих Депутатов; встречи с крестьянами.

Вл. В.

5

I. В УНИВЕРСИТЕТЕ

Студенчество в конце 1904 года. — 9-ое января. — Университетская сходка. — Лето 1905-го года. — Вступление в Р. С. Д. Р. Партию. — В подрайонном комитете. — Открытие Университета. — Начало университетских митингов. — Толпа и речи. — Коллегия митинговых ораторов. — Американские гости. — Конфликт с профессорами и Совет Старост. — Митинговая кампания и октябрьские дни в Петербурге. — Накануне всеобщей забастовки. — Тревожные дни. — Последний университетский митинг.

Осенью 1904 года, когда я 19-летним юношей поступил в С. Петербургский Университет, в студенческом движении наблюдалось затишье.

В это время студенчество уже не представляло собой сплоченной, однородной радикально настроенной массы, как в начале 900-ых годов. Уже в конце 1903 года всероссийский студенческий с'езд констатировал, что «повсеместным и наиболее характерным признаком настоящего исторического момента, переживаемого студенчеством, является более или менее резкая дифференциация в среде студенчества».

В последовавшее за с'ездом полугодие наметились дальнейшие признаки этого процесса.

Взрыв шовинизма, ознаменовавший начало русско-японской войны, увлек и студенческую массу. Радикализм ее поблек, на смену противоправительственным настроениям пришло увлечение национальной идеей, воплощаемой в «венценосном вожде» России.

В Петербургском Университете руководящая роль перешла от революционных студенческих организаций к ярко монархической корпорации «Денница». 28 января 1904 г., после обнародования манифеста о войне, в Актовом Зале собралась сходка адреса царю. Большинством 500 голосов против 300 был принят текст, предложенный «Денницей». Раздались звуки «Боже, Царя храни». Меньшинство принялось шикать. «Патриоты» пустили в ход кулаки. «Радикалы» были смяты и выброшены из зала. После шествия с трехцветными флагами по университетскому коридору, студенческая толпа двинулась к Зимнему Дворцу. И когда из дворца вышел к манифестантам петербургский градоначальник Клейгельс, в честь его кричали «ура», бросали в воздух фуражки, снова пели «Боже, Царя храни»....

Еще ярче проявился под'ем «патриотизма» в военно-медицинской академии: медики не только носили по улицам трехцветные флаги и царские портреты, но опускались на колени при проезде царских саней.

Лишь в Горном Институте и на Высших Женских Курсах противоправительственные настроения оказались сильнее шовинистического угара: горняки, сразу после появления манифеста, вынесли резкую резолюцию против войны; а сходка бестужевок постановила не допускать на курсах молебна «о даровании победы».

Вскоре воинственные настроения среди студенчества рассеялись, — как рассеялись они и в других кругах русского общества. О манифестациях первых дней войны вспоминали с чувством стыда и неловкости. Но от этого кратковременного при-

...намеренного «патриотизма» остался след ...ной дезорганизации радикальных элементов во всех высших учебных заведениях России.

Этим об'ясняется провал противоправительственных выступлений студенчества в 1904 г. (в Одессе, Петербурге, Москве).

Осенью 1904 г. среди студенчества можно было отметить **левых, правых и беспартийных.** Последних было всего больше, они собственно и составляли «студенческую массу». Но к левым беспартийные были значительно ближе, чем к правым. «Денница» была изолирована, не пользовалась влиянием и играла роль полуполицейской организации, — так смотрели на нее не только студенты, но и лучшая часть профессуры.

Впрочем, радикализм беспартийного студенчества был вялый, пассивный, теоретический. Чувствовалось, что дальше слов он не пойдет.

В центре политических интересов стоял вопрос о войне.

Напомню, что к этому времени исход войны достаточно определился: была уже уничтожена русская дальневосточная эскадра, была разбита под Ляояном русская армия; правда, еще держался Порт-Артур и на помощь Куропаткину, остановившему войска на мукденских позициях, тянулись новые полки, но Россия **была уже побеждена**, ибо в народе была убита вера в возможность одолеть врага, и никакие колебания боевого счастья не могли изменить этого факта.

Отношение большинства студентов к войне было вполне определенное. Ругали военное командование, издевались над сообщениями штаба о подвигах русских армий. Торжествовали при известиях об успехах Японии. Охотно толковали о нашей неподготовленности к войне, о неизбежности нашего поражения. Ждали, что поражение приведет к внутреннему обновлению русской жизни.

Нередко речь заходила о причинах войны. Из уст в уста передавались подробности о Безобразовских концессиях на Ялу. Рядом с этим шли рассуждения о том, что Япония совершенно права, стремясь утвердиться на материке, что на островах ей, действительно, тесно.

Большим успехом пользовались каррикатуры› изображавшие Николая II и Микадо. В среде политически незрелой молодежи Микадо внушал к себе уважение, — особенно рядом с русским царем.

Много говорили тогда о поздравительной телеграмме, якобы отправленной японскому императору студентами, — не то нашего Университета, не то какого то института. Конечно, это была провокаторская выдумка: ни один телеграф не принял бы подобного послания. Но психологически такое выступление не было бы невозможно и, пожалуй, не вызвало бы ни осуждения, ни удивления в студенческой среде.

Употребляя термин, который получил широкое распространение в последнюю, всемирную войну, я сказал бы, что осенью 1904 г. среди беспартийного студенчества преобладали пораженческие настроения, что пораженчество было в это время наи-

более обычной формой студенческого радикализма, оппозиционности.

Существовали в Университете тайные революционно-партийные организации (социал-демократическая, социал-революционная и др.), об'единенные «Коалиционным Советом». Кажется, у них были связи с подобными группами в других высших учебных заведениях и с партийными центрами. Как протекала внутренняя жизнь этих организаций, я не знаю, но их внешняя деятельность ограничивалась исключительно денежными сборами и распространением нелегальной литературы. У меня осталось вполне отчетливое впечатление, что в то время они большого значения не имели, и интереса к ним студенческая масса не проявляла.

Напротив, к революционной литературе беспартийное студенчество относилось с большим интересом. В Университете открыто продавались заграничные журналы («Искра», «Революционная Россия» и «Освобождение»), нелегальные брошюры, портреты революционных деятелей и теоретиков социализма, открытки с каррикатурами на Николая II.

Каждая политическая партия имела свой столик для продажи литературы. У эсдэков преобладали брошюры, у эсеров открытки и портреты.

Но в различиях между партиями стоявшая в стороне от кружков студенческая масса разбиралась слабо. «Освобождение» Петра Струве читалось точно так же, как социал-демократическая «Искра», — теми же лицами и с тем же удовольствием. Знали, что Струве за войну, а социал-демократы п р о т и в , но это представлялось второстепенной подробностью. Существенно было то, что

и «Освобождение», и «Искра», и «Революционная Россия» идут против самодержавия, ругают правительство.

Академическая жизнь протекала у нас во вторую половину 1904 года мирно, без потрясений, без конфликтов.

Уклон студенчества в сторону радикализма проявлялся в разговорах, в чтении нелегальной литературы, да еще в том, как относилась молодежь к различным профессорам.

Симпатиями пользовались лишь левые профессора. Но понятие о «левизне» было у нас довольно смутное.

«Левыми» считались: и Е. Тарле, читавший лекции о французской революции, и Л. Петражицкий, высказывавшийся с кафедры за академическую автономию, и В. Гессен, и А. Покровский, и многие другие, — короче, все те профессора, которые позже нашли свое место в Академическом Союзе, а еще позже — в рядах конституціонно-демократической партии или по близости от нее.

В 1904 г. радикализм этой части профессуры более или менее удовлетворял беспартийную студенческую молодежь.

В научных кружках, где под руководством профессоров и приват-доцентов занимались наиболее серьезные и работящие элементы студенчества, радикализм был ярче и носил более или менее ясную социалистическую окраску.

Здесь социал-демократы и социалисты-революционеры выступали почти открыто, — под прозрачными и никого не обманывавшими псевдо-

нимами «марксистов» и «сторонников суб'ективного метода в социологии».

Марксистов особенно много было в кружке политической экономии, которым руководил приват-доцент В. Святловский. Здесь я и познакомился впервые с партийными студентами, — познакомился, но не сошелся близко.

Дело в том, что я был в то время сторонником психологической теории ценности и со всей энергией защищал эту теорию против атак сплоченной фаланги университетских марксистов, уличавших меня за это в мелко-буржуазности[1]). Целые заседания кружка проходили в спорах между нами, и в результате за мной установилась репутация «марксисто-еда», — репутация, исключавшая возможность более тесного сближения с социал-демократической студенческой организацией, — единственной, которая сколько-нибудь интересовала меня. . .

Осень 1904 г. ознаменовалась началом общественного под'ема. 6-го ноября в Петербурге собрался с'езд земских деятелей, выработавший всеподданнейший адрес, в котором упоминалось о «безусловной необходимости правильного участия народного представительства, как особого выборного учреждения, в осуществлении законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов и в контроле над законностью действий администрации». Это было открытое требование конституции.

---

[1]) Замечу мимоходом, что ни одному из моих тогдашних оппонентов не было суждено остаться до конца в марксистском лагере, а иные из них вскоре ушли очень далеко вправо.

Из высших учебных заведений (в частности Московский Университет) представил с'езду заявления, подчеркивавшие необходимость добиваться созыва Учредительного Собрания, основанного на всеобщем голосовании.

Петербургское студенчество осталось в стороне от этой кампании, хотя, конечно, и у нас не трудно было бы собрать под подобным заявлением несколько тысяч подписей. Но у нас во-время никто не подумал о желательности такого выступления, а потом уже поздно было, момент был упущен.

Между тем, по всей России шли политические банкеты, публичные собрания научных обществ, открытые заседания городских дум и земских собраний, — проявления «весны» Святополка-Мирского.

Местами банкеты выливались во внушительные манифестации, в которых социал-демократическая партия и организованные ею рабочие играли заметную роль. Рядом с требованием государственных преобразований выдвинулся новый лозунг — немедленное прекращение войны.

Зашевелилось и студенчество. В Петербургском Университете начались разговоры о необходимости «уличного выступления». Стали подготовлять демонстрацию, в которой студенты должны были выступить вместе с рабочими.

Подготовлялась эта демонстрация до последней степени плохо. Полиция знала обо всех планах, а студенческая масса питалась лишь смутными слухами. Разгорелись споры между эсэрами и эсдеками — должна ли демонстрация быть **м и р н о й** или **в о о р у ж е н н о й**. Спорили в корридорах, на

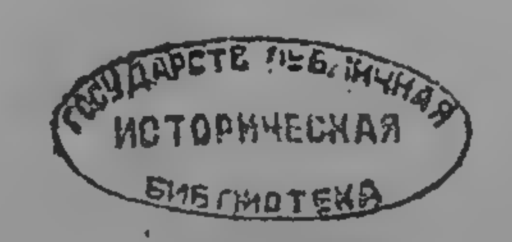
лестнице, в университетской столовой, в курильне, — совершенно открыто.

Наконец, назначили манифестацию на 28 ноября; затем, отменили это решение; потом, чуть ли не накануне, назначили вновь на этот день. Кончилось дело полным провалом: рабочие на демонстрацию не пошли, студентов и курсисток собралось очень мало (едва ли больше 150 человек). Все же в назначенное время на Невском проспекте, около Думы, выкинули красные флаги. Но налетевшая со всех концов полиция в одно мгновенье рассеяла «крамольников» и принялась по одиночке избивать их. Многие студенты, пришедшие на Невский Проспект с целью участия в манифестации, — в том числе их и я, — не успели даже присоединиться к демонстрантам, — так быстро кончилось все.

Вечером в этот день был традиционный благотворительный бал в Технологическом институте. В одной из аудиторий устроили сходку для обсуждения случившегося. Говорили представители различных партий. Это была первая нелегальная сходка, на которой мне пришлось присутствовать. И должен признаться, впечатление получилось у меня смутное и не очень благоприятное: было много красноречия, много споров, много жару, но ничего единого, целостного, сильного.

Неделю спустя была предпринята попытка уличной манифестации студентов и рабочих в Москве, — результат оказался тот же, что и в Петербурге: рабочие опять не пришли, опять студентов собралась крошечная кучка, и все кончилось, как и в Петербурге, избиением демонстрантов на глазах любопытной публики.

2 Войтинский.



После этих неудач настроение среди студенчества заметно упало. Казалось, не скоро выскажет студенческая масса на новое выступление, не скоро создастся возможность выявления в революционном действии ее оппозиционного, противоправительственного настроения.

Таково было мое впечатление от студенчества, когда, в декабре 1904 г., я уезжал из Петербурга заграницу.

Когда месяц спустя я вернулся в Россию, Университет нельзя было узнать.

Впрочем, и вся общественная жизнь до неузнаваемости изменилась за эти несколько недель. Сдвинулись все грани, переместились все группировки, появились новые силы, новые люди, новые лозунги, политическая борьба пробила себе новое русло. Да и я сам возвращался в Россию не тем, каким был месяц тому назад.

За этот месяц произошло 9-ое января.

* * *

Январские события застали меня во Флоренции. Я жил здесь в небольшом русском пансионе и целыми днями бродил по городу, любуясь сокровищами искусства, рассеянными в музеях, церквах и дворцах. А вечера проводил за газетами. Русские газеты приходили с большим опозданием и не каждый день. Но в городе можно было доставать французские и немецкие газеты. А кроме того, хозяйка пансиона — интеллигентная русская дама, уже давно заброшенная судьбой в Италию —

каждый вечер переводила нам из местных газет сообщения о русских делах.

Итальянская пресса уделяла в то время много внимания России, — точнее, впрочем, не России, а русско-японской войне.

Только что пал Порт-Артур. Печатались подробности о последних днях обороны, рассказы военно-пленных, описания вступления японских войск в крепость. Настроение газет — по крайней мере тех, с которыми я мог ознакомиться — было открыто руссофобское.

Об успехах японцев сообщали, как о новости, которая, несомненно, должна доставить удовольствие итальянскому читателю. О событиях внутренней жизни России писали мало — и то лишь в той мере, в какой эти события имели отношение к войне: передавали о признаках растущей разрухи, как о фактах, облегчающих Японии окончательную победу.

4-го января появилось в местных газетах сообщение из Петербурга: «Забастовал Путиловский завод, работающий на военное ведомство». Передавая эту новость, итальянские газеты подчеркивали, что Путиловский завод — самый большой из военно-механических заводов России, и что забастовка на нем задержит отправку на Дальний Восток Балтийской эскадры.

Помню, я не придал большого значения этому известию.

На другой день пришли новые вести: забастовочное движение в Петербурге разрастается; путиловские рабочие, рассеявшись по городу, обходят заводы и фабрики, призывают всех рабочих прим-

2*

к забастовке; многие предприятия уже остановились; ожидают, что забастовка станет всеобщей...

Газеты приводили подробности о происхождении этой, столь неожиданно вспыхнувшей, забастовки: дело началось из-за несправедливого увольнения с Путиловского завода четырех рабочих; за обиженных вступился заводской священник патер Гапони, но его обращения к администрации оказались бесплодны; тогда патер призвал к забастовке всех петербургских рабочих.

На личности патера газеты останавливались особенно охотно: итальянским читателям было интересно узнать, что их соотечественник Гапони стоит во главе широкого движения в варварской России.

У патера — огромная организация, одиннадцать отделов во всех частях города; русские рабочие чуть не молятся на него, слепо верят каждому его слову, готовы идти за ним в огонь и в воду.

— Что за чертовщина! думал я, пока хозяйка пансиона переводила нам из местной газеты все эти сообщения: Итальянский патер во главе русских рабочих! Всеобщая забастовка из-за увольнения четырех человек! Видно, о российских делах можно здесь врать, что угодно, — всему поверят.

6-го января петербургским событиям были посвящены в итальянских газетах целые колонки: забастовка охватила почти весь город; число забастовщиков превышает 100 тысяч человек; рабочие требуют восьми-часового рабочего дня; движение поддерживается революционными партиями; происходят

столкновения рабочих с полицией; для поддержания порядка вызваны войска.

По прежнему над всеми сообщениями царила фантастическая фигура патера Гапони (который, в представлении флорентийских газет, так и оставался до самого конца итальянцем и чуть ли не эмиссаром Святейшего Престола). Но за исключением этой подробности, в известиях, шедших из Петербурга, теперь уже не было ничего фантастическаго: развертывалась картина массового выступления пролетариата, подобная картинам рабочего движения Англии или Германии, о котором я знал из книг.

Я почувствовал, что там, в Петербурге, совершается что то огромное, было обидно и стыдно, что в эти дни я оказался так далеко от России, — почему то в чужой мне Флоренции, посреди мертвых памятников прошлого.

А вместе с тем насмешливый внутренний голос твердил мне: «Ну, а еслибы ты был в эти дни в Петербурге, что стал бы ты делать? Ведь вот, 28-го ноября, на демонстрацию то не попал, опоздал. А о том, как подготовлялись, наростали нынешние события, ты, сидя в Петербурге, знал так же мало, как еслибы всю жизнь прожил на необитаемом острове!»

Утром 7-го я с жадностью набросился на газеты. Телеграммы из России были помещены на первой странице, под огромными заголовками. Мне бросились в глаза набранные особенно крупно слова: «Св. Св. Петр и Павел».

Хозяйка перевела мне: речь шла о «крепости Святых Петра и Павла», то есть о «Петропавловке»:

накануне, в день Крещенья, крепость открыла артиллерийский огонь по Зимнему Дворцу; был дан залп по устроенным на льду мосткам для водосвятия, на которых находился царь с семьей, с приближенными и министрами; убитых нет, но много раненых...

Помню подробность, — заключительную фразу газетной телеграммы хозяйка перевела так: «Адмирал Авелан имел свою шляпу в куски».

Сообщение вызывало много недоуменных вопросов: Почему только один залп? И как это, в результате залпа на столь близком расстоянии, — ни одного убитого? И каким чудом уцелел Николай?

Но сколь ни казалось странным это стечение обстоятельств, еще менее правдоподобным представлялось предположение, что крепостные пушки осыпали царскую «Иордань» картечью по ошибке, вместо почетного салюта...

Новое известие невольно сплеталось с сообщениями последних дней. События приобретали окраску все большего драматизма.

А стачка в Петербурге разрасталась. 8-го января газеты сообщили о том, что газовые заводы и электрические станции примкнули к забастовке, и вечером город был погружен во тьму. В тот же день стало известно, что патер Гапон и решил предъявить царю петицию о нуждах рабочих, под петицией собираются подписи во всех заводских районах, и 9-го января все петербургские рабочие пойдут к Зимнему Дворцу для вручения этой петиции Николаю.

О содержании петиции газеты передавали разное. Точный текст ее, помнится, не был сообщен в телеграммах. Были приведены лишь основные требования: немедленное прекращение войны, созыв Учредительного Собрания, амнистия, 8-ми часовой рабочий день.

Как ни слабо я разбирался в то время в политических вопросах, для меня было ясно, что это — требования революционные. И потому я не мог понять пред'явление подобных требований в форме всеподданнейшей петиции.

Что означает это шествие рабочих к царскому дворцу? Откуда выплыл загадочный патер с нерусской фамилией, ведущий рабочих этим путем?

Вечерние газеты 8-го января сообщали, что рабочие едва ли будут допущены к царю, что правительство готовится к подавлению движения вооруженной силой, в Петербурге в общественных кругах царит тревога, и в воскресенье, 9-го, можно ожидать кровавых событий.

Дольше оставаться вдали от России я не мог, и 9-го утром я выехал в Петербург через Германию.

В Мюнхене пришлось задержаться на несколько часов, — от поезда до поезда.

Уже вышли вечерние газеты. Целые полосы были посвящены петербургским событиям. В аншлагах мелькали слова: «Кровавая баня», «Бойня», «Кровавое воскресенье», «Революция в Петербурге». С глубоким волненьем читал я описание событий этого дня.

Утром рабочие толпы со всех сторон города двинулись к Зимнему Дворцу. Во главе рабочих

...ского района шел священник Гапон[1]). Рабочие ... безоружны, несли церковные хоругви, кресты, иконы, царские портреты. У Нарвских ворот им преградили дорогу войска. Без предупреждения открыли огонь. Войска стреляли и у Зимнего Дворца, и на Троицком мосту, и на Васильевском Острове. Сотни рабочих убиты, тысячи ранены...

Поздно вечером вышли экстренные прибавления. На Васильевском Острове барикады... Повстанцы дерутся с войсками... Некоторые воинские части перешли на сторону народа...

Ждать на вокзале было долго. Время тянулось нестерпимо медленно. Я вышел в город и пошел бродить по незнакомым улицам.

Итак, там идет бой. Строятся барикады, гремят залпы, льется кровь. С болезненной отчетливостью все происходящее там я чувствовал теперь, как нечто близкое мне, кровно меня касающееся.

Обычной чередой катилась вечерняя жизнь города. Гремела музыка за ярко освещенными окнами кафэ. Горланили песни кучки студентов.

Неотступно сверлила мозг мысль:

— Почему я здесь? Разве здесь мое место?

Еще несколько дней тому назад я не считал себя революционером, и сама революция представлялась мне чем то далеким, каким то отвлеченным понятием. Никаких обязательств я на себя не принимал, — а все же в эту ночь мне было мучительно стыдно, что я нахожусь вдали от борьбы, вдали от опасности, в Мюнхене, а не в Петербурге.

[1]) Немецкие газеты называли его правильно.

Без цели бродя по улицам, я наткнулся на группу людей, стоявших около освещенной витрины с ночными телеграммами.

Человек в кепке читал вслух, остальные внимательно слушали. Помнится, речь шла о захвате рабочими оружейного магазина. Дочитав до конца, человек в кепке заметил раздумчиво:

— Ну, теперь у них пойдет!

Затем неожиданно обратился ко мне:

— Вы русский?

— Да.

— А, товарищ! Ну, поздравляю вас. У вас теперь все хорошо пойдет. Мы вам всего хорошего желаем. Мы все социалисты.

Кто то сказал:

— Может быть, в редакции — он назвал какую то местную газету — новые телеграммы получены?

Человек в кепке подхватил меня под руку:

— Пойдемте туда! Это вам будет интересно, да и всем нам тоже.

Долго ходил я с моими новыми знакомцами от редакции к редакции. Читали появлявшиеся в витринах новости, и нам казалось, что дела в Петербурге идут хорошо, что перевес в борьбе все больше склоняется на сторону рабочих.

Лишь на другой день, в Берлине, я понял, что это был самообман, что 9-го января не было восстания, не было борьбы, а была бойня безоружных людей. Казалось, что на этой бойне стремительный поток событий оборвался, что дальше, — по крайней мере, в ближайшие дни, — ничего не будет.

Нечего было спешить возвращаться в Россию...

Но нет! То и дело приходили известия, противоречившие представлению о наступившем после «кровавого воскресенья» затишье.

Пришла телеграмма о том, что восставшие колпинские рабочие идут на Царское Село. Передавали, что Царское Село окружено революционными силами и отрезано от столицы, что Николай II со своей семьей не то бежал за границу, не то собирается бежать. Пришла телеграмма о том, что священник Гапон освободил солдат от присяги царю. Шли сообщения о забастовках протеста в Москве, Вильне, Ковно, Киеве, Ревеле, Риге, на Кавказе.

В Европе происходили манифестации протеста против петербургских расстрелов. Собирались рабочие митинги, печатались резолюции. В итальянском парламенте социалисты требовали, чтобы правительство выступило оффициально с выражением негодования против политики царизма. В газетах появилась рубрика: «Революция в России».

Больше всего внимания уделял России „Vorwärts". Эта газета сделалась для меня необходимой, и я досадывал, что ее нельзя было достать в ближайших к гостинице кварталах.

Перед моим от'ездом из Берлина новую пищу дало газетам изданное русским правительством сообщение, что беспорядки в России подстроены японцами и англичанами с той целью, чтобы задержать отправку на Дальний Восток Балтийской и Черноморской эскадр. Эта выдумка, повидимому, была рассчитана на «внутреннее употребление». Но она проникла также и за границу

и произвела здесь впечатление, которого авторы выдумки не предвидели. Теперь о российском правительстве говорили и писали, как о собрании людей «в равной мере бесчестных, жестоких и глупых». Особенно резко выступали социал-демократические газеты, на Николае II сводившие свои счеты с Вильгельмом II.

О русском народе, о русских рабочих эти газеты писали братски дружественно, горячо, — для меня это было первое осязательное проявление той «международной солидарности пролетариата», о которой до сих пор я знал лишь из книг...

Приближаясь к русской границе, я упорно думал о событиях последних дней, старался понять их внутренний смысл, угадать, что будет дальше, определить свое место в потоке событий.

В воображении вставали картины, обвеянные романтикой Великой Французской Революции. Но я смутно чувствовал, что все это не то, что эти картины не похожи на действительность 9-го января, как непохожи и на ту неизвестность, навстречу которой я ехал...

На границе — привычная будничная картина. Проверка паспортов, досмотр багажа, жандармы. И дальше все по старому, — ничто не изменилось, ничто не сдвинулось с места.

— Где же революция? думал я: Неужели все это газетные выдумки?

И чем ближе под'езжал я к Петербургу, тем таинственнее казалась мне загадка встревоженной русской жизни.

Отчетливо ясно было лишь одно: что после 9-го января нет возврата к старому.

Это я чувствовал по себе.

* * *

Оглядевшись немного в Петербурге, я убедился, что к старому, действительно, не было возврата.

Впечатление, произведенное расстрелом 9-го января на все слои населения России, было огромно.

На митингах, банкетах, собраниях лозунгу «Долой самодержавие!» теперь рукоплескали люди, которые недавно еще утверждали, что подобные слова во время войны могут срываться лишь с уст тайных агентов Японии.

В Петербурге возбуждение было особенно велико.

Правда, на следующий день после «кровавого воскресенья» рабочие массы казались скованы ужасом и отчаянием. Проклинали Гапона, проклинали социал-демократов, обвиняли их за пролитую кровь. Но очень скоро это настроение сменилось другим, — ненавистью против виновников бойни, жаждой борьбы, жаждой мести. Революционизированью рабочих, усвоению ими урока 9-го января не мало помогла устроенная Треповым комедия приема царем «рабочей депутации».

Слова Николая II рабочим: «Я верю в честные чувства рабочих людей и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их» — задели за живое рабочих, были приняты ими, как издевательство убийцы над павшими жертвами.

Такую же оценку получили эти слова и в петербургских интеллигентских кругах.

Здесь почти каждый был свидетелем того или другого момента разыгравшейся драмы.

Когда я приехал в Петербург — это было до приема царем «рабочей депутации», то есть до 19-го января — в городе только и было разговоров, что о «кровавом воскресенье.» Особенное возмущение вызывали отдельные подробности: стрельба по церковным хоругвям у Нарвских ворот; убийство ребятишек, взобравшихся на деревья Александровского сквера, чтоб лучше видеть толпу и войска; императорский штандарт, поднятый над Зимним Дворцом, покинутым Николаем, и будто нарочно заманивавший в ловушку шедших к царю рабочих...

Гапон был героем дня, вокруг его имени слагались легенды. В бесчисленных списках ходило по рукам его обращение к народу:

«... Братья — товарищи, рабочие всей России! Вы не станете на работу, пока не добьетесь свободы. Пищу, чтоб накормить себя, и оружие разрешаю вам брать, где и как сможете. Бомбы, динамит — все разрешаю... Стройте баррикады, громите царские дворцы и палаты...

«Солдатам и офицерам, убивающим невинных братьев, их жен и детей, всем угнетателям народа — мое пастырское проклятие! Солдатам, которые будут помогать народу добиваться свободы — мое благословение. Их солдатскую клятву изменнику-царю, приказавшему пролить невинную кровь, разрешаю...»

Вся эта мистика — сочиненная, к слову сказать, не священником Гапоном, а инженером

Рутенбергом — казалась необычайно сильной, идущей прямо к сердцу народа.

Университет был закрыт, — в виду тревожных событий начальство решило продлить дольше обыкновенного рождественские каникулы. Наконец, появилось об'явление, что занятия возобновятся 7-го февраля. Одновременно стало известно, что в этот день, в 2 часа, соберется в Актовом Зале общестуденческая сходка.

Я пришел в Университет задолго до назначенного часа. Лестница и коридор были уже запружены студенческой толпою. Говорили об инциденте, происшедшем только что из-за приказа ректора Жданова не пропускать никого в Актовый Зал. Студенты, возмущенные этим приказом, не то выломали дверь, не то насильно отобрали ключи у сторожа, — и Актовый Зал наполнился молодежью. Председательствовал Замятин, студент-горняк, незадолго до того исключенный из Института. Его пиджак резко выделялся из моря форменных студенческих тужурок.

В порядке дня было два вопроса: 1) Последние события. 2) Как реагировать на них студенчеству?

Речи следовали одна за другою. Содержания их я не помню, — пожалуй, и на другой день после сходки я не сумел бы пересказать их. Да и не в содержании была суть этих речей, а в настроении, в той революционной страсти, которой были полны в эти часы ораторы и слушатели.

Лозунг всероссийской студенческой забастовки был встречен бурей рукоплесканий. Попытался выступить представитель «Денницы», но его не стали слушать. Настроение повышалось все больше

и больше. Когда предложение о забастовке было поставлено на голосование, целый лес рук поднялся над толпой.

— Обратное голосование! провозгласил председатель: Кто против?

Поднялось две-три руки.

В общем шуме не слышно было голоса председателя. Напрасно потрясал он в воздухе колокольчиком, пытаясь восстановить тишину. Сходка казалась оконченной. Часть толпы хлынула в двери. Вдруг раздалось:

— Товарищи, не рас-хо-ди-тесь!

На кафедре, покинутой Замятиным, появился длинноволосый студент в серой тужурке. На момент стихло все, — ждали, что будет дальше. В этот миг за кафедрой, против царского портрета, поднялся высоко над толпой деревянный шест. Раздался треск раздираемого холста.

Кто-то, в задних рядах, крикнул:

— Не надо!

Но огромная дыра уже зияла в портрете[1]).

— Долой самодержавие! гудел чей то громовый бас

Оцепенение, на мгновенье овладевшее толпой, уже прошло. С криком «ура», давя друг друга, студенты ринулись вперед на эстраду, на штурм царского портрета. Рвали из золоченой рамы покрытый краской холст; пестрые клочки мелькали в воздухе.

---

[1]) Впоследствии передавали, что инициаторами этого акта были студенты-анархисты. Не знаю, насколько это верно.

Было что то ребяческое в радостном возбуждении этих минут. Но трудно было не поддаться общему порыву....

Когда я выбрался в коридор, держа в руках порядочный лоскут холста, ко мне подошел незнакомый молодой человек в штатском и, отрекомендовавшись «представителем американской печати», просил меня уступить ему мою добычу.

— Это очень интересно для газет, об'яснил он на ломанном русском языке: У меня есть несколько кусков, но я хотел бы еще. ..

У него, действительно, все карманы уже были набиты реликвиями.

Вокруг нас смеялись: американец, собирающий клочки крашеного холста, казался безобидным чудаком. Но я тогда же подумал, что это не пустое чудачество, что молодой журналист правильно уловил значительность того, что произошло в Актовом Зале. ..

* * *

С середины февраля академическая забастовка охватила все высшие учебные заведения. Но студенты не раз'езжались из Петербурга. Оставались открыты университетская библиотека, общежитие и столовка; продолжала функционировать часть научных кружков. Университет с пустыми, закрытыми аудиториями оставался центром студенческой жизни.

Здесь мы получали нелегальные издания, толковали — по обывательски — о политике, узнавали новости.

А новости были такие, что от них все тревожнее бились сердца.

С театра военных действий приходили известия о новых поражениях. Рассеялась легенда о «геройской» обороне Порт-Артура. В конце февраля русская армия была разбита под Мукденом, 15-го мая погибла эскадра Рождественского под Цусимой.

Непрерывной волной шли рабочие беспорядки. Для рабочего класса России залпы 9-го января прозвучали, как звон набатного колокола. Забастовки ярко революционного характера прокатились по всем промышленным районам, — от Польши до дальней Сибири, от Прибалтийского края и Финляндии до Закавказья. Во многих местах были столкновения с войсками, порой барикадные бои.

В феврале начались частичные железнодорожные забастовки, — местами с экономическими требованиями, местами в знак протеста против бойни 9-го января.

С огромным волнением следили мы за кампанией, разгоревшейся в связи с комиссией сенатора Шидловского, образованной «для безотлагательного выяснения причин недовольства рабочих в гор. С. Петербурге и его пригородах и изыскания мер к устранению таковых в будущем»[1]).

Успех этой кампании в не малой степени способствовал росту престижа рабочего класса в глазах интеллигенции, в частности, в глазах студенчества. После 9-го января все признавали героизм петербургских рабочих; но трудно было при-

[1]) Не останавливаюсь здесь подробнее на этой страничке истории нашего рабочего движения, так как в то время, хотя я и следил с большим вниманием за развитием кампании, многое в ходе ее оставалось мне неясно.

3 Войтинский.

вшъ политически зрелой массу, шедшую за Гапоном. Комиссия Шидловского явилась недостававшим свидетельством сознательности этой массы.

Указ 18 февраля о «предоставлении частным лицам и учреждениям подавать царю проекты по вопросам государственного благоустройства» доставил либеральной оппозиции опорный пункт для наступления против «бюрократического строя». Усилилась кампания с'ездов, банкетов, петиций. Все громче в хор либеральных ходатайств врывался голос передовых рабочих.

Весной вспыхнули аграрные волнения. Со всех концов России шли известия о захвате крестьянами помещичьих земель, о разгроме усадеб.

А в июле усилились волнения в войсках. Пришли вести о беспорядках в гвардейских экипажах. Наконец, взвился красный флаг над «Потемкиным Таврическим».

Было ли это — революционное восстание или случайная вспышка темного бунта?

В записке, оставленной на свезенном на берег трупе убитого матроса, команда броненосца так освещала причины своего возмущения:

«Господа одесситы, перед вами лежит труп зверски убитого старшим офицером броненосца «Князь Потемкин Таврический» матроса Вакуленчука за то, что он осмелился заявить, что борщ никуда не годится. Товарищи! Осеним себя крестным знамением и постоим за себя. Смерть угнетателям! Смерть вампирам, да здравствует свобода!»

А пять дней спустя, та же команда извещала «весь цивилизованный мир»:

«Царское правительство решило, что лучше утопить страну в народной крови, чем дать ей свободу и лучшую жизнь. . .

«Однако, обезумевшее самодержавие забыло одно, что темная и забитая армия — это сильное орудие его кровавых замыслов — есть тот же самый народ, есть те же самые сыны трудящихся масс, которые решили добиваться свободы. И армия рано или поздно поймет это и сбросит, наконец, с себя позорное пятно палачей своих же отцов и братьев. И вот мы, команда эскадренного броненосца «Князь Потемкин Таврический», решительно и единодушно делаем этот первый великий шаг.

«Мы требуем непременной приостановки бессмысленного кровопролития на полях далекой Манчжурии. Мы требуем непременного созыва Всероссийского Учредительного Собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права. За эти требования мы единодушно готовы, вместе с нашим броненосцем, пасть в бою или выиграть победу».

Это было самое крупное событие в хронике революционной борьбы, — и ни у кого не являлось сомнения, возможен ли столь быстрый переход от борща к Учредительному Собранию. . .

Нелегальная печать горячо обсуждала вопрос о предстоящем вооруженном восстании, — о способах борьбы с артиллерией, пехотой и

3*

конницей, о постройке барикад, об организации штабов, о том, какие пункты города и в каком порядке должны занимать повстанцы. Казалось, поток событий стремительно несет нас к этой «последней схватке» народа с его врагами.

6-го августа появился манифест о созыве законосовещательной Государственной Думы. Либеральная оппозиция, после некоторых колебаний, склонилась к тому, чтобы «принять» детище Булыгина. Лозунгом социалистических партий и радикально-демократических групп стал бойкот[1]. Закипела борьба между либералами и революционерами вокруг вопроса о Думе. В ходе этой борьбы все отчетливее вырисовывалась мысль о восстании в связи с созывом Думы, — быть может, в тот самый день, когда Дума приступит к работам.

Лето 1905 года я провел на даче под Петербургом. Газетные известия о революционном движении действовали на меня почти так же, как в январские дни.

В течение всего этого периода, от января по сентябрь 1905 г., гегемоном революционного движения в России явно был пролетариат: рабочая кровь лилась в Петербурге, Лодзи, Варшаве, Нижнем Новгороде, Одессе. Было что то захватывающее, величественное и вместе с тем бесконечно трогательное в этом самопожертвовании тысяч простых, малообразованных людей во имя спасенья

---

[1]) Особую позицию, отличную и от «приятия» Государственной Думы и от «бойкота», заняла заграничная «Искра». Но эта позиция не была понята даже многими меньшевистскими организациями въ России и, во всяком случае, не оказала заметного влияния на широкие общественные круги.

страны от душащего ее самодержавного строя. Рядом с величием этих жертв, рядом с выступлениями рабочих масс, незначительной, почти жалкой казалась роль других общественных групп.

И это создавало неотразимо яркий ореол вокруг партии, поставившей своею целью — освобождение рабочих силами самих рабочих.

Как многие интеллигенты, и я испытал на себе гипноз героической борьбы пролетариата. С каждым днем все сильнее тянуло меня принять активное участие в этой борьбе.

И по мере того, как меня увлекало рабочее движение, все яснее становилась для меня теория марксизма, еще недавно казавшаяся мне «узкой» и «недостаточно научной».

Осенью 1905 г. я не был еще вполне последовательным марксистом, но уже чувствовал себя социал-демократом и горел нетерпением занять место в рядах социал-демократической партии.

* * *

Вернувшись в Петербург после летних каникул, я принялся разыскивать связи с социал-демократической партией. Встретился в канцелярии Университета с Борисом Бразолем, секретарем кружка политической экономии. Он был твердокаменным марксистом и считался в кружке «партийным» социал-демократом.

— У меня к вам просьба, сказал я ему: Я хочу вступить в партию, — укажите мне, куда обратиться.

Бразоль притворился удивленным:

— В какую партию вы хотите вступить? переспросил он меня.

— В социал-демократическую.

— Но ведь вы не марксист!

— Я считаю себя социал-демократом.

— Без трудовой теории ценности? Без материалистического понимания истории?

— Успокойтесь, и с тем, и с другим.

— Это меняет дело. Заходите ко мне завтра, я познакомлю вас с одним товарищем.

У Бразоля я застал незнакомого мне студента[1]). Маленький, подвижный, с огромной бородой, с блестящими, живыми глазами, с уверенными манерами, с насмешливой речью, — он, с первого же взгляда, напомнил мне гнома из сказки.

Начался допрос:

— Вы знакомы с программой Эр-Эс-Дэ-Эр-Пэ?

— Как вы сказали?

— Я спрашиваю, знакомы ли вы с программой Российской Социал-Демократической Рабочей Партии.

— В общих чертах...

— Но название «Эр-Эс-Де-Эр-Пэ» для вас ново?

— По правде, да. Я не обращал внимания...

— Да может быть, вы вовсе не эсдэк, а эсэр?

— Товарищ Бразоль, вероятно, уже передал вам, что я считаю себя социал-демократом, хочу работать в социал-демократической партии, готов подчиняться партийной дисциплине.

Переглянувшись с Бразолем, гном сказал мне:

— Это прекрасно, но самое существенное: большевик вы или меньшевик?

---

[1]) Это был А. Я. Каплан.

— Должен признаться, что я плохо разбираюсь в разногласиях между фракциями.

— Неужели? Но ведь это так просто! Прежде всего, вы за революционную борьбу или за соглашательство?

— За революционную борьбу.

— Это и есть точка зрения большевиков. Теперь следующий пункт. Как относитесь вы к участию социалистов во временном революционном правительстве?

— Я не знаком с этим вопросом.

— Но тут и вопроса нет! Неужели, низвергнув самодержавие, мы передадим все плоды победы в руки наших классовых врагов, в руки либералов, готовых в любой момент изменить революции? Ведь это было бы безумием! Вы согласны со мной?

— Да, но я хотел бы. . .

— Вы хотели бы знать аргументы меньшевиков? У них нет никаких аргументов! Ничего, кроме свойственного мелкой буржуазии страха перед революцией. Поверьте мне! А теперь третий пункт: как относитесь вы к Булыгинской думе?

— То есть? . .

— Вы сторонник участия в Думе, где либералы будут продавать царизму интересы народа?

— Разумеется, нет.

— Ну и прекрасно! Значит, вы большевик! Будем вместе работать. Вашу руку, товарищ! Остается сговориться о подробностях. Какую работу хотели бы вы взять на себя?

Немного смущенный той поспешностью, с какой гном зачислил меня в большевики, я признался,

что не ясно представляю себе, в чем именно могла бы заключаться моя работа.

— У нас имеются три вида работы, об'яснил мне мой собеседник: агитаторская, пропагандистская и организаторская. Организаторская работа не подойдет вам, раз вы не знакомы с историей фракционных разногласий. Пропаганда была бы скорее по вашим силам, но вы, кажется, насчет марксизма не очень тверды. .. Принимайтесь за агитацию!

— Согласен.

— В таком случае, мы вам сейчас район назначим. . .

Бородач, перелистывая крошечную книжечку, что то соображал. Бразоль предложил:

— Давайте пока Войтинского к нам!

— Это идея. Значит, университетский подрайон интеллигентского района. Прощайте, товарищ! Мне некогда.

Отметив что то в своей книжке, гном пожал нам руки и поспешно вышел.

По уходе его, Бразоль об'яснил мне, что я принят в большевистскую организацию Социал-Демократической Рабочей Партии; что во главе этой организации стоит Петербургский Комитет; что вся организация разбита на р а й о н ы, соответственно территориальному делению города, при чем высшие учебные заведения выделены в особый «интеллигентский район»; что я причислен к университетской ячейке этого района, и что на меня возложена агитаторская работа, то есть, выступления на собраниях, где я должен буду проводить директивы центра. В заключение Бразоль передал мне при-

глашение — явиться на следующий день в 8 часов вечера по такому то адресу.

* * *

Явившись туда, я попал на заседание университетского большевистского комитета, который, оказалось, успел уже кооптировать меня в свой состав. Заседали мы в бедно обставленной студенческой комнате. Кроме Бразоля и меня, присутствовали еще три человека, — все они показались мне хорошими ребятами, но недалекими, немного бесцветными. Один за весь вечер не проронил ни слова, лишь улыбался, показывая два ряда белых зубов, да кивал головой. Другой изредка вставлял в разговор короткие, ничего не значущие реплики. Третий — хозяин комнаты — говорил много и скучно.

Начали с организационных вопросов. Комитет конструировался в составе пяти человек. Распределили функции: хозяин комнаты — организатор подрайона и представитель университетского комитета в «районе», Бразоль — секретарь, молчаливый студент с белыми зубами — заведующий «техникой» (то есть, печатанием листков). Меня, после краткого обмена мнений, назначили комитетским «о р а т о р о м», решив, что я буду выступать от имени комитета на предстоящих сходках. Тут же предложили мне избрать партийный псевдоним и я, недолго думая, «присвоил» себе первое пришедшее на ум имя — «С е р г е й П е т р о в».

Сходок предстояло несколько, так как изданный 27-го августа указ об автономии высших учеб-

ных заведений ставил перед студенчеством множество новых вопросов. Но решающее значение должна была иметь ближайшая сходка, назначенная на 13-ое сентября. По поводу нее «организатор» представил нам обстоятельный доклад.

Первую сходку, говорил он, нам придется посвятить целиком тактическому вопросу: продолжать ли об'явленную в феврале забастовку, или открыть Университет?

Взгляд на этот вопрос «районного комитета» таков: продолжать забастовку нет смысла; Университет, как и другие высшие учебные заведения, нужно открыть и использовать для революционной работы. Эта тактика рекомендуется студенчеству Центральным Комитетом Партии[1]). «Организатор» ознакомил нас при этом с обращением Центрального Комитета «ко всей учащейся молодежи». «К моменту выборов (в Государственную Думу), говорилось в этом обращении, должны быть мобилизованы все силы революции, должны быть готовы к решительной борьбе и «академические легионы». Для этого вы должны собраться в университетских городах, вы должны воспользоваться вашими аудиториями, как трибунами для обличения правительства, как местом для революционных штабов ваших «легионов». Для этого, а не для мирных занятий, вы должны открыть учебные заведения... Вы используете аудитории и все те удобства, которые доставляют учебные заведения, чтобы совместно с пролетариатом немедленно же начать подготовку к вооруженному восстанию, этому един-

[1]) Большевистским.

ственному исходу русской революции. Широко агитировать идею **восстания**, знакомить товарищей **с задачами и техникой уличной борьбы**, выработать целесообразные формы организации **для боевого момента**, организовать **боевые дружины**, содействовать мобилизации пролетариата — за все это должно немедленно приняться революционное студенчество, и для этой цели оно должно обратить залы университетов и институтов в штаб-квартиры своей революционной работы».

Таким образом, Центральный Комитет, предлагая нам прекратить забастовку и открыть Университет, подчинял всю нашу тактику идее **вооруженного восстания**.

Когда произойдет восстание и **чем** будет эта последняя и решительная схватка народа с царизмом, мы не знали. Но пока что нам и не приходилось задумываться над этим вопросом, — от нас требовалось лишь открыть Университет.

Почти без прений мы приняли предложение Центрального Комитета. Тут же набросали проект резолюции и перешли к выработке подробностей ведения предстоящей сходки.

Наметили президиум: председатель Энгель (примыкающий к нашей группе), при нем два товарища председателя, — один наш, другой — по выбору эсэров. Условились относительно порядка дня. Наконец, постановили, что я должен буду выступить на сходке два раза: сперва — с докладом, а позже — с ответом противникам.

* * *

Готовясь к выступлению, я поинтересовался узнать, что пишет по стоящему перед нами вопросу «Искра».

Еще в июле (в № 107) «Искра» наметила широкий план тактики студенчества. Наибольшее значение газета придавала тем услугам, которые могут оказать студенты революционной толпе в качестве интеллигентных агитаторов, с одной стороны, в качестве лиц, обладающих специальными техническими знаниями, с другой. «Организованные уже в силу группировки своей по учебным заведениям, писала «Искра», эти тысячи легко возбуждающейся молодежи являются отличным проводником революционного тока и при начале великих массовых выступлений, и в частности, при начале народного восстания, могут оказаться незаменимым орудием в руках революционных партий. Роль, которую студенты играли во всех революциях при постройке и защите баррикад, при всяких «военных» действиях восставших народных масс, достаточно известна, чтоб не останавливаться на ней. Отсюда ясно, что в интересах революции в высшей степени важна концентрация студентов в тех крупных центрах политической жизни, какими являются наши университетские города, и поддержание той организованности студенчества, какая дается регулярным общением между ними в стенах высших учебных заведений. Под этим углом зрения и должен быть пересмотрен вопрос о тактике студенчества теперь, когда наряду с дальнейшим «подготовлением» революции, на очередь дня все более и более выдвигаются непосред-

ственные боевые действия народных масс».

Развивая далее ту же мысль, «Искра» писала:

«Мы должны готовиться к активным боевым действиям масс. Разумеется, и раздробленные и разбросанные по всей стране студенты могут, каждый в одиночку, принимать участие в этих массовых выступлениях и играть в них известную политическую роль. Но именно только в одиночку. Вся же сила, которая создается коллективною организованностью студенчества, идет при этом на смарку».

В этих пределах рекомендуемая «Искрой» тактика совпадала вполне с тактикой Центрального Комитета и точно так же подчинялась идее предстоящего вооруженного восстания. Но дальше в «Искре» шли предложения, которых не было в обращении Центрального Комитета.

«Студенчество вернется в университет не для того, чтобы мирно вкушать плоды подцензурной науки, а затем, чтобы своими наступательными действиями освободить науку от той цензуры, которую налагает на нее полицейское самодержавие. «Захватное право» должно водвориться в академических залах. Систематическое и открытое нарушение всех правил полицейско - университетского «распорядка», изгнание педелей, инспекторов, надсмотрщиков и шпионов всякого рода, открытие дверей аудиторий всем гражданам, желающим войти в них, превращение университетов и высших учебных заведений в места народных со-

браний и политических митингов — вот цель, которую должно поставить себе и выполнить студенчество при возвращении в покинутые им залы. Превращение университетов и академий в достояние революционного народа, — так можно кратко формулировать задачу студенчества»[1]).

Этот план показался мне одновременно и сложным, и неосуществимым: раз-другой, думалось мне, быть может, и удастся устроить в стенах университета народный митинг, но на этом дело неизбежно оборвется. . .

Наоборот, организация студенческих легионов и вся прочая военно-техническая программа Центрального Комитета представлялась мне вполне реальной. Сомнение вызывал лишь вопрос, целесообразно ли говорить открыто, на сходке, о подобных вещах.

Потолковав с товарищами, я убедился, что и они к искровскому плану «превращения университетов в места народных собраний» относятся весьма скептически. Советовали мне не касаться в моей речи этого вопроса, а больше настаивать на том положении, что к моменту восстания необходимо концентрировать силы студенчества в столицах и университетских городах. Этот аргумент представлялся нам неотразимым.

Настал день сходки. Опять наполнился Актовый Зал. Все в нем по старому, только портрет за кафедрой окутан серым покрывалом, будто в за-

---

[1]) Как я узнал значительно позже, основная мысль этого плана принадлежала В. И. Засулич.

нигу от пыли, да у дверей и выходящих на коридор окон видны блестящие, свеже покрашенные ставни, — изобретенное бывшим ректором Жданным «блиндажное укрепление», рассчитанное на то, чтобы предупредить самовольный захват зала студентами.

В толпе много курсисток, среди университетских тужурок мелькают наплечные знаки технологов, путейцев, политехников.

Состав президиума утверждается единогласно. Энгель занимает председательское место и от имени Коалиционного Совета предлагает порядок дня.

После небольшой стычки эсдэков с эсэрами — не помню, по какому поводу — порядок дня принимается, и сходка переходит к вопросу о современном положении. Слово дается представителям партий.

От эсэров выступил Норский, молодой человек щеголеватого вида, с закрученными кверху усиками, в блестящем мундирчике, — но при этом превосходный оратор.

Его аргументация сводилась к двум положениям: 1) ничего не изменилось с февраля прошлого года, когда была провозглашена студенческая забастовка, и потому прекращение этой забастовки было бы бегством с поля сражения; 2) в провинции студентов ждет широкое поле работы в виде пропаганды среди крестьян, и интересы этой работы требуют, чтобы высшие учебные заведения оставались закрыты.

Я отвечал Норскому. Это было мое первое политическое выступление.

По форме, моя речь уступала речи представителя эсэров, но она больше соответствовала настроению сходки и потому имела успех.

После меня поднялся на кафедру полный, приземистый блондин в студенческом сюртуке. Его появление вызвало смех и протесты со стороны части сходки.

С большим трудом Энгель восстановил тишину. Но когда блондин заговорил о «наших национальных задачах» и о «русском национальном знамени», раздался свист, послышались крики «долой», и оратор должен был покинуть трибуну.

Я стоял подле самой кафедры, когда Энгель знаком подозвал меня и показал переданную ему из толпы записку:

«Прошу слова. Рабочий Петр.»

— Как быть? спрашивал председатель: Собственно говоря, постороннее лицо. . . А сходка — студенческая. ...

— Пустяки, возразил я, дайте ему слово, как нашему гостю.

Энгель так и сделал.

Посреди шумных аплодисментов поднялся на кафедру молодой парень в высоких сапогах, в пиджаке поверх голубой косоворотки. Тонкое красивое лицо, русые волосы с пробором, движения самоуверенные, голос звонкий, как сталь.

Это был слесарь Старостин, член социал-демократической партии.

Человек смелый, решительный, с большим революционным темпераментом, и при этом страстный патриот рабочего класса, Старостин мог бы сыграть заметную роль в нашем рабочем движении,

но он промелькнул, как метеор, в 1905 г., а затем был арестован и на долгие годы сошел со сцены. Когда в 1917 году он вернулся из Сибири и вновь выплыл на поверхность движения, в нем уже трудно было узнать того молодого рабочего, который с таким блеском выступал на сентябрьских митингах. . .

Впечатление от слов Петра, — и даже не столько от его слов, сколько от самаго факта появления *рабочего* на *студенческой* сходке, — было огромное. И это сказалось при вторичном выступлении моем и Норского: теперь уже не могло быть сомнения в том, что большинство на моей стороне.

Ссылаясь на прием, оказанный присутствующими речи Старостина, я призывал студенчество идти по пути сближения с пролетариатом, а заключительную часть своей речи я посвятил доказательству преимуществ нашей тактики с точки зрения различных групп студенчества: желающие могут ехать в деревню, вести работу среди крестьян, как предлагают эсэры; желающие пойдут в рабочие кварталы, куда зовут их эсдэки; желающие будут посещать лекции и готовиться к экзаменам; но важно, чтобы студенчество в целом подтвердило, что Университет, всеми своими силами и средствами, продолжает служить революции.

Этим закончились прения.

Сходка перешла к голосованию резолюции. Проектов было предложено много, но борьба велась лишь между эсэрами, предлагавшими бастовать до конца, и нами. В конце концов, подавляющим

большинством[1]) была принята наша резолюция, заключительная часть которой гласила:

«... принимая (все это) во внимание, мы, студенты Петербургского Университета, собравшись на сходку 13 сентября 1905 года, постановили:

«1) отложить об'явление забастовки вплоть до того момента, когда это будет выгодно по соображениям революционной тактики;

«2) исключительно в этих целях (т. е., в видах перехода к более действительным средствам борьбы) открыть Университет для развития в его стенах и вне их широкой работы по подготовке надвигающейся решительной борьбы;

«3) использовать все средства к усилению революционной деятельности студенчества путем устройства всенародных митингов и организации академического легиона, как одного из отрядов, примыкающих к великой армии борющегося за народную свободу рабочего класса.

«И пусть наш открытый Университет будет для самодержавного правительства еще более опасен, чем был для него Университет бастующий»[2]).

Университетская забастовка была, таким образом, ликвидирована[3]). Об'явив, что следующая

---

[1]) За нашу резолюцию было подано 1702 гол. при 243 против (сторонники эсэровской резолюции) и 77 воздержавшихся (правые).

[2]) Текст резолюции воспроизвожу по корреспонденции в №. 20 заграничного «Пролетария». Корреспонденция отмечает между прочим: «На сходке велись жаркие дебаты между с.-р. и с.-д., почти исключительно большевиками. Да и сама резолюция определенно отвечает на вопрос, какая из фракций с.-д. была руководительницей».

[3]) В 20-х числах сентября, в связи с событиями в Москве, эсэры пытались вновь поднять вопрос о забастовке высших учебных заведений, но неудачно.

...ка будет созвана Коалиционным Советом, ... закрыл собрание.

Около этого времени шли сходки и в других высших учебных заведениях. Повсюду торжествовала та же тактика — прекращение забастовки в интересах революции. Кое где происходили горячие споры между представителями студенчества и профессорами по вопросу о возможности «революционного использованья» высших учебных заведений. В некоторых резолюциях яснее подчеркивалась идея устройства в стенах высших учебных заведений народных митингов, но, насколько помню, нигде эта мысль не приводилась в связь с широкой кампанией, проектированной в «Искре».

А между тем, не прошло и двух недель с описанной сходки, как в высших учебных заведениях водворилось предусмотренное «Искрой» «революционно-захватное право», — началась «митинговая кампания», которой суждено было сыграть столь крупную роль в дальнейшем развитии событий 1905 года.

* *

Митинги в высших учебных заведениях явились прямым продолжением студенческих сходок. Невинные сходки превратились в революционные митинги в результате того, что в стены высших учебных заведений, защищенные от набегов полиции указом об автономии, проникла рабочая толпа.

В небольшом числе рабочие присутствовали на студенческих сходках с самого начала, с первого дня. Я не уверен в том, что это были сплошь рево-

люционно сознательные рабочие, члены партийных организаций, — скорее, они производили впечатление людей, попавших на собранье случайно, из любопытства.

Но вскоре из случайных гостей они превратились в активных участников и фактических хозяев этих собраний.

В Университете первым из рабочих поднялся на кафедру Старостин, вторым обратился к студентам Ушаков. Это было 19-го сентября, во время сходки, посвященной вопросам академической жизни.

Ко мне подошел протискавшийся вперед человек средних лет, с русой бородкой, в сером поношенном пиджаке. Лицо у него было бледное, манеры робкие, голос тихий, почти просительный.

— Я, товарищ, от 3 000 рабочих бумагу принес. .. Если господам студентам интересно, может быть, доложете?

На листе бумаги, который он передал мне, стояла печать «С. Петербургского Общества взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве».

Содержание бумаги было таково:

До рабочих дошло, что студенты Петербургского Университета подают в Совет Профессоров заявление «с ходатайством о том, чтобы сделать Университет народным и допускать на лекции всех желающих, в особенности рабочих»[1]). С. Петербургское Общество Взаимного Вспомоществования

---

[1]) О таком ходатайстве в Университете не было речи. Но подобная мысль, помнится, высказывалась на курсах Лесгафта и в других высших учебных заведениях.

приветствует это начинание, как «вполне назревшее и существенно необходимое для рабочих, так как они давно уже выступили на поприще политической и общественной жизни». Заканчивалась бумага заявлением, что «рабочие, со своей стороны, готовы посещать лекции, предназначенные для них по содержанию и по духу времени». Внизу стояла подпись председателя Общества: Ушаков, — имя, ничего мне не говорившее.

В восторге от этого обращения рабочих, я немедленно передал бумагу Энгелю, и наш председатель громогласно прочел ее целиком — от обращения к «г. г. студентам» до подписи. Сходка встретила заявление Общества Взаимного Вспомоществования рукоплесканиями. Человек, от которого я получил бумагу, горячо благодарил меня за оказанное ему содействие.

Но только отошел он от кафедры, как ко мне подскочил один партийный товарищ:

— Вы знаете, кто это разговаривал только что с вами?

— Нет.

— Это Ушаков!

— Ну, да, Ушаков, председатель общества рабочих. Что же с того?

— А то, что это опасный провокатор. Гнать его в шею следует, из окна выбросить, а не бумаги от него принимать, да сходке докладывать!

Но дело было сделано. Раз'яснить публично происшедшее недоразумение, значило бы увеличить скандал, — и мы ограничились тем, что решили впредь быть осторожнее.

Отмечу, что Ушаков не был провокатором - охранником вульгарного типа. Это был последыш полицейского социализма Зубатова. В революционные организации он не лез, так что едва ли охранка могла пользоваться им, как осведомителем. Его «Общество» действовало, главным образом, среди рабочих Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, поддерживая здесь дух умеренности, аккуратности и чинопочитания.

Я встречался с этим человеком два раза: первый раз на сходке, второй раз в квартире приват-доцента В. Святловского. Оба раза Ушаков казался мне маленьким пришибленным человечком. А между тем, ему суждено было сыграть крупную роль в судьбах России, — и на эту его роль лишь недавно пролили свет «Воспоминанья» гр. Витте, который видел в Ушакове «лидера рабочей партии» и весьма выдающегося человека.

По рассказу Витте, именно Ушаков накануне 17 октября сумел убедить великого князя Николая Николаевича в необходимости для России конституции, и при том так основательно внушил эту мысль царскому дяде, что тот отправился к царю и угрозой застрелиться на его глазах заставил Николая II подписать знаменитый манифест (см. «Mémoires du Comte Witté», стр. 219—220).

Я оставляю, разумеется, эту историю на ответственности Витте и тех, на чьи показания он ссылается — П. Дурново и барона Фредерикса. Об Ушакове упомянул я лишь для того, чтобы отметить, кто первым конкретно поставил вопрос об устройстве в Университете специальных собраний для рабочих.

По собственной ли инициативе действовал в данном случае Ушаков, или по предписанью начальства, я не знаю, но, во всяком случае, именно после его заявления сходка постановила устраивать по вечерам рефератные собрания на политические темы для рабочих, — и это было первым шагом в сторону превращения Университета в открытую политическую трибуну.

Дальнейший шаг в этом направлении мы сделали под влиянием нового выступления Старостина. Молодой слесарь, гордый своим успехом на первой сходке, с тех пор посещал все собрания в Университете. И вот, в разгар прений по какому-то специально-студенческому вопросу — чуть ли не о предметной системе — он потребовал себе слово и обрушился на студенчество:

— Что же вы делаете, товарищи? Открыли Университет для революции, а на самом деле, Бог знает, чем занимаетесь. Все пустяки какие то, в которых мы, рабочие, и понять то ничего не можем. Мы, рабочие, вас за товарищей считаем, и всегда хотим вместе с вами идти, до полной победы или до смерти в борьбе!

Во время немного несуразной речи молодого слесаря студенчество чувствовало себя в чем то виноватым перед ним и перед его товарищами — героями 9-го января.

Старостина прерывали аплодисментами, криками «правильно», «верно». Когда он кончил, председатель счел необходимым благодарить его от имени собрания.

Тут же было решено немедленно приступить к устройству намеченных еще 19-го сентября

вечерних политических собраний для рабочих. Это решение было принято не как новый тактический шаг, а скорее как мера технического характера, как средство внести больший порядок в жизнь Университета.

Ибо в Университет — так же, как и в другие высшие учебные заведения Петербурга — уже ворвалась революционная «улица». Предвидели мы, или нет, такой способ «использования» указа 27-го августа об автономии, но «посторонние», то есть рабочие в конце сентября уже составляли на студенческих сходках чуть ли не большинство. Необходимо было назначить для них особые часы, ибо иначе не только студенческие сходки, но и учебные занятия в Университете сделались бы, в конце концов, невозможны.

Сперва казалось, что вечерние собрания не привьются: не было подходящих лекторов, речи не клеились, в полупустых залах было скучновато. Но затем рабочие толпами повалили на митинги, и в высших учебных заведениях началась новая жизнь.

* * *

С первого взгляда, наши митинги производили впечатление беспорядочных сборищ.

Не было ни порядка дня, ни регламента. Неизвестно было, кто и о чем будет говорить. Слушатели не знали, кто такие сменяющиеся на трибуне «товарищ Леонид», «товарищ Абрам», «товарищ Макар», «товарищ Николай», «товарищ Сергей». Равным образом и ораторы не знали, откуда собрались теснящиеся вокруг трибуны люди.

В течение нескольких недель на мне лежало «заведывание» митингами в Университете, — то есть, распределение помещений и забота о том, чтобы во всех аудиториях было достаточно ораторов. Каждый вечер приносил неожиданности.

Вдруг, в разгар митинга, подходит кучка молодых людей в котелках:

— Товарищ, не откажите распорядиться насчет приказчиков.

— Каких приказчиков?

— С Васильевского Острова. К 9 ч. в Университете назначено нам собраться.

— А много вас будет?

— Если все придут, тысяч двадцать наберется... Да только все не придут... Так что, надо считать, пять тысяч будет...

— Берите вот эту аудиторию. Поставьте человека у двери. Патруль в коридоре... Двух человек вниз, на лестницу... Направляйте всех ваших сюда.

— Наших в большом зале порядочно уже набралось. Как бы их оттуда вызвать?

Отправляюсь в Актовый Зал.

— Товарищей приказчиков Васильевского Острова просят в 12-ую аудиторию.

В толпе движение. Отхлынули от кафедры, двинулись к дверям. Председатель обращается ко мне:

— Да здесь большинство—приказчики.

— А вы пробаллотируйте.

Баллотировка показывает, что приказчики составляют $^3/_4$ собрания. Решаем предоставить им

Актовый Зал, а смешанную публику перевести в соседнюю аудиторию.

В другой раз также неожиданно узнаем о прибытии целого завода: утром по мастерским сговорились идти всем в Университет, и вот пришли тысячной, дружной толпой.

Однажды появились в Университетском коридоре странные фигуры: в длинных армяках, в валенках, в рукавицах, в меховых шапках, с кнутами в руках. Извозчики!

Их обступили, принялись расспрашивать, как они сюда попали. Извозчики об'ясняют словоохотливо:

— Мы у Тучкова моста стояли. Сколько раз видели, в университете огни горят, и народ собирается, вроде как в театр. А сегодня барин один об'яснил: туда, говорит, без билетов пускают, ступайте, говорит, и вы, — послушаете, как царя ругают.

Немедленно откомандировали одного студента к извозчикам — сопровождать их и об'яснять непонятные слова в речах ораторов. Извозчики остались очень довольны оказанным им приемом и тем, что слышали, и лишь жалели, что не могли побыть на митинге подольше, — боялись за пролетки, оставленные на Университетской линии.

Столь же неожиданно нагрянули в Университет гимназисты и гимназистки. Мы отвели им аудиторию и предоставили им самим охранять двери от «посторонних». Спустя полчаса к нам прибыла депутация гимназического митинга: просили дать им «партийных ораторов».

С каждым днем все больше становился наплыв посетителей.

Стало тесно и в Актовом Зале, и в аудиториях.

И вот, в один прекрасный день, поднялся на кафедру рабочий — кажется, все тот же неугомонный Старостин — и обратился к собранию с такой речью:

— Мы, рабочие, сюда за десять верст идем, через весь город лупим, а приходим, — оказывается, места нет. Как же мы этак революцию сделаем? Очень на это товарищи обижаются. Другой иностранных слов не понимает, да еще у двери стоит, так даже и не разберет, о чем товарищ оратор говорит. Раз он пришел, другой раз пришел, а в третий раз его на митинг и не заманишь... Правильно я говорю, товарищи?

— Правильно!

— А между прочим, здесь много товарищей студентов. Им митинги не так нужны, как нам, рабочим. А к тому же, они и по утрам собираются, а нам, рабочим, только и возможно, что вечером. Значит, будем просить товарищей студентов по вечерам в Университет не приходить, кроме тех, которые ораторы.

Многим студентам это предложение показалось неуместным. Иные почувствовали себя не на шутку обиженными. Но с этого дня на вечерних митингах студенты почти не появлялись, — приходили лишь партийные — те, что должны были выступать с речами или несли обязанности распорядителей.

А в некоторых высших учебных заведениях, как мне передавали, прямо было постановлено: в виду

недостатка мест, студентов и курсисток на митинги не допускать.

В начале октября состав митингов выровнялся: это была почти сплошь рабочая масса, преобладали фабрично-заводские рабочие с окраин.

Ораторы, выступавшие на митингах, делились на две резко отличные группы: постоянные ораторы, выступавшие изо дня в день; и ораторы случайные, появлявшиеся неведомо откуда.

Среди постоянных ораторов наиболее значительную группу составляли социал-демократы большевики: меньшевики и эсэры мобилизовали свои силы несколько позже[1]).

Темы речей были довольно разнообразны. Комментировали газетные сообщения о развитии революционного движения в России. Раз'ясняли партийную программу — целиком и по пунктам. Говорили об Учредительном Собрании, о профессиональном движении на Западе, о 8-часовом рабочем дне.

С большим интересом ловила толпа рассказы о прошлом революционной борьбы в России, — первым избрал эту тему эсэр, выступавший под кличкой «Монтер», —один из лучших ораторов университетских митингов[2]). Были попытки превратить митинговую речь в популярную лекцию на ту или иную историческую или политическую тему. Эти попытки встречали со стороны рабочей толпы большое сочувствие. Но, к сожалению, у партийных

---

[1]) Если не ошибаюсь, меньшевистская работа в Петербурге была в то время ослаблена большими провалами, связанными с деятельностью провокатора «Николая-Золотые Очки» (Доброскока).

[2]) Это был Евгений Колосов.

ораторов не было ни достаточной подготовки, ни сил, чтобы удовлетворить страстную жажду знания слушателей. А те, кто мог бы в этом деле придти им на помощь, отвернулись от митингов, испугавшись их внешней сумбурности.

Эта сумбурность создавалась, главным образом, выступлениями случайных ораторов. Их речи не всегда нравились толпе, порой даже вызывали выражения нетерпения.

Помню, как то раз, в Военно-Медицинской Академии говорил молодой рабочий. Говорил он о том, что рабочим живется тяжело, что заработка не хватает, что расценки несправедливые, что мастера ни с чем не считаются. Говорил с искренностью глубоко обиженного человека, со слезами в голосе. А слушали его холодно, невнимательно. И в самом патетическом месте его прервал чей то насмешливый голос:

— Ты, Степка, и в заводе довольно наговорился. Ты бы теперь помолчал: пусть другие говорят, которые побольше твоего знают!

Степке так и не пришлось кончить речь.

Порой очередной оратор-рабочий заявлял собранию:

— Товарищи! Я вам свой стих прочитаю. Моего сочинения. Об нашей жизни . . . Очень хороший стих.

Стихи всегда были наивные, неумелые, но искренние, проникнутые горячим чувством[1]).

---

[1]) Почему то со стихами выступали почти исключительно ремесленные рабочие, типографщики, приказчики. Фабрично-заводских поэтов на сентябрьских митингах я не помню.

возможности, упорядочить ее и подчинить директивам центра. Была образована при Петербургском Комитете «коллегия митинговых ораторов». Сперва в ней было человек 10 или 12, но постепенно ее состав пополнялся новыми силами, — частью районными работниками, частью товарищами, приезжавшими в Петербург из провинции.

«Коллегия» была у всех на виду, работа ее была живая, интересная, эффектная, охотников вступить в нее было много. Не было отбою и от девиц, предлагавших нам свои услуги для секретарской работы.

Представителями Петербургского Комитета при коллегии были Радин-Кнунианц (носивший тот же псевдоним, что и я, — Сергей Петров) и «тов. Антон» (Красиков).

Кнунианц, — талантливый, остроумный, всегда веселый, всегда приветливый — пользовался общими симпатиями. Но на нем лежало много другой работы, и он появлялся у нас лишь мельком.

Постоянное око Комитета представлял собою «тов. Антон,» — человек откровенно невежественный, весьма ограниченный, самоуверенный и горький пьяница. Импонировать никому из нас он не мог, и это явилось одной из причин появления в коллегии духа оппозиции по отношению к Комитету. Усилению этого настроения способствовало и то, что все мы, в большей или меньшей степени, были опьянены шумом аплодисментов и «блеском» ежедневных выступлений.

Впрочем, Комитет быстро сообразил, что в создавшейся обстановке нельзя третировать «митинговых ораторов», как какую нибудь районную кол-

легию агитаторов. За нами была признана известная автономия. «Тов. Антон,» – очевидно, получив соответствующие директивы из центра, — рассыпался перед нами в комплиментах, неустанно подчеркивая исключительную ценность нашей работы для партии.

В конце концов, «ораторская коллегия» получила в жизни петербургской партийной организации такой вес, что могла, пожалуй, по своему влиянию, конкурировать с Петербургским Комитетом.

Ядро коллегии составляла троица: Николай (Коновалов), Абрам (Крыленко) и я.

О Николае я хочу сказать здесь несколько слов.

В моей памяти с периодом митингов, к которому я подхожу, неразрывно связана эта характерная фигура, — черная куртка, широкий жест, бледное лицо, звенящий голос, резкие, рубленные фразы.

Не знаю точно, откуда он явился. Иногда он называл себя рабочим, иногда говорил, что до первого ареста был учеником какого-то технического или ремесленного училища. В социал-демократическую партийную организацию он вступил еще в 90-х годах. Несколько лет просидел в самарской тюрьме, в одиночке. Кажется, побывал и в ссылке. Летом 1905 г. вел партийную работу где то на юге или на Волге, в сентябре приехал в Петербург.

Обладая подлинным ораторским талантом, даром зажигать толпу, он был одним из наиболее заметных деятелей петербургского движения конца 1905 г., а в последующие годы остался одним из главных руководителей местной большевистской организации.

Трагическое пятно! В 1910 г. Николай по-

5 Войтинский.

кончил с собой, повесился в своей комнате, не оставив никаких об'яснений своего рокового решения. Перед этим он сильно пил, но не оставлял партийной работы. Петербургские рабочие устроили ему торжественные похороны, многотысячная толпа шла за его гробом.

А въ 1917 г, стало известно, что Николай был агентом Охранного Отделения...

Не знаю, что было в душе этого человека в сентябрьские дни, когда я впервые встретился с ним. Был ли он уже в эту пору охранником, или лишь позже пошел на позорное дело? И если уже в 1905 г. он был предателем, то что двигало им? Выполнял ли он указания своего начальства, стараясь революционизировать студенческие сходки и создать предлог для вмешательства полиции? Или, подчиняясь импульсам своей авантюристской натуры, он вышел из рамок поставленной ему задачи? Или он пытался в то время вырваться из сетей, в которых держали его жандармы, и страсть, звучавшая в его речах, вытекала из чувства бесконечного унижения и из ненависти к тем, кому он служил?

Не буду останавливаться над загадками этой темной души[1]...

---

[1]) В истории Николая многое представляется темным и необ'яснимым. Не подлежит сомнению, что выдавал он не всех, с кем соприкасался, и не все, что знал. Так, например, он знал участников нападения на черносотенцев за Невской заставой в трактире «Тверь», в конце января 1906 г. — и, если не ошибаюсь, сам участвовал в этом нападении, очистившем Невский район от черной сотни. Участникам этого дела неминуемо грозила смертная казнь, но никто из них не был арестован.

Выдающимся митинговым агитатором был Абрам. Говорил он горячо, образно, красиво и умел подымать настроение толпы.

Часто и с постоянным успехом выступал на митингах тов. Макар. Первое время он, в видах конспирации, пользовался накладными усами. Но рабочие сразу узнавали его по крупному носу и говорили о нем: «Усы что день, то другие, а нос все тот же». За ним установилась даже кличка «Макар с носом».

Хорошими ораторами были Борис (Моносзон) и студент Коротков, получивший за высокий рост и монументальное сложение кличку «Спина».

Немного позже вошел в нашу коллегию прибывший из Москвы «тов. Петр», —Алексинский. Говорил он с большой силой, порой с юмором, всегда прекрасным народным языком. Его пронзительный, свистящий, немного картавый голос, резкий жест, неожиданные «словечки» — электризовали толпу. В нашей коллегии он занял несколько обособленную позицию, на крайнем левом фланге; уличал всех петербургских работников в отсутствии революционности, в дряблости, нерешительности, трусости. Само собой разумеется, петербуржцы давали ему надлежащий отпор, и Петр не приобрел в коллегии того влияния, на которое претендовал.

Было в ораторской коллегии человек десять молодых работников, которые выступали всегда с кем нибудь из более опытных, «старших» товарищей — к числу «старших» принадлежал, между прочим, и я, хотя мне шел тогда всего лишь 20-ый год.

Больше всего я любил выступать с Евгением

5*

(А. Литкенсом) — искренним, горячим и талантливым юношей, позже трагически погибшим. Мне еще придется говорить о нем.

Работала коллегия дружно и изо всех сил. А работа была тяжелая: были дни, когда приходилось выступать 5—6, а то и 9—10 раз.

Наша постоянная явка была в столовке при Университете.

Помню, как то, перед октябрьской забастовкой, встав утром, я почувствовал, что у меня совершенно пропал голос. Пробую говорить — вылетают звуки задушенного шопота. Крайне расстроенный, пошел я на явку. Встречаю там Леонида, — у него то же несчастье. Приходит Абрам, — и он хрипит. Собрались остальные товарищи, почти все жалуются на горло.

Тогда я предложил: организуем забастовку митинговых ораторов, пред'явим Петербургскому Комитету экономические требования, — 8 часовый рабочий день и стакан гоголя-моголя после каждой речи!

Предложение имело успех, и Антон не на шутку перепугался, когда подсчитал, сколько яиц потребуется Комитету, чтоб удовлетворить вышедшую из повиновения ораторскую коллегию.

«Пробастовали» мы, потерявшие голос агитаторы, целые сутки. А затем голос вернулся, и мы могли выступать, не думая о 8-часовом рабочем дне и не мечтая о гоголе-моголе, — хорошо было, если в зале оказывался графин с водой, чтоб промочить горло!

Работа была волнующая, опьяняющая. Все время — в охваченной энтузиазмом толпе, все время — во власти ее настроений, ее дум, ее воли.

Я чувствовал в эти дни, что, быть может, мы в состоянии сообщить рабочей толпе обрывки не достающих ей знаний, но не в силах вести ее, управлять ее движеньями. Чувствовал, что мы не вожди революционной толпы, а ее глашатаи.

Эту мысль я не раз развивал в нашей коллегии. Товарищи почти все так же смотрели на дело. Впрочем, от комитетчиков постарше мне пришлось слышать суровый отзыв, что все это—«декадентщина»: для них масса представляла собой бесформенную стихию, а мы были носителями „революционной сознательности", призванными не только направлять толпу, но и управлять ею.

* * *

Порой приходили на митинг люди из чужого круга. На них непонятная им толпа производила впечатление какой то дикой, разрушительной силы.

Я расскажу здесь о приеме, который был оказан нами одной группе таких гостей.

В университетской столовой я встретился как то с корреспондентом лондонского «Times»'а. Он принялся расспрашивать меня о социалистических партиях. Незаметно с вопросов общего программного характера он перешел к конкретным вопросам:

— Как относится ваша партия к Павлу Николаевичу?

— Как относитесь вы к внешним долгам России?

— Что думаете вы о проектируемом новом займе?[1])

Последний вопрос заставил меня насторожиться: в то время в Петербурге ходили слухи, будто правительство втихомолку ведет переговоры с американцами о внешнем займе, который дал бы ему возможность ликвидировать последствия дальневосточной войны и подавить смуту. Передавали, что переговоры начал Витте во время своей поездки в Портсмут, и что для окончания этих переговоров в Петербург приехала группа американских банкиров с сыном или представителем известного миллиардера Моргана во главе. Именно присутствием в Петербурге американских финансистов об'ясняли, почему правительство — в частности, петербургский генерал-губернатор Трепов — смотрит сквозь пальцы на революционные митинги в высших учебных заведениях. Высказывали предположение, что все изменится, лишь только переговоры закончатся и американцы уедут из Петербурга.

Итак, я не мог не заинтересоваться вопросом англичанина об отношении социалистов к предполагаемому займу. Я ответил ему, что не знаю, обсуждался ли этот вопрос в партийных центрах, но не сомневаюсь в одном: победоносная революция не будет платить по займам, заключенным ее врагами для ее подавления.

---

[1]) Я играл в партии весьма скромную роль. И обращение корреспондента с этими вопросами ко мне об'ясняется, я думаю, тем, что в Англии на митингах выступают обыкновенно партийные лидеры. Мой англичанин, посещая митинги и встречая постоянно определенных лиц на трибуне, пришел, повидимому, к совершенно ошибочным заключениям об их весе в движении. В частности, он не знал, как строго разделялись у нас функции агитатора, организатора и т. д.

— Как? изумился англичанин: Вы не будете платить по займам? Но ведь это нечестно! Тогда вам впредь никто не будет верить!

Я ответил, что экспроприация земель передаст в руки революционного правительства такие материальные средства, что оно не будет нуждаться ни в каких займах.

Англичанин поблагодарил меня за сообщение, обещал телеграфировать в «Times» содержание нашей беседы и затем прибавил конфиденциально:

— Один из моих американских друзей был бы рад встретиться с вами и поговорить о вопросах, о которых мы только что с вами беседовали.

Условились встретиться на квартире корреспондента. Встреча произошла дня через три или четыре (в этот день, как раз, пришел № «Times»'а с воспроизведением нашей первой беседы под заголовком «The revolution openly preached in University»[1]). «Друг» корреспондента оказался молодым человеком с белокурой бородкой, с голубыми глазами, с энергичными, самоуверенными манерами.

Разговор велся по английски. Молодой человек быстро кидал вопросы и записывал мои ответы. Покончив с вопросом о займе, он спросил меня:

— Считают ли республиканские партии, что за ними большинство населения?

— Несомненно!

— Но ведь крестьяне за царя! Да и рабочие тоже! Вот и ваши митинги! Мне говорили, что на них выступают студенты, анархисты, республиканцы, но масса граждан им не сочувствует.

Тогда я предложил ему:

---

[1]) „Революция открыто проповедуемая в университете"

— Чтобы проверить добросовестность тех, кто рассказывал вам эти басни, приходите в Университет на митинг.

— Это можно? Я принял бы приглашение за себя и за трех моих коллег... Нас не убьют?

— Гарантирую вам полную безопасность. Приходите в Университет завтра, в 9 часов вечера. Вызовите меня, — я провожу вас дальше.

— Хорошо.

Я рассказал о своей беседе с американцем Николаю и Абраму, и мы условились, о чем говорить при гостях.

В начале 10-го часа, когда митинг в Актовом зале Университета был в полном разгаре, мне передали записку: «Тов. Войтинского просят вниз».

В вестибюле меня ждали американцы. Щегольски одетые, в широких пальто, в светлых перчатках, они были центром всеобщего недружелюбного внимания со стороны рабочих и, повидимому, чувствовали себя неважно под перекрестным огнем насмешливых замечаний, которые корреспондент «Times»'а вполголоса переводил им.

Поздоровавшись с гостями, я повел их к приготовленным для них местам, — в оконной нише подле кафедры. Председатель, как было условлено заранее, предоставил мне слово. Речь моя прошла без инцидентов. Следующим выступал Николай. Он говорил, повернувшись лицом к раме царского портрета, уничтоженного студентами в феврале, говорил, будто бы обращаясь к «богопомазанному убийце» от лица собравшейся толпы. Речь его прерывалась аплодисментами, криками, угрозами по адресу царя.

Когда он кончил, на кафедре показался Абрам. Продолжая речь предыдущего оратора, он говорил:

— Этот царь, проклинаемый своим народом, ищет опоры за океаном. Через своего лакея Витте он обратился к американцам, и те готовы дать ему денег для борьбы с революцией...

— Долой Америку! несется из толпы.

Оратор продолжает:

— Царский трон будет сметен волной народного гнева, и тогда американские миллионеры обратятся к восторжествовавшей революции за процентами на капитал, который они ссудили царизму. Что мы им ответим, товарищи?

Из толпы неслись крики, каждый предлагал свой ответ американским кредиторам...

Американцы, стоя на стульях в отведенной для них нише, с напряженным вниманием следили за ходом митинга. Корреспондент быстрым шопотом переводил им и речи, и возгласы. Молодой человек с голубыми глазами обратился ко мне:

— Я думаю, этого довольно. Проводите нас, пожалуйста.

Мы двинулись к выходу через всю толпу, — я спереди, за мною гуськом американцы, в арьергарде — корреспондент «Times»'а. Так выбрались на лестницу. Наши гости были потрясены виденным и слышанным и лишь повторяли:

— Dreadful! Dreadful! (Ужасно! Ужасно!)

Горячо благодарили меня за полученные сведения о настроении рабочих. Вместе с ними я вышел на улицу. Снаружи Университет представлял жуткую картину. Нижний этаж погружен во мрак. Окна второго этажа ярко освещены. И в каждом окне

черные силуэты людей, одни неподвижные, другие волнующиеся, машущие руками. Из открытых форточек клубами валит пар, будто дым над зданием, охваченным пожаром. Несется смутный гул голосов, прерываемый взрывами криков и рукоплесканий. По полутемной улице движутся тени, — все в одном направлении, к главному входу Университета.

— Dreadful! Dreadful! повторяли американцы.

Затем принялись расспрашивать меня:

— Это у вас часто бывает?

— Почти каждый день.

— Почему в Университете?

— Не только в Университете. Во всех высших учебных заведениях вы увидите ту же картину.

Мимо нас пробежал по набережной знакомый студент. Я окликнул его:

— Вы куда?

— В Академию Художеств, на митинг. Там хоть нашего брата не выставляют за двери.

— Вот это кстати!..

И я предложил американцам:

— Хотите, для полноты впечатления, посетить еще Академию Художеств, Высшие Женские Курсы, какой-нибудь Институть?

— Пожалуй, Академию...

— Так вот, товарищ, проводите этих господ, позаботьтесь, чтобы их никто не обидел, и покажите им все интересное.

— С удовольствием!..

На другой день корреспондент «Times»'а разыскал меня и снова долго и горячо благодарил от имени своих американских друзей.

Кто были эти американцы, я и теперь не знаю. Не знаю, имели ли они какое либо отношение к той группе американских финансистов, о которой ходило столько слухов в Петербурге. Во всяком случае, я далек от утверждения, что наш университетский митинг мог оказать решающее влияние на исход переговоров о займе...

Я привел этот случай просто, как пример того, какое впечатление производили сентябрьские митинги на людей, приходивших на них с убеждением, что «бунтуют» лишь студенты и интеллигенция, а рабочие, как и весь русский народ, — за царя.

* * *

Особенностью описываемого «митингового периода» в Петербургском Университете было то, что в течение него академическая жизнь протекала почти без потрясений: между революционными и умеренными элементами студенчества, так же, как между студенчеством в целом, с одной стороны, и профессурой, с другой, выработалось молчаливое соглашение на основе принципа — не мешать друг другу.

Фактически Университет был в руках небольшой группы студентов-революционеров, но эта группа не мешала беспартийным, умеренным студентам учиться и готовиться к экзаменам. Что касается до профессоров, то для них основным вопросом было — не допустить засилия революционных элементов над внутренней академической жизнью Университета. Вопрос же о том, что творится в университетских стенах во внелекционное время, представлялся для них сравнительно второстепенным. Поэтому профес-

сора с самого начала решили дать бой революционным руководителям студенчества на вопросах академической жизни. Если бы мы приняли бой на этой почве, конфликт между студенчеством и профессурой обострился бы и, по всей вероятности, привел бы к закрытию Университета. Но вышло так, что мы сразу признали правоту профессоров в вопросах, которым последние придавали наибольшее значение, и в которых их правота была, в самом деле, несомненна, — и это обезоружило профессорскую оппозицию.

Я должен прервать здесь рассказ об университетских митингах, чтобы остановиться на этом эпизоде и вообще на академической жизни Петербургского Университета в конце 1905 г.

Прекращение забастовки поставило перед студенчеством ряд академических вопросов. Большая часть этих вопросов была разрешена на сходке 19-го сентября, на той самой сходке, к которой обращался Ушаков.

Здесь были приняты постановления: об отмене формы, о передаче в руки студентов заведывания столовой и бюро по приисканию мест, о создании выборного института старост, как посредствующего звена между студентами, с одной стороны, и ректором и Советом Профессоров, с другой стороны, и т. д.[1]. По вопросу об условиях приема в Университет сходка постановила:

«Мы требуем:

[1] Между прочим, здесь же было решено из названия Университета вычеркнуть слово «Императорский», но это постановление не получило дальнейшего движения. Начальство делало вид, будто забыло о нем, а мы к нему не возвращались, чтоб не обострять без нужды положение.

«1) немедленного уничтожения %-ной нормы для принятия в Университет евреев...

«2) немедленного открытия доступа в Университет женщинам;

«3) немедленного открытия доступа в Университет всем окончившим средние учебные заведения или 4 класса семинарии, а также работающим на пользу просвещения народа и желающим расширить свое образование;

«и 4) немедленной отмены правил об округах».

Тогда же было решено:

1) предложить совету профессоров пригласить на профессорские кафедры Аничкова, Кареева, Исаева, Милюкова, Спасовича, Туган-Барановского, Ходского, Струве;

2) подвергнуть «активному бойкоту» профессоров Жданова, Коновалова, Георгиевского и еще нескольких других, имен которых я не помню, — всего около 10 человек из числа наиболее «правых».

Оба списка — пригласительный и «проскрипционный» — составились, в значительной части, случайно, из имен, которые выкликались кем либо из студентов и подхватывались сходкой.

Для переговоров с профессорами по существу принятых решений была избрана комиссия, в которую вошли Энгель, Каплан и я. Совет Профессоров назначил, со своей стороны, для переговоров профессоров А. Покровского, И. Гревса и Эрвина Гримма. Помнится, присутствовал при переговорах и Л. I. Петражицкий.

Когда мы прочли профессорам нашу резолюцию об изменении условий приема в Университет, А. Покровский резко спросил нас:

— Что значит ваше «т р е б у е м»? Что значит четыре раза повторенное «н е м е д л е н н о»? К кому обращен ваш ультиматум? к Совету Профессоров? Но имеете ли вы право т а к разговаривать с нами?..

Мы были смущены, так как нам в голову не приходило, что профессора могут обидеться на нашу резолюцию, повторявшую, собственно говоря, требования Академического Союза. Посовещавшись между собою, мы заявили, что признаем форму нашей резолюции не отвечающей новому положению автономного Университета, но просим профессоров верить, что сходка не имела намерения обидеть их.

Этим инцидент был исчерпан, и мы перешли к следующему вопросу, к приглашению в Университет прогрессивных профессоров. Оказалось, что профессора чувствуют себя оскорбленными и этим постановлением сходки.

— Замещение кафедр путем случайного поднятия рук толпы унижает профессорское звание, заявили они нам: Мы вашего списка не принимаем, так как не можем признать за митингом компетенцию определять научные заслуги того или другого профессора.

Мы возразили, что до сих пор состав профессуры фальсифицировался министерством и полицией, и что студенчество добивается лишь одного: чтобы в автономном Университете были уничтожены последствия этих, действительно, унизительных для профессорского звания и для Университета влияний.

Тогда проф. Покровский иронически заметил:

— Вы, господа, вероятно, справились о взгляде ваших кандидатов на право студенческой сходки вмешиваться в назначение профессоров? И вы, конечно, не сомневаетесь в том, что П. Н. Милюков

и П. Б. Струве с благодарностью примут кафедру из ваших рук?

Пришлось отступить и в этом вопросе. И эта неудача не очень располагала нас к постановке вопроса о «проскрипционном» списке. Но пр. Покровский сам поднял этот вопрос:

— Мы знаем из газет, сказал он, что ваша сходка 19-го сентября выработала «проскрипционный список» — недурное название! — неугодных профессоров. Мы ждем от вас оффициального сообщения об этом списке.

Энгель прочел список подлежащих бойкоту профессоров. Покровский спросил нас:

— За что осуждены эти лица, напр., пр. Жданов?

— За его деятельность в качестве ректора. В частности, за попытку превратить Университет в полицейский форт с блиндированными дверями и окнами.

— А за что осужден пр. Георгиевский?

— За то, что он подавал в Охранное Отделение доносы на своих коллег.

— Вы в этом уверены? Сколько раз подавал он доносы?

— Тринадцать раз.

— Видите, господа, как легко обмануть вас! Ведь тот, кто дал вам эти сведения, либо клеветник, либо охранник. Чтобы сосчитать доносы Георгиевского, он должен быть своим человеком в Охранном Отделении. А если он не охранник, то откуда у него эта цифра — тринадцать?

Я ответил:

— Сведения о пр. Георгиевском сообщены нам лицом, в добросовестности которого мы не могли сомневаться. Так как вы заявляете сомнения в точ-

ности этих сведений, то мы потребуем исчерпывающих доказательств.

— А если эти доказательства не будут представлены?

— Тогда пр. Георгиевский будет реабилитирован, а его обвинитель будет об'явлен клеветником.

— А нельзя ли узнать, кто этот обвинитель?

Обвинителем Георгиевского был приват-доцент по кафедре политической экономии В. В. Святловский, человек довольно бездарный, но старавшийся играть роль в Университете, всячески искавший популярности среди студентов и в этих видах заявлявший себя крайним радикалом и даже «почти марксистом»: он лично мне сообщил о доносах Георгиевского и горячо настаивал на необходимости включения этого профессора в «проскрипционный список».

Первым моим движением было назвать приват-доцента-обвинителя, но Каплан и Энгель удержали меня. Да Покровский и не настаивал на своем вопросе. Он разразился пламенной речью против нашего решения в целом:

— Ваша резолюция — насилие над совестью... Вы берете на себя функции охранки, выбрасывая из Университета тех, чьи убеждения вам не по вкусу. Вы прибегаете к суду Линча, к самосуду толпы... Вы не решились выслушать обвиняемых, не сообщили им, в чем их обвиняют... Вы вынесли решение огулом о десяти лицах сразу, не потрудившись расследовать виновность каждого в отдельности.

В заключение профессор спросил нас:

— Скажите, господа, по совести, можете ли вы утверждать, что при составлении вашего «проскрип

ционного списка» были соблюдены требования процессуальной справедливости?

Я ответил:

— По совести, эти требования нами соблюдены не были.

Энгель присоединился к моему заявлению.

Тогда Покровский сказал:

— Я рад тому, что мы с вами сговорились. Это поможет вам понять наше решение: если вы не откажетесь от вашего «проскрипционного списка», если хоть против одного профессора будет применено насилие, которое вы называете «активным бойкотом», то Совет Профессоров, согласно принадлежащему ему праву, немедленно закроет Университет. Это решение наше бесповоротно.

Мы смогли противопоставить этому решению лишь одно возражение:

— Вы ссылаетесь на несостоятельность решения сходки 19-го сентября. Мы признаем справедливость ваших указаний. Но в применении к некоторым профессорам этот аргумент недействителен: так действия пр. Коновалова в Горном Институте были предметом беспристрастного общественного разбирательства, и решение третейского трибунала достаточно обосновывает вынесенный ему сходкой бойкот.

Профессора ответили, что вопрос о Коновалове, действительно, сложнее, нежели вопрос об остальных лицах, явно без достаточных оснований внесенных в «проскрипционный список». На этом заседание смешанной комиссии закончилось.

Оставшись одни, мы принялись обсуждать создавшееся положение. С точки зрения боевой тактики, оно было безнадежно, так как мы сами призна-

ли перед профессорами несостоятельность решения сходки. Каплан обвинял во всем меня. Я доказывал, что другого выхода у нас не было, так как решение сходки 19-го сентября, не выдерживает критики и должно быть отменено. Решили передать вопрос в социал-демократический комитет и в Коалиционный Совет.

На утро я поспешил к приват-доценту, сообщившему мне о доносах пр. Георгиевского.

— Не можете ли представить доказательства? спросил я его.

— Помилуйте, какие возможны доказательства в подобных делах!

— Тогда вам придется выступить на сходке в качестве свидетеля.

— Это невозможно! Скажут, что я выживаю Георгиевского, чтобы занять его кафедру. Знаете что? Лучше всего, выступите с а м и и подтвердите, что вы получили сведения из вполне достоверного источника.

— Достоверного? Но если я вам не верю!

Святловский принял вид оскорбленной невинности:

— До сих пор молодежь верила мне. Я не ожидал... Мне очень больно.

Но я уже не пытался продолжать разговор в парламентских тонах и очень выразительно об'яснил приват-доценту, что думаю об его поведении.

В заключение я сказал:

— Для меня ясно, что никаких доказательств у вас нет. Я так и об'явлю на сходке, — что Георгиевский оклеветан вами.

Я вышел, не прощаясь. Но приват-доцент поспешил за мной в переднюю, предупредительно подал мне пальто, затем вышел проводить меня на лестницу. Он был бледен, расстроен и все повторял:

— Вы подумаете еще... Это не последнее ваше слово... Вы этого не сделаете....

Результаты своего разговора со Святловским я доложил Коалиционному Совету, при чем энергично доказывал, что постановление о «проскрипционном списке» должно быть отменено, так как совершенно несомненно, что оно было принято без соблюдения требований процессуальной справедливости. После горячих споров было решено, что комиссия, выбранная для переговоров с профессорами, представит сходке мотивированный доклад о необходимости отменить решение об «активном бойкоте» профессоров, против которых не имеется конкретных и точно установленных обвинений. Докладчиком по этому вопросу назначили меня — отчасти в отместку за неосторожность при ведении переговоров с профессорами. При этом просили меня, без крайней надобности, не называть имя Святловскаго (чтобы не давать правым профессорам оружия против младших преподавателей).

Сходка состоялась 25-го сентября. Предложение уничтожить «проскрипционный список» и отказаться от бойкота правых профессоров (за исключением Коновалова и Жданова) вызвало со стороны части студентов взрыв протестов и свистков. Я аппеллировал к чувству справедливости молодежи, и пр. Покровский был бы не мало изумлен, еслибы, присутствуя на этой сходке, он услышал свою речь в устах студента-большевика.

6*

Энгель поддерживал меня. В конце концов, после долгих и довольно сумбурных прений, сходка приняла резолюцию:

«На сходке 19-го сентября, при вынесении резолюции о «проскрипционном списке», не были соблюдены некоторые принципы процессуальной справедливости:

«1) обвиняемых судили заочно;

«2) судили многих сразу за разнообразные поступки;

«3) обвинения против некоторых лиц не были формулированы достаточно ясно и определенно.

«В виду этого сходка полагает, что вопрос о бойкоте лиц, внесенных в «проскрипционный список», нельзя считать решенным окончательно. До рассмотрения этого вопроса особой комиссией сходка предоставляет товарищам слушать или не слушать каждого профессора, руководствуясь собственной совестью».

Таким образом, вопрос о «проскрипционном списке» был погребен в комиссии (которая, к слову сказать, так этого вопроса и не рассмотрела). Поводы конфликта с профессурой были устранены. Совет Профессоров сохранил за собой право распределения кафедр (то есть, приглашения и удаления из Университета профессоров) — это свое важнейшее право в области академической жизни. Со своей стороны, наша группа сохранила возможность распоряжаться в Университете вне часов занятий.

Спустя несколько дней состоялись выборы Совета Старост.

Выборы производились по факультетам, путем тайной подачи голосов за списки кандидатов, выставленные различными партиями и группами,

Больше всего голосов собрал об'единенный список большевиков, меньшевиков и бундовцев. У социал-демократов оказалось в Совете Старост абсолютное большинство. Следующую по численности фракцию составляли социалисты - революционеры, и обе социалистические фракции вместе господствовали в Совете безраздельно, не встречая противодействия со стороны маленькой группы «беспартийных».

Во главе последней группы стоял Виленкин, — талантливый оратор, очень неглупый человек, смелый, находчивый, остроумный. У него была тактика — выступать по всем вопросам, подчеркивая отличие своей точки зрения от взглядов социалистических партий, но никогда не доводить дело до конфликта.

Социал-демократы, руководившие Советом, делились на две группы: одни вели повседневную работу в столовой комиссии, в студенческом бюро по приисканию мест, в землячествах и т. д.; на других, как, например, на мне, лежала политическая работа, — то есть, «использование» Университета и выступления на сходках.

Само собой разумеется, что к старостам, появлявшимся лишь на сходках и подвизавшимся на закрытых для студентов митингах, умеренные элементы студенчества относились с некоторой опаской. У Виленкина это отношение выражалось, между прочим, в иронической почтительности, с которой он поглядывал на мои высокие сапоги и черную

косоворотку с ременным поясом: в то время я уже вел партийную работу среди рабочих, большую часть дня проводил в заводских районах и привык одеваться по заводскому, чтобы не выделяться из толпы; Виленкин же считал мой пролетарский костюм революционным маскарадом.

Однажды я пришел на вечернее заседание Совета Старост смертельно усталый. С шести часов утра я был на ногах, три раза говорил под открытым небом. Совершенно разбитый, я мечтал лишь о том, чтоб заснуть, а между тем в Совете Старост мне пришлось в этот вечер председательствовать. Заседание происходило в одной из зал нижнего этажа, мы расположились в глубоких кожаных креслах вокруг стола крытого зеленым сукном. Я чувствовал, что веки мои слипаются, что голова опускается все ниже.

Вдруг громкий стук, и вслед за тем чей то негодующий голос:

— Это безобразие! Уберите ноги!

Смотрю, — Виленкин положил ноги на стол и лежит, откинувшись на спинку кресла, в самой невозможной позе, не обращая внимания на стоящего над ним в угрожающей позе эсэра.

— Что это значит? изумился я, протирая глаза.

Виленкин об'яснил невозмутимо:

— Там, где председатель собрания спит, члены собрания могут класть ноги на стол.

И он убрал ноги со стола, лишь получив от меня торжественное обещание, что я не буду больше спать на заседании.

Впрочем, подобные мелкие конфликты не нарушали доброго согласия, царившего в Совете Старост.

Дружелюбные отношения вскоре наладились и между Советом Старост и Советом Профессоров.

Профессора неоднократно подымали речь о том, что Университет не приспособлен для митингов: потолки могут не выдержать чрезмерной нагрузки, здание не имеет запасных выходов на случай пожара, паника может вызвать здесь бесчисленные жертвы. Отсюда следовало, что неоходимо перенести митинги в другое помещение. В ответ старосты ссылались на полицейские условия, — и все оставалось по старому.

По утрам в Университете шли лекции, — аудитории и лаборатории были наполнены студентами, за кафедрами сидели профессора. А вечером не только Актовый Зал и аудитории, но порою и двор наполнялись рабочей толпой, которая расходилась лишь после полуночи. С рассвета сторожа принимались за уборку, — и к 9-ти ч. утра Университет снова принимал свой казенно-благопристойный облик.

В этом отношении в Петербургском Университете (как и в других петербургских высших учебных заведениях) дела сложились совершенно иначе, чем, например, в Москве.

В то время как в Петербурге в с е профессора — не исключая и крайних правых — преспокойно читали лекции по утрам, предоставляя в наше распоряжение и кафедры, и аудитории в вечерние часы, в Москве не только правые профессора, но и либеральные профессора, пользовавшиеся популярностью среди студентов (как кн. С. Трубецкой и Мануилов), ни за что не хотели примириться с митингами в стенах Университета.

Это различие тактики петербургской и московской профессуры нельзя об'яснить политическим радикализмом петербургских профессоров, сравнительно с московскими. Принципиальная позиция тех и других была одна и та же. И московские профессора твердо проводили ее, тогда как петербургские плыли по течению, приспособляясь к обстоятельствам, делая уступки студентам. Но компромисс всегда двусторонен. И несомненно, что дальше известного предела в своих уступках петербургские профессора не пошли бы. Поэтому, установившееся в Петербургском Университете положение не было бы возможно, еслибы революционная часть студенчества не взяла здесь на себя ликвидацию академических конфликтов и охрану «внутреннего мира».

Это не было с ее стороны осуществлением зрело продуманной тактики, но явилось результатом случайных обстоятельств.

Любопытно отметить, что «Искра», еще в июле пророчески угадавшая возможность использования высших учебных заведений для широкой митинговой кампании, рекомендовала студенчеству совершенно иную тактику по отношению к профессуре.

«Само собою разумеется, писала «Искра» в уже цитированной мною статье, что революционное студенчество встретит противодействие не только со стороны правительства. Многие из тех «радикальных» профессоров, которые упиваются своей собственной гражданской доблестью, выражающейся в пассивном отказе читать лекции, поднимут ужасный вопль по случаю покушения революции на «свободу» науки. Но смущаться этими

воплями не следует, не только потому, что свобода профессорской «науки», всегда косящей глазами в сторону правящих классов, — вещь довольно сомнительной ценности, но и потому, что те недолгие дни до водворения либерального «порядка», когда университет будет достоянием революционного народа, будет трибуной, с которой в свободном состязании будет раздаваться всякий голос, всякое мнение, — эти недолгие дни и будут днями истинной свободы науки, свободы мысли, свободы исследования. И можно заранее поручиться, что те студенты, которым выпадет на долю счастье пережить эти дни, не так то легко и скоро дадут снова запречь себя в оглобли размеренно аккуратной «научной мысли» гг. профессоров»...

Таким образом, студенчеству предлагалось дать профессорам бой на почве толкования академической свободы.

При иных условиях такая борьба имела бы, быть может, политическое значение, но при сложившейся обстановке применение этой тактики привело бы к срыву митинговой кампании. В конце сентября перед нами была лишь одна задача — удержать в своих руках университетские стены для революционного их использования рабочими. И эта задача оказалась разрешена успешно исключительно благодаря тому, что мы без боя и без долгих размышлений уступили профессорам те позиции на поле академических споров, которым они придавали наибольшее значение, и которых, следуя до конца тактике «Искры», мы не должны были бы сдавать ни в каком случае.

* * *

С полосой университетских митингов тесно связана история петербургских октябрьских дней. Деятели октябрьского периода не только видели эту связь, но часто склонны были переоценивать ее.

Так, Витте пишет в своих «Воспоминаниях»: «Указ об автономии университетов, последовавший в августе месяце, был первою брешью, через которую революция, созревшая в подполье, выступила наружу» (т. I. стр. 486).

В этом же смысле высказывался Хрусталев-Носарь в своей речи на суде (25-го января 1906 г.): «Зародыш Совета Рабочих Депутатов надо искать в сентябрьских днях, говорил он: Сентябрь — это время митингов. «Автономная» высшая школа превратилась в политическую трибуну. Десятки тысяч рабочих были охвачены митинговой лавиной. На этих митингах говорили о борьбе, звали к ней. Повышенное настроение пролетариата характеризует сентябрьские дни. Железно-дорожная стачка дала выход этому психологическому под'ему».

Я думаю, что эти утверждения нуждаются в существенных оговорках. Граф Витте готов был об'яснять всю революцию 1905 г. указом об автономии просто потому, что указ этот был издан без его совета, в то время, как он сидел в Портсмуте. Что же касается до Хрусталева, то он события общероссийские рассматривал сквозь петербургскую призму.

Октябрьская забастовка охватила всю Россию. Началась она в Москве, где университетские митинги не достигли большого развития, и где сентябрьское движение характеризовалось скорее уличными манифестациями и вооруженными столк-

новениями, нежели речами на революционно-политические темы. В частности, не митингами была подготовлена всероссийская забастовка железнодорожников, сыгравшая решающую роль в развитии октябрьских событий.

Митинги в высших учебных заведениях были характерной особенностью пред-октябрьского периода в Петербурге (и еще в трех-четырех городах). Поэтому в них следует искать об'яснения не октябрьского движения в целом, а тех особенностей, которые характеризовали это движение в Петербурге.

А главной особенностью петербургского движения было то, что оно создало Совет Рабочих Депутатов, центральный орган, который, если не руководил стихийным рабочим движением, то являлся его глашатаем, его политическим выразителем. Благодаря Совету октябрьские события приобрели в Петербурге внешний вид большей планомерности, организованности, осознанности; в них отчетливее выступила наружу власть определенных политических формул. Но может быть, не менее характерной особенностью революционного движения в Петербурге за этот период было обилие слов — хороших, горячих, искренних, но все же слов, не претворявшихся в дело.

Эти черты — как положительные, так и отрицательные — действительно, были подготовлены той митинговой агитацией, через которую прошли десятки тысяч петербургских рабочих в период, который обыкновенно называют «сентябрьскими днями», но который в действительности охватывает послед-

ние десять дней сентября и первую половину октября.

* * *

В начале октября митинги в высших учебных заведениях Петербурга получили особенное развитие. 2-го октября в Горном Институте набралось столько народу — исключительно рабочих, — что балки большого зала дали прогиб; дело могло бы кончиться катастрофой, но все обошлось благополучно благодаря тому, что толпа, наполнявшая зал, узнав об опасности, отнеслась к ней с чисто русской беспечностью и очистила зал без спешки, без давки, нехотя уступая просьбам студентов устроителей митинга. . .

7-го октября забастовал московский железнодорожный узел. В Петербурге ходили противоречивые слухи об этой забастовке. Газетные вести не удовлетворяли рабочих, им хотелось узнать подробности о событиях от «своих», от «ораторов», к которым они привыкли за последние 2—3 недели. Гуще повалила толпа на митинги, и характер этих митингов изменился: настроение их стало более деловое, сосредоточенное; читались телеграммы, делались доклады с мест; наметился новый порядок обсуждения, — по профессиям, по отдельным заводам, по районам.

8-го октября на митинге в Военно-Медицинской Академии только и было речи, что о всеобщей забастовке. И характерная подробность: все ораторы всех партий высказывались против забастовки.

Аргументов было множество·

всеобщая забастовка в России **невозможна**, так как подобное выступление требует чрезвычайной организованности пролетариата;

всеобщая забастовка **бесцельна**, так как это оружие недостаточно остро, чтобы заставить капитулировать правительство;

всеобщая забастовка **опасна**, так как она бьет по интересам масс населения и вооружает их против рабочего класса.

Общий вывод:

Не **забастовка**, а **восстание**!

Один за другим подымались на кафедру социал-демократы и социалисты-революционеры и страстно призывали рабочих «не поддаваться на провокацию», — конкретно это означало: не бастовать и готовиться к восстанию[1]).

То же самое повторилось на митингах 9-го и 10-го октября, — когда Москва, Харьков, Ревель уже бастовали.

11-го октября на митинг в Университет собралось свыше 30 тысяч человек. Актовый Зал был предоставлен петербургскому отделению железнодорожного союза. Выступали исключительно железнодорожники. После обсуждения доклада делегатов, отправленных союзом для переговоров с Хилковым (министром Путей Сообщения) и с Витте, митинг единогласно постановил:

---

[1]) Отмечу, что эти призывы начались еще раньше, до 7-го. Революционные партии боялись, как бы разрозненные забастовки «по сочувствию» и по частным экономическим поводам не повредили предстоящему восстанию. 5-го октября на митингах выносились резолюции в этом смысле.

Петербургскому узлу присоединиться ко всероссийской железнодорожной забастовке.

Ниже я вернусь еще к этому решению. А пока отмечу, что в то время, как в Актовом Зале Университета выносилась эта резолюция, в бесчисленных аудиториях, переполненных рабочими, и во дворе, где с двух трибун, под открытым небом, произносились речи перед толпой, — все еще шла агитация против забастовки.

Впрочем, вечером 11-го уже раздавались отдельные голоса в пользу всеобщей забастовки, — как переходного этапа к вооруженному восстанию.

Настроение рабочей массы развивалось в эти дни по каким то своим внутренним законам, независимо от партийных лозунгов, независимо от речей, которые раздавались с ораторской трибуны. Рабочие с каждым часом все решительнее склонялись в пользу забастовки, которая представлялась им единственным находящимся в их руках оружием борьбы. Они аплодировали речам о вооруженном восстании, отвечали криками «правильно» на призывы «не поддаваться на провокацию», а между тем думали про себя свою думу... И эта их дума, это их молчаливое, все больше крепнувшее решение передавались ораторам, заставляли их порой говорить не то, что они готовились проводить, отправляясь на митинг, и не то, чего требовала их партия.

11-го меня вызвали из Университета в Военно-Медицинскую Академию, где собралось несколько тысяч рабочих, а говорить было некому.

Приехал я туда. Аудитория, опускающаяся вниз полукруглым амфитеатром, набита битком. Все — рабочие Выборгской Стороны. Предлагают мне говорить о политической забастовке. Чувствуя, что необходимо дать рабочим прямой ответ на волнующий их вопрос, и не решаясь брать на себя ответственность в столь серьезном деле, я попросил одного товарища немедленно ехать на явку Петербургского Комитета и затребовать указаний, что говорить о забастовке. В ожидании ответа, я начал речь о политической стачке вообще, как об одном из орудий борьбы пролетариата. Когда я кончил, председатель (тоже социал-демократ большевик) предложил произвести опрос собравшихся о настроении на их заводах. Начались доклады с мест.

Спустя час возвращается товарищ, посланный мною на явку Комитета; привозит ответ: «Петербургский Комитет заканчивает обсуждение вопроса; через полчаса будут присланы директивы».

Проходят полчаса, час. Никаких вестей из Комитета. Между тем, митинг продолжается. Говорят исключительно рабочие, — и все говорят одно и то же: забастовка необходима, забастовка должна быть объявлена немедленно, не может рабочий Петербург отставать от других городов!

Уже двенадцатый час. Собрание хочет подвести итоги, оформить свою мысль. Раздаются голоса:

— Пускай теперь партийные говорят! Пускай товарищ оратор нам скажет!

Просят меня взять слово. Невольно подчиняясь общему порыву, я начинаю свою речь:

— Товарищи! что могу я прибавить к тому, что

уже было сказано? Да здравствует всеобщая забастовка!

Гремят рукоплескания. Сидевшие на скамьях поднялись со своих мест.

В это время к столику председателя подбегает студент, передает ему сложенную записку, что то шепчет ему на ухо. Председатель бросил взгляд на бумажку, протянул ее, было, мне, но затем раздумал, отложил ее в сторону и слушает мою речь.

Когда я кончил, председатель передал мне бумажку. На ней было написано дословно:

«Директива агитаторам — выяснять pro и contra забастовки.
П. К. Р. С.-Д. Р. П.» [1])

Это была, все же, директива! У эсэров не было и того. И лишь меньшевистская «Группа», как я узнал позже, приняла в этот вечер решение, которое в дальнейшем должно было привести к образованию Петербургского Совета Рабочих Депутатов.

А 12-го октября в Петербурге была уже всеобщая забастовка.

В следующей главе я расскажу подробнее о том, как она началась, пока же, забегая немного вперед, я остановлюсь на том, что происходило в эти дни в Университете.

Ни в сентябре, ни в начале октября правительство не принимало никаких мер против революционной агитации в стенах высших учебных заведений.

[1]) Эту «директиву» хорошо помнят товарищи, вместе со мной бывшие в большевистской ораторской коллегии в конце 1905 года.

Борьба самодержавия с революцией велась в это время партизански-анархическими методами: в то время, как одни из администраторов проявляли свое усердие погромами, избиением крамольников, другие думали лишь о том, как бы выдти сухими из воды, избежав и пули террориста, и гнева начальства. В Петербурге явно преобладала именно эта предусмотрительная тенденция. С одной стороны, в городе, являющемся местом пребывания иностранных посольств, в непосредственной близости от Европы, на глазах у корреспондентов европейских газет, неудобно было устраивать погромы, а других способов борьбы с крамолой администрация не знала. С другой стороны, усердие администраторов-головорезов парализовалось здесь близостью безвольного, вечно колеблющегося, капризного самодержца. К тому же и тени павших 9-го января еще витали над Петербургом, как предостережение тем, кто вздумал бы вновь устроить бойню безоружных рабочих. Наконец, начальство не было вполне уверено в войсках и боялось отдать им приказ, который мог бы послужить сигналом для открытого возмущения.

В силу всех этих условий, Петербурга не коснулся тот смерч погромов, который уже гулял по России. И потому именно Петербург имела, главным образом, в виду черносотенная печать, сетуя на то, что «начальство ушло».

12-го октября, когда Петербург был уже охвачен всеобщей забастовкой, правительство, или, точнее, придворные круги решили действовать. Начальство в е р н у л о с ь. 13-го Трепов, принявший на себя руководство операциями, начал стягивать

7 Войтинский.

в Петербург из близлежащих мест наиболее надежные воинские части.

14-го он издал свой исторический приказ:

«Патронов не жалеть и холостых залпов не давать».

Одновременно было опубликовано постановление правительства, категорически воспрещающее политические собрания в стенах высших учебных заведений. Наблюдение за исполнением этого распоряжения возлагалось на советы профессоров, причем им вменялось в обязанность, в случае недействительности иных мер к предупреждению митингов, закрывать высшие учебные заведения. Вместе с тем рабочим бросалась небольшая подачка: им предоставлялись — «безмездно» — для собраний три помещения (народный дом гр. Паниной, Василеостровский театр и народный дом Нобеля). Для Университета создалась серьезная опасность. Днем в Актовом Зале собралась студенческая сходка. Присутствовало на ней около тысячи человек довольно случайного состава.

Ректор И. И. Боргман обратился к студентам с речью, заклиная молодежь, в предупреждение кровопролития, согласиться на временное закрытие Университета. Совет Старост, застигнутый врасплох, поручил мне ответить на эту речь.

Я заявил, прежде всего, что признаю справедливыми опасения ректора, признаю, что студенчество идет навстречу опасности, — быть может даже навстречу кровавым жертвам. Но разве бывает борьба без опасностей? Разве возможна революция без жертв? Разве жертвы, ожидающие нас, будут

первыми жертвами, принесенными за освобождение России?

Напомнив решение сходки 13-го сентября, я предложил резолюцию:

«Университет, открытый во имя интересов революции, останется открытым, не смотря ни на что».

Эта резолюция была принята сходкой почти единогласно. Впрочем, я тогда же говорил партийным товарищам, что не следует переоценивать этого голосования: многие студенты, голосуя за мою резолюцию, в душе, наверное, давали себе слово не показываться в Университете, «пока все не уляжется».

Но это не могло смутить нас: поглощенные мыслью об использовании университетских стен для агитации среди рабочих, в то время мы уже мало заботились о революционной температуре студенчества.

14-го октября в Университете собрался митинг Союза Союзов. По довольно осторожному подсчету, в Актовый Зал, в аудитории и во двор набралось до 40 тысяч человек. Это был самый многолюдный из митингов этого периода. Говорили о всеобщей забастовке. Состав собравшихся был интеллигентский, рабочих было мало. Но чувствовался большой под'ем. Резолюции о присоединении ко всеобщей забастовке принимались единогласно.

В отдельной Аудитории собралось петербургское отделение Академического Союза. Большинство собрания составляли младшие преподаватели (приват-доценты, лаборанты). Из профессоров яви-

7*

лись лишь немногие, наиболее левые, — помню среди них пр. Е. Тарле.

Положение Академического Союза в эти дни было не из легких.

Ему, как члену Союза Союзов, приходилось определить свое отношение ко всеобщей забастовке.

Забастовать? Но забастовка профессоров и приват-доцентов в то время, когда студенчество отказывается от этой формы протеста, практически означала бы закрытие высших учебных заведений вопреки воле студенчества, то есть капитуляцию перед Треповым.

С другой стороны, не бастовать в то время, когда в с е бастуют? Согласуется ли такая линия поведения с требованиями гражданского долга?

Собрание решило заслушать по этому вопросу мнение представителей студенчества. И так как заседание происходило в стенах Университета, то, естественно, обратились к нашему Совету Старост. Как представитель социал-демократической фракции Совета, я выступил с раз'яснением тактики студенчества.

В начале моей речи произошел небольшой инцидент. Я говорил охрипшим от митинговых выступлений голосом и одет был по заводскому, в высоких сапогах и косоворотке. Это вызвало протест со стороны одного из членов собрания:

— Мы хотели бы слышать речь представителя с т у д е н т о в, а не р а б о ч и х!..

В своей речи я доказывал, что для успешного проведения всеобщей забастовки необходимо, чтобы высшие учебные заведения оставались открытыми, ибо нет другого места для устройства рабочих ми-

тингов. Поэтому, несмотря на всеобщую забастовку, долг профессоров продолжать читать лекции.

Кто-то спросил:

— Неужели на Университетской линии труднее расстрелять толпу рабочих, чем на Шлиссельбургском тракте?

Я ответил:

— Повидимому, труднее. Митинги идут уже четвертую неделю, а до сих пор не пролилось ни единой капли крови.

— Но завтра, быть может, кровь польется ручьями.

— Может быть... Но пока высшие учебные заведения служат нам.

Один из присутствовавших — кажется, Тарле — сказал:

— Я думаю, что в данном случае решающее слово принадлежит студенчеству и, в частности, его революционной части. У меня нет уверенности в правильности принятой студенчеством тактики, но я не вижу для нас возможности изменить эту тактику. Мы должны принести ту жертву, которой требует у нас представитель Совета Старост.

И собрание приняло, в конце концов, следующую резолюцию:

«Признавая, что в настоящее время устройство митингов является потребностью страны, не удовлетворяемой вновь созданными правилами о собраниях, мы, члены петербургского отделения Академического Союза, в ответ на распоряжение правительства, опубликованное 14-го октября, заявляем, что препятствовать устройству митин-

ков в стенах высших учебных заведений мы не будем. Вместе с тем, мы решительно отказываемся закрывать высшие учебные заведения. Применение правительством вооруженной силы к прекращению митингов мы считаем преступлением против народа».

Но наши митинги уже подходили к концу.

* * *

Последний митинг в Университете состоялся вечером 15-го октября.

С утра стало известно, что правительство — или, может быть, градоначальство (ибо ген. Трепов представлял в эти дни верховную власть и для Петербурга, и для всей России) — решило вооруженной рукой положить конец митингам в высших учебных заведениях, и что в этот день войска будут пущены в дело.

Снова собралась летучая сходка в Актовом Зале. Но зал был далеко не полон: в это утро в Университете едва ли было более 600—800 чел.: все более осторожные и умеренные студенты сидели по домам, а сошлись в Университет горячие, революционно настроенные юноши-первокурсники.

Говорили о том, что делать в случае нападения войск.

Один эсэр-кавказец с большим жаром развивал план обороны: заранее забарикадировать окна нижнего этажа и все двери, кроме главного входа с Университетской линии; у главного входа заготовить матерьялы для того, чтобы можно было в любой момент соорудить и здесь барикаду; у

всех барикад поставить вооруженные револьверами дружины...

Это предложение встретило сочувствие сходки.

У нас, в партийных кругах, не обсуждался предварительно вопрос о возможности вооруженной обороны Университета. Но пока говорил пылкий кавказец, я с полной ясностью представлял себе, в какой кровавый фарс грозит превратиться эта затея.

Возражая оратору эсэру, я начал с критики позиций, избранных им для боя с войсками самодержавия. Из всех зданий Петербурга, говорил я, менее всего пригодно для барикадной обороны здание Университета, — со всех сторон открытое для обстрела, вытянутое на четверть версты в длину, со стенами, состоящими чуть не сплошь из окон. Да и чем будем мы оборонять это здание от пушечного огня? Но нужно подумать о другой опасности, — о панике, которая может овладеть толпой при приближении войск.

И я предложил, не отменяя вечернего митинга, принять меры к тому, чтобы иметь возможность, в случае надобности, распустить его, не доводя дела до кровопролития.

После меня взял слово студент Никольский. Он наметил ряд практических мероприятий: выяснить имеющиеся запасные выходы, подготовить пути для выпуска толпы с университетского двора на боковые улицы, наметить достаточное число распорядителей, установить наблюдательные посты вокруг Университета, иметь наготове лиц для переговоров с войсками, заранее предупредить собравшихся о возможной опасности, не допускать на

митинг детей и женщин, организовать, на всякий случай, отряды скорой помощи.

Никольский в первый раз выступал на сходке. Но говорил он уверенно, резко, будто отдавал приказания. Тут же было решено поручить ему руководство «обороной» Университета, и он немедленно приступил к делу, открыв запись добровольцев.

Так родился знаменитый «академический легион»: хотя Никольский, как человек, прошедший военную школу, и придал своей работе полу-военный характер (со «штабом», службой связи, службой разведки и т. д.), но по существу это была совершенно невинная организация «распорядителей» с белыми бантами...

Работа кипела. На дворе разбирали какие-то изгороди, в «штабе» изучали план города, в коридоре и на лестнице появились цепи дежурных. Никольский, уже получивший среди студентов кличку: «генерал Трепов», или более кратко «генерал», поспевал повсюду.

К 8 ч., когда начала собираться в Университет «митинговая» публика, все приготовления были закончены. Двое старост стояли внизу, у входной двери, и предупреждали приходивших:

— Сегодняшнее собрание может закончиться столкновением с войсками. Может быть, вы вернетесь, пока не поздно?

Рабочие проходили мимо, добродушно посмеиваясь:

— Это на счет того, что патронов велено не жалеть? Ничего!

Вернулось после предупреждения лишь несколько дам, пришедших на митинг из любопытства. Да еще мы отказались пропустить группу гимназистов и гимназисток, которые, без нашего ведома, назначили на этот день в Университете свое собрание. Ребята были крайне обижены. Один из них, стройный юноша с симпатичным лицом, горячо доказывал:

— Вы становитесь на бюрократическую почву... Вы судите о людях по форме, которую они носят...

У гимназиста нашлись заступники среди рабочих. Но старосты остались непреклонны.

Тогда гимназисты заявили:

— В таком случае мы устроим собрание во дворе Университета, под открытым небом! Мы разойдемся, лишь подчиняясь силе.

И, действительно, они открыли свое собрание во дворе, пользуясь кучей каменного угля, как трибуной, и, кажется, вынесли здесь резолюцию протеста против Совета Старост.

Что касается до митинга в стенах Университета, то на этот раз народу на нем было сравнительно не очень много, тысяч 10—15. Но настроение собравшихся было исключительно боевое.

В этот вечер я должен был выступить с речами чуть ли не десять раз — и в Актовом Зале, и в отдельных аудиториях. Помимо этого, на мне лежали сношения с Никольским, и я то и дело поднимался в третий этаж, в его «штаб», куда поступали донесения «разведчиков».

Университет со всех сторон был окружен войсками, но держались они на порядочном расстоянии, образуя широкое — и не сплошное — кольцо,

радиусом около версты. Значительные силы стояли у Биржи, другой отряд был сосредоточен на противоположном берегу Невы, у Адмиралтейства. Отмечались передвижения войсковых частей на Васильевском острове.

Но противник медлил, как будто неуверенный в своих силах. Проскакали по Университетской линии казаки, проехала через дворцовый мост артиллерия, быстрым шагом прошла мимо Университета пехота.

Митинг продолжался.

Полк конницы вытянулся против фасада Университета, вдоль противоположного тротуара, и замер неподвижно. Но это была лишь демонстрация, а не подготовка нападения, — ясно было, что кавалеристы не могут развернутым строем аттаковать здание, отделенное от улицы высокой железной оградой. Мы решили не обращать внимания на этот маневр.

Но вот, конница перестраивается. Сплошная линия ее разбилась на отдельные звенья, собралась в три-четыре темные, неподвижные массы. В промежутках между группами всадников появляется пехота. Лязгает оружие, стучат конские подковы по камням мостовой, всадники спешиваются, равняются по пехоте, лошадей уводят куда то назад, в темноту.

Положение становится более серьезным. Но линия солдат неподвижна. Будет ли отдан приказ аттаковать?

Во всяком случае, без предупреждения огня не откроют. Время еще есть. Будем продолжать митинг!

Прибегают «разведчики», посланные Никольским к Дворцовому и Тучкову мостам, в тыл выстроенных против Университета солдат.

— Прибыла артиллерия! Орудия снимаются с передков, устанавливаются против Университета!

Из окон комнаты, занятой «штабом», видно движение за линией войск, видны силуэты, подтверждающие донесения «разведчиков»[1]). Повидимому, приближается решительный миг. Нужно быть готовыми ко всему. Посылаем предупредить комиссию, уполномоченную на ведение переговоров с противником. Я бегу в Актовый Зал и занимаю место рядом с председателем, чтобы, по получении записки от Никольского, распустить собрание.

С высокой кафедры видна часть Университетской линии, виден неподвижный строй солдат, видны мелькающие позади этого строя странные тени. Актовый Зал набит битком. Как распустить эту толпу без давки в дверях, без паники?

Мне подают записку из «штаба»: «Пора закрыть собрание. Расходиться не всем сразу».

Показываю записку председателю. Тот дает мне слово «для внеочередного сообщения».

В это время протиснулась в зал группа студентов-распорядителей с белыми повязками на рукаве. Они расположились цепью поперек зала, отрезая задние ряды.

Я начинаю свою речь:

---

[1]) Чтобы не придавать событиям этого дня преувеличенного драматизма, я должен отметить, что не знаю наверное, была ли, на самом деле, выставлена против Университета артиллерия: я допускаю, что наши «разведчики» в темноте приняли за пушки обоз походных кухонь...

— Вы знаете, товарищи, о провокации, задуманной Треповым. Я должен сообщить вам о последних действиях петербургского градоначальника. Его войска уже выстроены против Университета, в нескольких шагах от нас... На нас наведены жерла пушек...

Крики негодования несутся из толпы. Но нет признаков испуга. Самый опасный момент прошел: паники не будет, мы успеем распустить митинг, прежде чем здание наполнится солдатами. Но нужно распустить митинг так, чтобы рабочие не унесли с собою в районы горького чувства поражения!

И я продолжаю речь:

— Как ответим мы на провокацию Трепова? Мы не готовы к бою, у нас нет оружия, мы пришли сюда для обсуждения своих нужд, а не для восстания. Так разойдемся же теперь в полном спокойствии и порядке!.. Товарищей, стоящих ближе к дверям, за цепью распорядителей, прошу покинуть собрание... Остальных прошу не двигаться с места... Я продолжаю, товарищи! Мы не отказываемся от своего права свободно собираться в стенах Университета... Мы вернемся сюда и силою оружия вернем себе эту трибуну...

— Завтра! несется из толпы: Завтра все, с оружием, к Университету!

— Да, завтра! подхватываю я родившийся в толпе лозунг: Завтра все к Университету, с оружием в руках!

В это время цепь распорядителей уже передвинулась ближе к кафедре, отрезав вновь часть толпы. Вновь отпускаю задние ряды.

— Назначьте время на завтра! кричат уходящие.

— 3 часа! отвечаю я: А сейчас прошу уходящих не задерживаться в коридоре. . .

— До завтра! несутся крики.

Стоявший рядом со мною агитатор-большевик Леонид схватил меня за руку:

— Что вы делаете? Разве можно так назначать вооруженную демонстрацию? Знаете, что произойдет завтра?

Но я был настолько поглощен своей задачей распустить сегодняшний митинг, что не мог думать о завтрашнем дне.

Голос у меня сорвался. Леонид сменил меня. У меня шевельнулась мысль, что, быть может, Леонид был прав, и не следовало призывать рабочих идти к Университету с оружием. Родилась надежда, что товарищ исправит дело. Но куда! Леонид с еще большей страстью, чем я, повторял:

— Так помните, товарищи! Завтра, в 3 часа! С оружием! Что у кого найдется! Все на решительный бой!

А час спустя я узнал, что совершенно независимо от меня и от Леонида в десятке аудиторий, десяток ораторов, закрывая собрания, повторяли тот же лозунг! . .

В первом часу ночи солдаты заняли все входы в Университет и вошли в главные двери. Но ни в ярко освещенном Актовом Зале, ни в аудиториях уже не было ни души. Лишь группа студенческих старост встретила солдат на площадке лестницы.

Командовавший отрядом офицер заявил нам, что мы можем оставаться или расходиться по домам, так как ему приказано пустить в ход оружие против

посторонних лиц, собравшихся в числе многих тысяч в Университете, а не против десятка старост. Часов до 5 утра мы просидели в университетской канцелярии, а когда рассвело, пошли спать.

Здание Университета осталось в руках правительственных войск. В эту же ночь были оцеплены и все остальные высшие учебные заведения. Лишь в Технологическом Институте заперлась группа студентов, решившая оказать сопротивление войскам. Но эта попытка не имела серьезных последствий. Не имел последствий и наш призыв к вооруженной демонстрации перед Университетом[1])...

Полоса митингов в высших учебных заведениях оборвалась. Но победа ген. Трепова оказалась призрачной: всеобщая забастовка продолжалась,

---

[1]) Об этом подробнее в следующей главе.

II. СРЕДИ РАБОЧИХ.

Петербургские рабочие в 1905 г. — Первый раз в рабочем квартале. — Пропагандистский кружок. — Начало всеобщей забастовки. — Как родилась мысль о Совете Рабочих Депутатов. — Первые шаги С. Р. Д. — В дни забастовки. 17-го октября. — После манифеста. — Военный митинг. Конец октябрьской забастовки. — Заводские митинги. Большевики и С. Р. Д. — Союзное строительство. — Митинг околоточных. — Борьба за 8-часовый рабочий день. Выступления черной сотни. — 29 октября в С. Р. Д. — За Невской заставой. — Кронштадтское восстание. — Начало второй забастовки. — На путиловском заводе. — Братцы-рабочие. — Конец забастовки. — Вторая забастовка и общество. — Польский митинг. — Локаут. — Последние усилия. — Чем был Совет Рабочих Депутатов?

К 1905 году рабочее движение в Петербурге имело уже за собой длинную историю. Но едва ли можно было найти среди местных рабочих хоть десять человек, которые хранили бы память о пройденном петербургским пролетариатом пути.

В течение тридцати лет упорно работала мысль в рабочих кварталах Петербурга. Но столь же упорно работала все эти годы царская охранка. Задушить движение, задержать наростание революционных настроений в рабочих массах она не могла, но ей удалось помешать накоплению в этих массах политических знаний и традиций.

Помню, с каким благоговением слушала в сентябре 1905 года рабочая толпа агитатора, рассказывавшего ей о Степане Халтурине. Но точно также стала бы слушать она о Спартаке: имя основателя

…ерного Рабочего Союза было для нее столь чуждое, незнакомое, как имя вождя римских гладиаторов. И если Степан все же казался ей более близким и дорогим, то лишь потому, что «товарищ оратор» раз'яснил, что это был свой брат, питерский мастеровой.

Общий уровень политической сознательности петербургского пролетариата понижался тем, что состав его был непостоянный, текучий. Старых рабочих, проведших на заводе или на фабрике всю жизнь, в Петербурге было немного, да и держались они, по большей части, в стороне от революционных выступлений.

Много было на заводах чернорабочих, — из крестьян, лишь недавно пришедших из деревни в столицу. А на фабриках было много совершенно темных женщин-работниц. Но в недавнем прошлом было у них широкое захватывающее движение, которое все петербургские рабочие пережили сообща, — было движение 9-го января. И благодаря этому кровавому уроку, к осени 1905 года в рабочих массах Петербурга уже не было и следа тех монархических настроений, на которых выросли зубатовщина и гапоновщина.

Остатки веры в царя встречались чрезвычайно редко. Я лично помню лишь два таких случая: раз одна работница на фабрике Штиглица заметила при мне, что «грех царя ругать», другой случай произошел на Франко-Русском заводе.

Бессменным председателем рабочих собраний на этом заводе был Петр — рабочий лет 30-ти, выдающийся оратор (его речь временами текла, как белые стихи) и человек прекрасной души, — добрый

и чуткий. Рабочие относились к нему с трогательной любовью. Как то, при мне, открыв митинг краткой агитационной речью, Петр предложил выступить товарищам, которые с ним несогласны. На трибуну нерешительно поднялся пожилой рабочий-мужичок и начал:

— Не пойму я тебя, Петр. Человек ты хороший, и за нас стоишь, а между прочим — против царя идешь... Как оно так можно?

— Да потому я и иду против царя, отвечает Петр, что я стою за рабочее дело.

— Так оно непохоже выходит, настаивает мужичок: так понимаю, — коли ты за народ, значит, должен стоять за царя. А коли ты против царя, так должен идти супротив простого народа.

И не замечая растущей веселости собрания, мужичок обратился к толпе:

— Правильно я, товарищи, раз'яснил? Как вы нашего Петра понимаете?

Ему отвечал дружный хохот, и, недоуменно разводя руками, он спустился с трибуны.

Впрочем, спустя несколько дней, и этот мужичок отказался от своих монархических взглядов, о чем и заявил публично на очередном митинге:

— Теперь я тебя, Петр, одобряю. Теперь я и сам против царя.

— Кто же тебя вразумил? спросил его председатель.

— А казаки!

Накануне, поздним вечером, возвращаясь домой, он попался на глаза казачьему раз'езду, и казаки избили его, приговаривая:

— Будешь против царя бунтовать!

8 Войтинский.

Отрицательная часть революционной программы — против начальства, против хозяев, против царя,—была к осени 1905-го года основательно усвоена рабочими массами Петербурга. Хуже обстояло дело с положительной частью программы, усвоение которой требует длительной, упорной массовой работы, и, увы, дорого стоющих предметных уроков.

Отмечу еще, что уровень сознательности рабочих в Петербурге был неодинаков в различных предприятиях: металлисты шли впереди текстильщиков; пригороды были настроены революционнее, чем центральные районы; печатники резко выделялись из остальной массы городских рабочих; на заводах «горячие» цехи (кузнечный, литейный, прокатный, котельный) отставали от «холодных» мастерских (слесарных, токарных и т. п.). Наконец Семяниковский, Обуховский и Александровский заводы за Невской заставой, Лесснер и Парвиайнен на Выборгской стороне, Трубопрокатный на Васильевском острове проявляли больше готовности к революционным выступлениям, чем, например, путиловцы, столь жестоко пострадавшие 9-го января и обессиленные летней забастовкой.

Митинговая кампания конца сентября и начала октября затронула, хотя и не в равной мере, почти все уголки рабочего Петербурга. В стороне от движения остались лишь немногие предприятия, да отдельные мастерские. Но и здесь массы были полны смутного ожидания чего то, что должно изменить всю их жизнь, и потому так легко, так быстро воспринимали они революционную пропаганду.

Ожидание чего то огромного, надвигающегося неведомо откуда и носящего загадочное, страшное, манящее имя «революции», это почти мистическое ожидание было наиболее характерной чертой в настроении рабочей толпы накануне октябрьских дней.

* * *

Я хочу рассказать подробнее о моей *первой* встрече с подлинной рабочей толпой, — не на городском митинге, а *в глуши заводского квартала*[1].

Это было около 20-го сентября. В университетской столовой было назначено в этот вечер смешанное собрание большевиков и меньшевиков для дискуссии о фракционных разногласиях. Докладчиками должны были выступить товарищи, только что приехавшие из за границы.

С большим интересом шел я на это собрание, ибо после десяти дней партийной работы я уже чувствовал, что без знакомства с фракционными разногласиями — я в рядах Р. С.-Д. Р. П., как не знающий дороги странник в лесу.

В это время революционные партии только начинали понемногу вылезать из подполья, и потому собрание, хотя о нем уже за несколько дней почти открыто говорили в Университете, было обставлено всем внешним аппаратом конспирации: перед зданием — «патрули»; у дверей, при проверке

[1]) В январе 1906 г., в «Крестах», я, по свежей памяти, записал эту встречу. Несколько лет спустя, я переработал свои записки, придал им беллетристическую форму и в виде рассказа поместил их в «Просвещении» (1913 г. № 1) под довольно неудачным заглавием «Луч света средь мрака». Рассказ навлек на журнал цензурные кары: № был конфискован и против редактора, как и против автора, было возбуждено судебное преследование.

8*

билетов, — особые дежурные, спрашивающие «пароль»; на лестнице — новые контрольные заставы.

Все это было для меня ново и очень мне нравилось. Нравился мне и состав собрания, — было довольно много заводской молодежи, в высоких сапогах, в ярких цветных косоворотках, — все более или менее похожие на Старостина, ослепившего меня на сходке 13-го сентября.

В ожидании начала собрания я присоединился к кучке университетских эсдэков, на площадке лестницы слушавших рассказ Абрама о проведенной им на Путиловском заводе летучке.

К нам подошел с озабоченым видом рослый, усатый человек, — я уже знал, что это представитель Петербургского Комитета тов. Антон.

— Вот что, товарищи, обратился он к нам: Сегодня вечером рабочий митинг за Невской заставой, кто нибудь должен ехать. Может быть, вы отправитесь, товарищ Абрам?

Но Абрам отказался под предлогом необходимости для него присутствовать на дискуссии. Отказывались и другие агитаторы. Ссылались кто на простуду, кто на постановление комитета: обо всех митингах предупреждать агиторскую коллегию накануне.

— Поезжайте хоть вы, товарищ Петров, обратился Антон ко мне.

Я был в то время «университетским», а не «заводским» агитатором, так что ночная поездка за заставу явно выходила за пределы взятых мною на себя обязанностей. Все же я ответил, что охотно поехал бы, но на чисто рабочих собраниях я никогда не выступал и не знаю, о чем и как там говорить.

— Это пустяки! решил Антон: Нельзя же в самом деле, допустить, чтобы рабочий митинг разошелся из за того, что нет оратора, или оратор не знает, о чем говорить. Поезжайте! Что нибудь скажете...

Очень не хотелось мне ехать, но «чувство долга» оказалось сильнее интереса к предстоявшей дискуссии. Неохотно спустился вниз, оделся и отправился в Невский район. Согласно полученному маршруту, взял у Адмиралтейства конку до Знаменской площади, а там пересел на паровичок, идущий за заставу по Шлиссельбургскому шоссе. Опять таки согласно инструкции, на паровичке взобрался наверх, на империал, — мне об'яснили, что этого требует конспирация.

Было холодно, сыро, туманно. А одет я был легко, так как, уходя из дому, не предполагал к ночи очутиться Бог знает где, за городом. Продрог до костей.

По дороге старался приготовить речь. Но не было подходящей темы и, что еще больше смущало меня, никак не складывалась вступительная фраза. Знал твердо, что надо начать с обращения: «товарищи». Но дальше этого дело не шло. Вспомнил, наконец, что не прямо с паровика попаду на митинг, а должен сперва явиться на квартиру к организаторше подрайона, и это меня успокоило.

— Не буду думать о предстоящей речи. Спрошу у товарищей, чем больше всего интересуются местные рабочие.

Постепенно мысли мои приняли другое направление. Ни разу в жизни не бывал я, до этого вечера, в заводском районе. Все здесь было для меня ново.

Паровичок мчался по почти безлюдным, плохо освещенным улицам. Налево и направо вырастали из мрака тяжелые громады зданий, — одни совершенно темные, другие прорезанные множеством одинаковых, ярко освещенных окон. Мрачным строем теснились высокие трубы; над иными из них колебались, подобные огненным языкам, клубы дыма. Местами целые снопы света вырывались из тьмы; ослепительно яркие искры извивались за стекольными стенами...

С шумом паровика сливался грохот железа, стук молотов, звуки колокола, какие то свистки, какие то выкрики. А людей не было видно, — и это придавало картине отпечаток мрачной таинственности...

Короче, когда я добрался до явочной квартиры, я был во власти новых впечатлений, и совершенно не представлял себе, о чем говорить в этом царстве огня и железа.

Организаторша подрайона встретила меня вопросом:

— Вы один? Мы товарища Абрама просили...

Я ответил:

— Комитет прислал меня. Когда митинг?

Сидевший в глубине комнаты рабочий парень ответил:

— Время еще есть. Через час пойдем, и то поспеем.

— О чем должен я говорить?

— А о чем хотите.

— Все же, какие вопросы интересуют ваших рабочих?

— Да как сказать? Вот о республике скажите, о социализме, о партиях... О 8-часовом дне тоже спрашивали... Опять и о свободе об'яснить надо... О 9-м января хорошо бы ... Ну, там, немного об Учредительном Собрании... Опять и аграрный вопрос, — потому, соберутся все больше, которые из деревни... Про войну тоже очень интересно... Программу покажите...

— Позвольте, товарищ, перебил я его: Сколько времени будет у меня для речи?

— Это как народ стоять будет... Нужно считать, минут 20, а то и полчаса будет...

— Как же вы хотите, чтоб я в 20 минут затронул все вопросы?

— Митинг то у нас впервые, так нужно народ заинтересовать...

Ясно было, что толкового совета от парня я не получу. А тут еще организаторша, недовольная тем, что из Комитета прислали меня, а не Абрама, с'язвила:

— Я думала что те, кого они на митинг посылают, сами знают, о чем говорить...

Когда пришло время отправляться на митинг, парень обратил внимание на мою каракулевую шапку. Повертев ее в руках, он сказал:

— Шапочку лучше здесь оставьте, а то потерять можете.

И сняв с гвоздя мохнатую папаху, он протянул ее мне:

— Это наша, организационная. Ее и агитаторам, и пропагандистам даем: тепло, и лицо закрывает, и, в случае если казаки, или что такое, для головы пригодится.

Папаху я одел, но, признаюсь, напоминание о необходимости заранее защитить голову от нагайки окончательно испортило мое настроение.

Организаторша пошла проводить нас. Долго шли по темной улице, по липким досчатым мосткам, вдоль бесконечных заборов. За заборами заливались собаки. Кое где, сквозь щели заборов, виднелся слабый свет, вырывавшийся из за плохо прикрытых ставень. В воздухе чувствовалась ледяная сырость.

Я придумывал, как начать речь, чтобы сразу заинтересовать толпу. Но ничего не мог придумать.

Вышли на широкую дорогу. Впереди бесконечный пустырь. За ним слабое зарево в небе. Вдали редкая цепь огней. Налево и направо от темного переулка, которым мы шли, заборы; вдоль них высокие деревья.

Рабочий, провожавший меня с явочной квартиры, негромко свистнул. Ему ответили из темноты осторожным покашливанием. От забора отделились какие то тени, три человека выступили из темноты и подошли к нам:

— Павел, ты?

— Я. Оратора привел. Скоро пойдут?

— Сейчас...

— Организовали все?

— Как же! Васька в замок глины набил — новых ворот не откроют, все сюда повалят.

— А наши?

— Здесь мы трое, у ворот двое, остальные с ночной сменой впереди подойдут... Патрули на местах. Старик против участка на ларе сидит, семечки щелкает, на него никто не подумает,

а от него цепью с угла на угол... Одним словом — полный порядок!

— Ну, занимай позицию! Ты, Федя, за канаву становись, я посреди дороги стану, вы — по бокам. Сперва только своих задерживать. А когда я скажу — стой! — рука с рукой сцепимся... И уж ни с места. Да ты, Федя, конец то цепи крепче держи, — много народу полем пойдет, так чтобы не упустить.

Павел, от которого на явке я напрасно старался получить толковый совет, о чем говорить здесь, распоряжался уверенно и спокойно, как командир выстраивающий свой отряд к бою. Заняли «позиции». Я остался в тени, у забора. Справа спешно подошли к нам два человека. Шепнули Павлу:

— Идут! — и встали по краям дороги.

Теперь издали доносился невнятный шум. Мимо нас проходили согнутые фигуры. Шли все в одном направлении, справа налево. Кучка людей на дороге и по сторонам от нее заметно росла. Стоявший рядом со мной человек шепнул:

— Остановить бы! А то все пройдут...

Другой голос ответил:

— Павел укажет, — вот когда пойдут погуще...

Меня крайне занимали эти приготовления, а о том, что мне предстоит сейчас говорить речь, я совершенно забыл.

Теперь люди шли густой толпой, валили стеной. Вдруг с дороги раздалась команда:

— Стой!

И будто живая стена выросла поперек дороги. Толпа остановилась. Повидимому, сзади напирали. Получилась давка.

Раздавались сердитые окрики:

— Чего там стали? Нашли, сволочи, время. Дня им мало!

— Подождите, товарищи! надрывался Павел: Сейчас оратор говорить будет.

Но недовольные голоса возражали:

— Домой пора! Чего посреди дороги стали?

— Да недолго, товарищи! кричал Павел: из города оратор приехал... Послушайте!

— А ну, пускай говорит!

— Не шуми там, дай слушать!

Я сделал несколько шагов вперед, вглубь толпы. Попал обеими ногами в лужу, прикрытую снегом, почувствовал вокруг себя тяжелое дыхание, запах пота и копоти, и начал речь.

Начал с ответа недовольным. Говорил, что конечно, пора идти по домам. Кому охота стоять посреди дороги в темную ночь, в слякоть и стужу, да еще на тощий желудок, да еще после целого дня работы?

— Верно! поддакивали из толпы.

Затем, перешел к вопросу, почему приходится нам устраивать собрания ночью, среди пустырей, тайком, когда мы хотим поговорить о том, как бы улучшить жизнь рабочего люда.

Говорил я без всякого плана, но сами собой набегали нужные слова, понятные толпе. Слушали с глубоким вниманием. Изредка подтверждали:

— Верно! Правильно!

Издали донесся пронзительный свист. Кто то крикнул:

— Казаки!

Толпа в страхе шарахнулась во все стороны, — по дороге, к заборам, в поле.

— Нет никаких казаков! кричал Павел: стойте, товарищи! Оратор еще не кончил.

Сперва и я кричал вместе с ним, успокаивая, останавливая толпу. Но почувствовав, что этак я скоро останусь без голоса, замолчал и стоял рядом с Павлом на дороге, дожидаясь, когда уляжется паника и рабочие соберутся вновь.

И, действительно, вновь собрались все. Толпа была теперь не меньше, чем вначале. Я продолжал речь. Говорил о только что пережитых минутах страха.

— Ведь и впрямь могли налететь казаки, избили бы, покалечили бы, иных, быть может, положили на месте. И никакого суда, никакой управы!

Говорил о бесправии рабочего класса, о страхе, который внушает он хозяевам жизни, о революционной борьбе, — говорил самые простые вещи, которые подсказывались обстановкой этого ночного митинга.

Когда я кончил, пожилой рабочий, стоявший рядом со мной, громко сказал, обращаясь к товарищам:

— А ведь все правда, все святая правда!

Он был очень высок ростом, на голову с плечами выше меня, с морщинистым, закоптелым лицом, с сильной проседью в голове. В самом начале я заметил его, — он громче других выражал неудовольствие тем, что посреди дороги задерживают людей.

Теперь он наклонился ко мне, с неловкой лаской положил мне на плечо свою огромную руку и сказал:

— Спасибо, товарищ!

Другие тоже благодарили, просили приезжать на завод[1]).

Павел весело крикнул:

— А теперь по домам! Другой раз на дворе митинг устроим.

— Устраивайте! Дело хорошее.

Толпа медленно потекла по дороге, в сторону цепи фонарей, мелькавших сквозь мглу вдали, над Шлиссельбургским трактом.

За углом нас ждала организаторша подрайона. От нее я узнал, что успех митинга полный: было свыше тысячи человек, речь длилась больше часу, все рабочие очень довольны...

Но, наверное, ни один из моих слушателей не уносил с этого митинга такого глубокого впечатления, как то, которое оставила во мне эта толпа усталых, измученных людей, бредущих средь холодной, мглистой ночи из закоптелых мастерских в убогие жилища.

* * *

На следующий день тов. Антон спросил меня, не хочу ли я взять рабочий пропагандистский кружок.

— Охотно.

— В таком случае, мы дадим вам кружок в самом передовом цехе самого лучшего завода. Медницкая мастерская Семяниковского завода за Невской заставой! Только вы, пожалуйста, хорошенько... По большевистски! ..

И тов. Антон, сжав кулак, продемонстрировал передо мной, как следует вести пропаганду.

---

[1]) Не помню, с какого именно завода были рабочие на этом митинге.

Затем, он вручил мне гектографированную программу занятий. Весь курс пропаганды разбивался на 10 лекций; первая лекция касалась самых общих вопросов, — чуть ли не происхождения нашей планеты; содержания следующих восьми бесед я точно не помню, но помню прекрасно, что десятая заключительная лекция была посвящена вопросу о расколе в партии и критике мелкобуржуазной природы меньшевизма.

Прочитав программу, я спросил представителя Петербургского Комитета, имею ли я право отступать от этого плана занятий.

— А что? изумился тов. Антон: Разве программа нехороша? Все в ней есть. Вот, смотрите!

И он начал читать ее вслух. Я перебил его:

— Мне этот план не нравится, и я не смогу точно придерживаться его.

Усы тов. Антона опустились к земле. Подумав, он сказал:

— Ну, ладно! Представьте свой план... Если ничего такого там не окажется, то мы посмотрим...

Когда я представил тов. Антону свой проект программы кружковых занятий, он нашел в ней лишь один недостаток: в ней не было вопроса о фракционных разногласиях. Зависело это от того, что не будучи сам знаком с этими разногласиями, я положительно не знал, как об'яснить рабочим преимущества большевизма перед меньшевизмом.

Перечтя мой конспект раза три с начала до конца, тов. Антон произнес, наконец:

— Это ничего. На фракционные темы у вас тов. Владимир будет читать.

— Это кто?

— Организатор подрайона. Он и на ваших лекциях будет присутствовать...

И я получил явочный адрес кружка.

Первое собрание кружка было назначено в ближайшее воскресенье. На боковой улице, в стороне от главного тракта, я легко разыскал указанный в явке домик. Дверь отворил молодой человек, опрятно, почти по городскому одетый, — только в высоких сапогах и в рубашке с мягким воротом. Я был немного удивлен, узнав, что он слесарь по меди и один из членов моего кружка.

Разговор между нами не клеился. Я спросил рабочего, сколько человек в кружке, и какова их подготовка. А он, ответив довольно неопределенно, спросил меня, в свою очередь, играю ли я на балалайке.

Я ответил, что не играю, и хотел вернуться к делу. Но рабочий заметил:

— Хороший инструмент!

И сняв со стены балалайку, принялся тренькать, подбирая мотив марсельезы.

Так как я, отправляясь в рабочий кружок, заранее настроился на торжественный лад, то эти музыкальные упражнения показались мне весьма неуместными. Немного погодя пришел еще другой рабочий — молодой, безусый парень — и мы втроем пошли в кружок. Комната, где происходило собрание, была довольно просторная, с огромной печью по середине. Для меня был приготовлен стул у окна; подле, на столе, был поставлен стакан холодного чая. Слушатели сидели на лавках и табуретах, некоторые стояли в проходе между печью и стеной.

Слушали, как будто, внимательно, но мне не удалось вызвать рабочих на вопросы и закончить лекцию непринужденной беседой. И потому у меня осталось впечатление, что лекция моя не очень понравилась слушателям.

Прежде чем расходиться, назначили день следующего собрания. Один из рабочих спросил:

— Опять в воскресенье соберемся?

Но другой возразил:

— В то воскресенье нельзя: 2-го кто придет?

Следующее воскресенье, действительно, приходилось на 2-ое октября, но я никак не мог сообразить, чем это мешает собранию пропагандистского кружка. Спрашивать об этом я постеснялся, но, со своей стороны, предложил:

— Может быть, соберемся в субботу?

Рабочие переглянулись, — иные улыбались, другие открыто смеялись. Токарь, спрашивавший меня о балалайке, ответил за всех:

— В субботу совсем нельзя. 1-го и пробовать не стоит.

Опять я ничего не понял. Назначили кружок на понедельник. Провожая меня до паровой конки, токарь пригласил меня зайти с ним в портерную. Немного конфузясь, я принял приглашение.

В портерной токарь спросил бутылку пива. Вместе с пивом нам подали два крошечных блюдечка с солеными баранками и парой горошин на каждом.

Говорили о Семяниковском заводе. Между прочим, я спросил моего собеседника:

— Почему это ни в воскресенье, ни в субботу нельзя собрать кружок?

Токарь на вопрос ответил вопросом:

— Да как же его соберешь, когда в субботу получка, а 1-го у сдельщиков полный расчет за месяц?

Для меня все это было китайской грамотой.

Второе собрание кружка тоже прошло довольно вяло. Не знаю, что было тому причиной, — я ли не мог освоиться с ролью пропагандиста, или время было неподходящее для кружковых занятий, — но только рабочие слушали меня, как ученики на уроке, и когда я предлагал им задавать вопросы, выходило, что я тяну их за язык.

Впрочем, после кружка немного разговорились (о газетных новостях), и я почувствовал себя среди рабочих менее чужим, чем в прошлый раз.

Провожая меня, токарь спросил, не хочу ли я выпить с ним водочки. Я отказался, но сразу испугался, как бы мой отказ не обидел его. Однако рабочий не обиделся и сказал, что и сам, собственно, пить не любит, и что партийному человеку лучше к монопольке даже близко не подходить, — чтобы не сказали про него, что он Николая поддерживает.

На этом мы расстались.

* * *

В понедельник, 10-го октября, я в третий раз приехал в свой кружок за Невской заставой.

Василий встретил меня в большом волнении:

— У нас здесь такая провокация пошла, что и представить невозможно.

И он рассказал мне, что утром по заводам разнессся слух, будто в Петербурге уже об'явлена всеобщая забастовка. Рабочие заволновались, по-

бросали работу, высыпали во двор. Никто не знал, *кем* об'явлена забастовка, и *какие* выдвинуты требования. Да и мало интересовались этими вопросами, добивались лишь одного — узнать, происходит ли в городе забастовка, или нет. Пошумев во дворе, понемногу успокоились и принялись за работу.

— Как думаете, — товарищ, спрашивал меня Василий, — откуда эти слухи идут?

— А вы не заметили, кто первый поднял агитацию? Может быть, эсэры? Или анархисты?

— Не похоже. Мы спрашивали эсэров, — они не больше нашего знают. А анархистов у нас совсем нет...

— Значит, полицейская провокация!—решил я.

— Так и мы думаем, поддакнул — Василий.

Пошли мы с ним на квартиру, где должен был собраться кружок. К заготовленной лекции мне не пришлось приступить, — ни о чем другом, кроме как о забастовке, рабочие не хотели слушать.

В это время — под вечер 10-го октября — всеобщая всероссийская забастовка *уже началась* и с каждым часом распространялась все шире и шире.

Ни одна партия не может перед судом истории приписать себе инициативу этой забастовки. Началась она так, как занимается пожар в высохшем от летнего зноя лесу: откуда то залетела случайная искра, — и запылал необ'ятный костер, и по воле ветра летят вдаль новые искры, рождая новые пожары. Откуда взялась *первая* искра — из плохо затоптанного костра пастухов, из трубки прохожего, из мчащегося мимо паровоза, или это молния уда-

рила с неба — не все ли равно? Знойными днями, засухой подготовлен лесной пожар, — и здесь единственное об'яснение его.

Сигнал к октябрьской забастовке дала Московско-Казанская железная дорога. Железнодорожники забастовали, не выставляя никаких общеполитических требований, не пытаясь связать свое выступление с общепролетарским движением, не справляясь с мнением революционных партий, не посоветовавшись даже со своим центром, — с заседавшим в то время в Петербурге делегатским железнодорожным с'ездом.

Забастовали они, в значительной степени, по недоразумению, на основании неверных слухов о разгоне петербургского с'езда и аресте его членов.

Почему забастовка началась именно в Москве, а не в Петербурге? Вероятно, потому, что в Москве атмосфера была более накалена, и возбужденное настроение рабочих масс не находило здесь выхода в митингах с их горячими речами, после которых можно было спокойно расходиться по домам...

Собственно, с середины сентября забастовки в Москве не прекращались.

19-го сентября началась здесь забастовка наборщиков типографии Сытина[1]). Руководство борьбой взял в свои руки полулегальный «Союз московских типо-литографских рабочих», — и к 24-му забастовка охватила почти все московские типо-

[1]) Наборщики требовали, между прочим, повышения сдельной платы «за каждую тысячу букв набора, не исключая и знаков препинания». Это дало повод шутке: «все дело началось с запятой»...

графии. Из солидарности, к печатникам примкнули хлебопеки и целый ряд фабрик и заводов. Вмешалась полиция. Начались уличные столкновения. Были пущены в ход войска. Появились барикады[1]).

В конце сентября забастовали, в виде протеста против насилий казаков над рабочими, мастерские Московско-Брестской железной дороги.

Пошли разговоры о всеобщей железнодорожной забастовке. Около этого времени в Москве выдвинулся «Совет Депутатов рабочих печатного дела». На собрании представителей печатников, древообделочников, металлистов, табачников и других профессий было решено расширить эту организацию и образовать общий Совет Рабочих всей Москвы...

А в Петербурге в эти дни было сравнительно спокойно. Шли митинги в высших учебных заведениях, но не было уличных столкновений, а до начала октября не было и забастовок.

Лишь 2-го октября, из солидарности с московскими рабочими печатного дела, забастовали петербургские типографии. Но эта забастовка считалась чисто профессиональным делом печатников, продолжалась всего лишь три дня и закончилась в заранее назначенный час принятием резолюции о несвоевременности забастовок по сочувствию и о необходимости беречь силы для решительного боя.

Вообще, в Москве уж давно лилась кровь, а мы, в Петербурге, все еще говорили и словами сотрясали иерихонские стены царизма.

---

[1]) Особенно отличились в борьбе с полицией булочники Филиппова.

9*

Но наши слова, в конце концов, не остались бесплодными.

С 20-го сентября в Петербурге заседал с'езд железнодорожников, невинный архи-легальный с'езд, созванный начальством для обсуждения пенсионного устава. Рабочих на этом с'езде было не очень много, преобладали служащие, — чиновники-управленцы, люди 20-го числа. В начале никто не придавал этому с'езду большого значения. Но постепенно в его среду проник революционный дух. Расширились рамки прений. Появились не предвиденные начальством требования. Экономические и узко-профессиональные вопросы отошли на задний план перед лозунгами политического характера. И по мере того, как революционизировался пенсионный с'езд, его общественное значение росло, он все больше приковывал к себе внимание миллионной массы железнодорожных тружеников, все больше становился центром собирания их сил. Умеренные и робкие члены с'езда, увидев, в какую попали они кашу, поспешили стушеваться. Вперед выдвинулись люди революционно настроенные, смелые, энергичные.

Министерство подумывало о том, чтобы распустить этот с'езд; охранка готовилась расправиться с коноводами.

Но прежде, чем министерство и охранка сделали решительный шаг, в Москве распространились слухи, будто в Петербурге уже начались аресты железнодорожников, — и, в виде протеста, служащие и рабочие Московско-Казанской железной дороги прекратили работу.

Это было в пятницу, 7-го октября. Суббота прошла в митингах, сходках, совещаниях. Между прочим, в этот день в одном из петербургских высших учебных заведений, — кажется, на курсах Лесгафта, — происходило собрание служащих петербургского железнодорожного узла. Решено было приступить к организации всероссийского железнодорожного союза, с тем, чтобы впоследствии пред'явить правительству ультиматум и, в случае надобности, поддержать его всеобщей железнодорожной забастовкой. И любопытная подробность: не только о забастовке, но и о пред'явлении требований правительству здесь говорилось, как о чем то очень и очень далеком.

А уже на следующий день, в воскресенье, 9-го, делегатский с'езд разослал по всем железнодорожным линиям телеграммы с формулировкой требований, которые должны быть пред'явлены правительству: 8-часовой рабочий день, гражданские свободы, амнистия, Учредительное Собрание.

Впрочем, это не были лозунги забастовки: делегатский с'езд забастовки не об'являл и в это время даже не определил еще своего к ней отношения.

Забастовка развивалась так же, как она началась, — стихийно, без всякого руководства из центра, без всякого плана.

В понедельник, 10-го, с утра забастовал весь московский узел, и побежал по железнодорожным линиям во все концы России мощный волевой ток — бастовать!

В этот же день стали почти все фабрики и заводы Москвы, Харькова и Ревеля.

11-го октября забастовали Смоленск, Екатеринослав, Минск, Лодзь. Железнодорожная забастовка разливалась все шире и шире. В проведении ее железнодорожники совершенно неожиданно обнаружили огромную решимость и твердость. Снимали рельсы, ломали семафоры, опрокидывали локомотивы. Было несколько случаев, когда поезд с машинистами и поездной бригадой из штрейкбрехеров прорывался сквозь стачечную заставу, — за ним снаряжалась настоящая погоня, во все концы летели телеграммы: Изловить, остановить! И, в конце концов, прорвавшийся поезд попадал в руки забастовщиков[1]).

С железных дорог забастовка, естественно, перекинулась на телеграф. Уже 11-го забастовали телеграфисты в Харькове, к ним поспешили примкнуть телеграфные служащие других городов.

Но Петербург, который должен был нанести последний, решительный удар самодержавию, все еще медлил, все еще обсуждал «pro и contra».

Правда, накануне, 10-го октября, Петербургская Группа (меньшевистская) Р. С.-Д. Р. П. решила призвать петербургских рабочих присоединиться ко всеобщей забастовке и выбирать представителей в «Рабочий Комитет». Но агитационный аппарат группы был недостаточен, и рабочие массы не сразу узнали об ее решении. Да и решение было какое то неопределенное: оставался неясен характер забастовки, — была ли это демонстрация? или средство давления на правительство? или переходная ступень к более решительным формам

---

[1]) Троцкий в «Начале» дал яркое изображение такой «погони» забастовки за прорвавшимся поездом.

борьбы? и на какой срок об'являлась забастовка? каковы были ее лозунги? какую роль должен был играть в ней «Рабочий Комитет»?

11-го октября происходили переговоры делегатов железнодорожного с'езда с правительством. Трудно сказать, могли ли в этот час Витте и Хилков найти слова, которые удовлетворили бы рабочих. Во всяком случае, они таких слов не нашли.

Хилков уверял делегатов, что политикой он не занимается и понятия не имеет о том, что делают в России охранка и жандармерия. Витте, повторяя зады зубатовской демагогии, пытался убедить рабочих, что у них с правительством общие интересы — против хозяев. «Мы погибнем, говорил он делегатам, но на смену нам придет буржуазия, — вам же будет хуже».

Из этих речей делегаты сделали двойной вывод: 1) что правительство боится всеобщей забастовки, и 2) что министры хотят их опутать словами и обмануть.

Поздним вечером собрание железнодорожников в Актовом Зале Университета вынесло резолюцию о присоединении петербургского узла ко всеобщей забастовке.

12-го Петербург забастовал. Железнодорожники забастовали согласно решению, принятому накануне митингом. Фабрики и заводы примкнули ко всеобщей забастовке стихийно, без всякого предварительного решения.

Началось с отдаленных заводов Невского района. Оттуда забастовка распространилась вниз по течению Невы, перекинулась на другой берег, на Охту и на Выборгскую сторону. Толпы забасто-

вавших рабочих двигались от завода к заводу. Тревожно ревели гудки, били тревогу заводские колокола.

— Бросай работу! Забастовка!

И рабочие, будто ожидавшие этого призыва, поспешно складывали инструменты, выходили во двор. Кто нибудь поднимался на крыльцо конторы, на штабель дров, на бочку, или просто на уличную тумбу, но агитировать не приходилось. Речи были короткие, редко длиннее минуты:

— Товарищи! Вся Россия бастует... Неужто нам отставать от других?

И толпа выливалась из заводских ворот на улицу и катилась дальше к соседним заводам.

Полиции нигде не было видно. Заводская администрация не пыталась противиться движению. Инженеры и мастера лишь просили рабочих прибрать поаккуратнее инструменты, да позаботиться о паровых котлах. Но рабочие и сами обнаруживали большую заботливость о заводском имуществе.

Мне запомнилась одна сценка. Утром, на явке, мы узнали, что начинается забастовка. Немедленно рассыпались по районам. Не сговариваясь, без директив центра, знали, что нужно делать.

Я поехал за Невскую заставу. Здесь ходил с толпою с завода на завод, снимая еще не забастовавших рабочих. Зашли во двор небольшого ящичного заводика. Двор длинный, узкий; мастерские расположены в верхних этажах. Чтобы вызвать вниз рабочих из мастерских, пришедший с нами заводской парнишка лет 15 принялся звонить в заводской колокол. Звонил он с таким усердием,

что вырвал из стены крюк, к которому была привязана веревка колокола, а затем оборвал и веревку. Это вызвало общее неудовольствие рабочих, и парня прогнали прочь:

— Чего ты здесь шляешься? Чужое добро ломаешь.

А вырванный крюк вновь тщательно забили в стенку.

В этот день, 12-го октября, забастовка охватила Курск, Полтаву, Самару, Саратов.

Газеты продолжали выходить.

Они были полны известий об успехах движения. И реакционные органы, в наибольшей степени перепуганные событиями, делали, пожалуй, для прославления борьбы пролетариата еще больше, чем прогрессивные газеты.

В правых кругах начиналась паника. Петербургская Городская Дума приняла резолюцию о необходимости немедленно удовлетворить назревшие экономические и политические требования населения.

13-го октября забастовка сделала новые успехи, — забастовал петербургский телеграф, стали электрические станции, прекратили работу печатники. К забастовке примкнули служащие Петербургской Губернской Управы, банков, окружного суда. Забастовали некоторые гимназии и реальные училища. Вынесло резолюцию о присоединении к забастовке Центральное Бюро Союза Союзов.

Вечером Петербург погрузился во тьму. По неосвещенным улицам города двигались смутно гудящие толпы. Из уст в уста перебегали тревож-

ные вести. Все ждали чего то. У рабочих настроение было приподнятое, праздничное.

В этот день выступил на сцену Совет Рабочих Депутатов.

* * *

Казалось бы, что могло быть естественнее мысли о создании представительного, выбранного рабочими органа для руководства забастовкой? Ведь и на более ранних ступенях рабочего движения при каждой значительной стачке образовывался для руководства ею стачечный комитет.

Но к созданию Петербургского Совета Рабочих Депутатов мысль рабочих и их руководителей пришла окружным путем.

Когда 10-го октября меньшевистская Группа выносила решение призвать рабочих к избранию «Рабочего Комитета», она имела в виду создать нечто в роде тех «рабочих агитационных комитетов», идея которых была выдвинута еще весной 1905 года меньшевистской конференцией и с тех пор неустанно развивалась и популяризировалась на столбцах «Искры».

Эта идея входила, как необходимое звено, в план кампании, рассчитанной на то, чтобы в ходе выборов в Государственную Думу заложить основы широкой рабочей партии.

«В случае осуществления созыва Государственной Думы, писала «Искра» 1-го июня 1905 г., начинается новый фазис русской революции, и социал-демократия должна быть готова встретить его во всеоружии... Необходимо теперь же, в связи с предстоящими выборами в Думу, развить самую

широкую агитацию и заложить основы широкой рабочей партии... Полулегальные, самовольно образующиеся рабочие агитационные комитеты должны быть образованы немедленно. В тесной связи с нашей нелегальной организацией они должны пустить в ход все наличные в рабочем классе силы для агитации за созыв Всенародного Учредительного Собрания и для всестороннего использования всей избирательной кампании, какие бы классы и группы в ней ни участвовали... Эти агитационные комитеты должны стать центром тяготения широких рабочих масс и связать их с подпольной партией. Ненародным выборам по земскому положению 1864 г.[1]) они должны противопоставить идею народных выборов — всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием. Они должны звать все слои населения — городского и сельского — немедленно приступить к осуществлению этой идеи и одновременно с тем, как будут выбираться «законные» депутаты, выбирать своих собственных действительных представителей. Уездные и губернские собрания таких представителей революционного народа, с возможностью посылки ими своих депутатов на общероссийское собрание, могут создать мощную организацию для всего революционного движения, направленного на завоевание Всенародного Учредительного Собрания. Они создадут как бы целую сеть представительных органов революционного

---

[1]) Земское положение 1864 г. было принято Булыгинским совещанием за основу проекта положения о Государственной Думе.

самоуправления с революционным всероссийским представительным собранием во главе» («Искра», № 101, «К современному положению»).

В № от 18 июля «Искра» выясняла отношение проектируемых ею органов революционного самоуправления к идее всеобщей забастовки: забастовка в момент созыва Думы мыслится, как одно из средств поддержки пролетариатом этих органов и как *возможный* пролог восстания, «которое именно в организации революционного самоуправления должно найти достаточную опору для превращения в восстание всенародное» («Искра», №106, «Оборона или наступление?»).

В дальнейшем «Искра» еще яснее подчеркнула, что «органы революционного самоуправления должны сыграть решающую роль в момент восстания, связывая силы пролетариата с силами других общественных классов».

«Организация революционного самоуправления, писала «Искра», — это и есть единственный способ действительной «организации» всенародного восстания. Кто отвергает этот путь, тот, в сущности, отвергает и самое всенародное восстание, подменяя его восстанием отдельных классов и групп, или, что еще хуже, группок и кружков» («Искра», № 108, «Наша тактика и Государственная Дума»).

Ясно, что смешать эти «*органы революционного самоуправления*» или предшествующие созданию их «*рабочие агитационные комитеты*» со «*стачечным комитетом*» не было никакой возможности.

Петербургская меньшевистская Группа и не была повинна в таком смешении понятий. Для нее

«забастовка» и «выборы депутатов в Рабочий Комитет» — были два параллельных, независящих друг от друга лозунга, которые лишь случайно были брошены одновременно в массы.

Согласно с этим, в меньшевистских кругах и позже продолжали смотреть на Петербургский Совет Рабочих Депутатов, как на «орган революционного самоуправления».

«Начало» писало по этому поводу:

«Организация революционного самоуправления — вот лозунг, который выдвинула полгода тому назад наша общерусская партийная конференция[1]). В то время нам говорили, что этот лозунг утопический, что пока самодержавие не сломлено окончательно победоносным восстанием, революционное самоуправление немыслимо, особенно в крупных политических центрах. Сама жизнь разрешила спорный вопрос. Совет Рабочих Депутатов есть первый блестящий опыт революционного самоуправления пролетариата» («Начало», № 2, «Совет Рабочих Депутатов и Наша Партия» Мартынова).

Это понимание природы Совета Рабочих Депутатов с самого начала вдвигало вновь создаваемую организацию в центр споров между меньшевиками и большевиками. Ибо большевики относились к меньшевистской идее «революционных самоуправлений», как к вредной утопии, и видели в этом плане помеху вооруженному восстанию.

«Организация революционного самоуправления, выбора народом своих уполномоченных, писал «Пролетарий», есть не пролог, а эпилог

[1]) Речь идет о фракционной меньшевистской конференции.

восстания. Ставить себе целью осуществить эту организацию теперь, до восстания, значит ставить себе нелепую цель и вносить путаницу в сознание революционного пролетариата. Надо сначала победить в восстании (хотя бы в отдельном городе) и учредить временное революционное правительство, чтобы это последнее, как орган восстания, как признанный вождь революционного народа, могло приступить к организации революционного самоуправления» («Пролетарий», № 12, «Бойкот Булыгинской Думы и восстание»).

Это недоверие к «органам революционного самоуправления» большевики перенесли и на Совет Рабочих Депутатов, как на учреждение, первоначально задуманное меньшевиками в виде искровского «рабочего комитета».

Само собой разумеется, о таком недоверии не могло бы быть речи, если бы меньшевистская Группа в своем решении от 10-го октября просто сказала:

— Начинается всеобщая забастовка. Создадим же для руководства ею стачечный комитет, включающий депутатов от всех бастующих предприятий и профессиональных союзов!

* * *

13-го октября у Совета Рабочих Депутатов еще не было имени. В этот день в Технологическом Институте собралось человек 10—15 делегатов от заводов Невского района, избранных рабочими по предложению меньшевиков.

Здесь было окончательно решено организовать «Рабочий Комитет» на основе выборов одного делегата от каждых 500 ч. рабочих — норма, установленная при выборах в комиссию сенатора Шидловского.

Собрание выработало текст воззвания к петербургским рабочим:

«Всероссийская забастовка началась. Мы, депутаты разных петербургских фабрик и заводов, обсудив положение, призываем всех рабочих поддерживать великое дело борьбы за освобождение, за счастье народа и присоединяться к всеобщей забастовке».

Далее делегаты заявляли:

«Мы постановили об'единить руководство движением в руках общего Рабочего Комитета».

По смыслу этого воззвания, как будто, речь шла о создании **стачечного комитета**. Но когда, на следующий день, рабочие делегаты собрались вновь[1]), предметом их суждения стали вопросы, не имевшие прямого отношения к стачке, но тесно связанные с **искровской** идеей избранных явочным порядком «органов революционного самоуправления». Начались разговоры о том, как бы отчетливее противопоставить образующийся Рабочий Комитет.... цензовой Городской Думе.

После долгих и горячих споров собрание постановило отправить в Городскую Думу особую делегацию со следующими требованиями:

---

[1]) На этом собрании было представлено 40 заводов, 2 фабрики и 3 профессиональных союза.

«1) немедленно принять меры для регулирования продовольствия многотысячной рабочей массы;

«2) отвести помещения для собраний;

«3) прекратить всякое довольствие, отвод помещений, ассигнования на полицию, жандармерию и т. д.;

«4) указать, куда израсходованы 15.000 рублей, поступившие в Думу для рабочих Нарвского района».

Такова была «платформа», с которой решил выступить представительный орган петербургского пролетариата.

Но рабочие делегаты, прибывшие в Городскую Думу, не были выслушаны ею. Гг. гласные, ничего не знавшие о только что зародившемся «Комитете», приняли делегатов без большого почтения и предложили им придти через два дня на очередное думское заседание.

А между тем, в Рабочий Комитет час от часу вливались новые силы, он становился действительным центром об'единения петербургских рабочих. 15-го октября на его заседание явилось уже 226 выборных депутатов от 96 заводов и фабрик.

Собравшиеся все еще не знали точно, что именно представляют они собой, — стачечный комитет или «орган революционного самоуправления»?

Как стачечный комитет, они приняли следующее обращение к петербургскому пролетариату:

«Товарищи! Тех рабочих, которые не желают, несмотря на все наши убеждения и постановления,

прекратить работу, снимайте с работы. Кто не с нами, тот против нас, и к ним Комитет постановил применять крайнее средство, — силу».

Как «орган самоуправления», собрание вновь занялось вопросом об обращении к Городской Думе.

Требования, выработанные накануне, подверглись суровой критике. Решено было пополнить их двумя новыми пунктами. 5-ый пункт был формулирован так:

«Выдать из имеющихся в распоряжении Думы народных средств деньги, необходимые для вооружения борющегося за народную свободу петербургского пролетариата и студентов, перешедших на сторону пролетариата[1]). Руководство этой частью народной революционной армии должно находиться в руках самого пролетариата. Суммы должны быть переданы общему Рабочему Совету».

Наконец, последнее, 6-ое требование заключалось в том, чтобы из здания городского водопровода были удалены войска, введенные туда для предупреждения забастовки.

С этими требованиями рабочая депутация вторично явилась в Городскую Думу 16-го октября[2]). На этот раз гг. гласные приняли представителей пролетариата, со вниманием выслушали их речи и заботливо проводили их до улицы, предупреждая возможность ареста их толпившейся около Думы и в думском здании полицией.

---

[1]) Последние слова — отголосок слухов об «академическом легионе», который в это самое время формировался в Университете под командой Никольского.

[2]) Вместе с нею явилась депутация Союза Союзов, поддерживавшая требования рабочих.

В конечном счете, вся эта затея с хождением в Думу ни к чему не привела и оставила у рабочих неприятный осадок.

Впрочем, в налетевшем вихре событий, об этой истории скоро забыли.

Рабочий Комитет в первые дни как бы нащупывал почву, искал себя, искал те формы, в которые должна была вылиться его работа.

На пятый день своего существования, 17-го октября, он почувствовал, что задача его — перековывать в единую волю смутные и порою противоречивые порывы различных пролетарских групп и быть выразителем этой единой воли.

В этот день представительный орган петербургских рабочих получил то имя, под которым он вошел в историю, имя Совета Рабочих Депутатов[1]).

В это время всеобщая забастовка, до сих пор непрерывно нароставшая, достигла кульминационного пункта, подошла к критической точке.

* * *

В предыдущей главе я говорил уже о тех военных приготовлениях, к которым с 13-го октября приступило правительство, говорил и о знаменитом Треповском приказе — «патронов не жалеть и холостых залпов не давать».

Рабочие не были напуганы ни этими приготовлениями, ни угрозами. Верили, почему то, что

---

1) Кажется, это название было заимствовано из практики московского движения в сентябре.

солдаты стрелять не станут. Приказ градоначальника вызвал иронические коментарии:

— Мы и то голову себе ломали, — почему это он до сих пор не стреляет? Думали, нас жалеет... А выходит, это он патронов жалел, — жизнь то человеческая для него трех копеек не стоит.

Повидимому, в правительственных кругах в эти дни тоже преобладало убеждение, что войска не будут стрелять в народ.

Трудно сказать с уверенностью, насколько правильно было это представление о настроении солдат. Легкость, с какой полтора месяца спустя была раздавлена попытка восстания в Москве, невольно вызывает сомнения в революционности солдатской массы в октябрьские дни. Эта масса, несомненно, был охвачена смутным брожением, привычная дисциплина в ее среде была поколеблена, — но в какой степени? настолько ли, чтобы при роковом приказе «пли» штыки в ее руках могли обратиться против командиров?..

Во всяком случае, в буржуазных и интеллигентских кругах в те дни преобладало противоположное мнение: считали, что приказ о стрельбе может быть отдан с часу на час и что он будет исполнен войсками. Но здесь — быть может, так же, как в правительственных кругах, — царило преувеличенное мнение о силах революционеров, о степени их подготовки к восстанию. Поэтому, вооруженное столкновение казалось здесь неизбежным, но исход его представлялся сомнительным, неизвестным.

Нужно отметить, что в первые дни забастовки буржуазно-интеллигентские круги не только со-

10*

чувствовали рабочим, но и выражали готовность встать на их сторону в предстоявшем вооруженном столкновении с правительством, то есть в предстоящем *восстании*.

Эти настроения не ограничивались рамками Союза Союзов, который не имел собственной политической физиономии и в октябрьские дни подпал под вляние социалистических партий. На сторону рабочих готовы были встать и определенно буржуазные группировки, имевшие свою программу, свою тактику, свое мировоззрение, резко отличные от программы, тактики и мировоззрений социалистов, — группировки, еще недавно яростно боровшиеся с социалистами в вопросе о Булыгинской Думе.

В этом смысле характерно постановление, принятое 14-го октября заседавшим в Москве учредительным с'ездом конституционно-демократической партии:

«В настоящее время во всей России происходит беспримерное по размерам и *по характеру движение организованных рабочих масс*[1]). Движение это неразрывно связано со всем предшествовавшим ходом борьбы за свободу, и для сторонников прав народа не может быть сомнений в том, как следует отнестись к совершающимся событиям.

«...Требования забастовщиков, как они формулированы ими самими, сводятся, главным образом, к немедленному введению основных свобод,

---

[1]) Это определение движения не точно. Массы, участвовавшие в забастовке, *не были организованы*. Это было движение, возникшее и протекавшее *стихийно* и лишь извне, издали, *казавшееся* организованным.

свободному избранию народных представителей в Учредительное Собрание на основании всеобщего, равного, прямого и тайного голосования и общей политической амнистии[1]). Не может быть ни малейшего сомнения, что все эти цели — общие у них с требованиями конституционно-демократической партии. В виду такого согласия в целях, учредительный с'езд конституционно-демократической партии считает долгом заявить свою полную солидарность с забастовочным движением...

«От правительства зависит открыть широкий путь этому торжественному шествию народа к свободе — или превратить его в кровавую бойню... Конституционно-демократическая партия предоставляет себе, смотря по ходу событий, принять все те меры, которые будут в ее средствах и в ее власти, чтобы предупредить возможное столкновение, но, удастся ли ей это или нет, она наперед отожествляет себя с народными требованиями и кладет на весы народного освобождения все свое сочувствие, всю свою нравственную силу и окажет ему всяческую поддержку».

Язык этого заявления, само собой разумеется, не тот, каким говорили революционные партии и каким, несколько дней спустя, должен был заговорить Совет Рабочих Депутатов. Но политический

---

[1]) В действительности, это были лозунги всего народного движения 1905 г. Но октябрьская забастовка, как таковая, в то время еще не формулировала ни этих, ни других политических требований.

смысл приведенного документа совершенно ясен: это — признание гегемонии рабочего класса в революции и солидаризация с ним в его борьбе — вплоть до высших форм ее.

Так широк был в те дни фронт революции! И нужно ли повторять, что в этом всеобщем сочувствии непролетарских элементов был один из источников чудесной силы октябрьской забастовки!

Чувствуя себя изолированным, покинутым всеми, правительство потеряло веру в себя, в свои силы. Отсюда его нерешительность, которая все шире открывала шлюзы революционному потоку.

16-го октября Петербург представлял жуткую картину.

Было воскресенье. Улицы полны народу. В толпе много рабочих-забастовщиков из окраинных районов.

Высшие учебные заведения оцеплены войсками. Повсюду пешие и конные патрули. На некоторых улицах солдаты выстроены шпалерами вдоль тротуаров. Другие улицы перерезаны поперек сильными караулами. Движение через Дворцовый мост прекращено...

Утром, часов в 10, я пришел в Университет. У входа взвод солдат-гвардейцев. Я вызвал офицера, командовавшего караулом, назвался, показал свое удостоверение, как старосты Университета, и потребовал, чтоб меня пропустили в канцелярию. По приказу офицера, солдаты расступились. В канцелярии я застал Виленкина и еще человек пять старост. Толковали о последних событиях. Меня больше всего волновал вопрос, как собрать нашу

ораторскую коллегию, как связаться с партийными товарищами. На наших глазах, прямо перед окнами университетской канцелярии, уланский раз'езд напал на пробиравшегося в Университет студента. Рубили его шашками. Раненый студент, спасаясь от солдат, пытался перелезть через железную ограду палисадника, но упал на камни, обливаясь кровью. Двое из нас выскочили на улицу, стали кричать на солдат. Раз'езд ускакал, студента унесли в соседнюю клинику (раны его оказались не тяжелыми).

Приходили еще люди, — караул пропускал тех, кто говорил, что идет в канцелярию по личному делу. Вести из города были тревожные.

Наконец, мне сообщили, что агитаторская коллегия собирается в Вольно-Экономическом Обществе. Я поспешил туда.

Ни конки, ни извозчиков[1]). Пришлось идти через весь город пешком. Повсюду возбужденная толпа, повсюду солдаты. Вокруг Технологического Института, на Загородном и на Забалканском положение казалось особенно напряженным.

Толпившиеся здесь рабочие узнали меня. Сгрудились теснее. Глаза блестят решимостью.

— Что же, товарищ? Начинать пора! Баррикаду, что-ли, строить будем?

По близости мостовая была взрыта для ремонта, около тротуаров кучами лежал булыжник. Десятки рук тянутся к камням.

— Начнем, что ли? Распоряжайтесь, товарищ!

---

[1]) Извозчики не бастовали, но боялись выезжать на биржу, так как среди них ходил слух, что забастовщики решили резать гужи у появляющихся на улице пролеток.

Опасаясь вызвать столкновение безоружной толпы с войсками и ненужное кровопролитие, я негромко, но настойчиво уговаривал близ стоящих:

— Не спешите, товарищи... Партия укажет, когда придет время решительной схватки... Оставьте камни... Не поддавайтесь на провокацию.

Так добрался до Вольно-Экономического Общества. Здесь, в помещении библиотеки, было уже человек 15 из нашей коллегии.

Сидели на подоконниках, на столе, на сложенных на полу связках книг и газет.

Когда я вошел, ко мне подбежал агитатор-большевик Михаил, парень без малого трех аршин росту. Он был вне себя.

— Ну, что там? — кричал — он: Вы видели?

Лицо у Михаила было бледное, голос истерически срывался.

— О чем вы спрашиваете? — с раздражением переспросил я его: — Говорите по человечески.

— Там, на улице, — указал Михаил на окно: Что там? Вы видели?..

— Ничего там нет. Народу, правда, много... Войска, полиция... А больше ничего.

Коновалов, сидевший на подоконнике, подошел ко мне и дружески ударил меня по плечу:

— Так, товарищ Петров! Вашу руку! Не бабы мы, в самом деле, чтоб истерики здесь закатывать!

Женщина, полулежавшая на столе, подняла голову.

— Уже пролилась кровь, — заголосила она, заливаясь слезами: — К вечеру будут горы трупов. А кто

виноват? Кто убийца? Кто вызвал этих людей на улицу? Мы, мы, мы!

— Мы убийцы! — взвизгнул Михаил.

— Боже мой! Боже мой! — послышалось из другого угла.

Я почувствовал, что бледнею от злости, и громко сказал:

— Я извиняюсь, господа... Я думал, что здесь коллегия партийных ораторов, а здесь, оказывается, сумасшедший дом. Видно, я не туда попал.

Я повернулся к двери. Но Михаил схватил меня за рукав:

— Постойте, товарищ Сергей! Хорошо, будем хладнокровны. Будем рассуждать... Хорошо! Но как же быть с Университетом? Ведь там вооруженное выступление на сегодня назначено!..

— Как? Какое выступление?—послышалось со всех сторон.

— Кто назначил?

— Да товарищ Петров назначил,—об'яснил Михаил: — Я его и спрашиваю, как теперь быть...

— Это верно? Вы назначили выступление? По какому праву?

Я растерялся и молчал. Меня выручил вошедший в комнату товарищ, — помнится, это был Евгений (Литкенс).

— Ничего товарищ Петров не назначал,—заявил он: А вчера при окончании митинга в Университете все говорили, чтобы сегодня собраться вновь с оружием в руках. И Петров говорил, и я, и Абрам, и Леонид, — все одинаково говорили.

— Мы убийцы! — опять завопил Михаил, закрывая лицо обеими руками.

— Мы убийцы! — прокатилось по комнате.

Справившись со своим волнением, я сказал:

— Вот что, товарищи. Заседание у нас, видно, не состоится. Я ухожу. Буду около Университета. Приложу все усилия, чтобы предупредить столкновения и жертвы. А если кровь прольется, никто не скажет, что мы вели людей на смерть, а сами прятались от опасности.

В подкрепление своих слов я вынул из кармана браунинг, полученный накануне от Комитета, и взвел предохранитель, — жест и ненужный, но соответствовавший настроению минуты.

Михаил кричал что то невразумительное о самоубийстве. Николай и Евгений заявили, что идут со мной к Университету, и мы втроем вышли из библиотеки Вольно-Экономического Общества.

Шли, избегая людных улиц, почти бежали. На Фонтанке нашли извозчика, который, после долгих уговоров, согласился подвести нас до Николаевского моста.

На Университетской набережной было много рабочих. Но не было сплошной толпы, а взад и вперед двигались небольшие кучки. Двигались исключительно по тротуарам, в то время как по мостовой гарцовали казаки. Тут же суетились чины полиции, настойчиво предлагая «публике» не останавливаться, проходить мимо.

Кучка рабочих-семянниковцев остановила нас:

— Что так поздно, товарищи? Народ обижается, что долго ждать заставляют.

— Сегодня не будет ничего, — об'явили мы решительно и твердо.

— Как так?

— Отменено!

— Почему?

— Да потому, что не готовы. У вас оружие есть?

— А то как же!

— Покажите.

Из карманов появились на свет Божий пара финских ножей, кастет, коротенький револьвер-бульдог.

— Всего то? Этого мало! — отрезал Николай.

— Что же делать теперь? — смущенно спрашивали рабочие, пряча свое убогое оружие.

— Ступайте домой!

— Да тут много наших семянниковцев ... ждут начала...

— Всех с собой уведите!

И мы пошли дальше.

Так до позднего вечера ходили мы по набережной — от Филологического Института до Академии Наук и обратно — уговаривая рабочих, споря с более упрямыми, успокаивая более нервных. И с огромным чувством облегчения следил я за тем, как постепенно таяла, уменьшалась толпа перед Университетом...

В этот день всеобщая забастовка сделала новые успехи.

Оказались тщетны все усилия администрации пустить в ход электрические станции и газовые заводы, и вечером город вновь погрузился в полную тьму.

Зажженные на перекрестках улиц и на площадях костры не только не давали света, но своим красным отблеском лишь подчеркивали царящий кругом мрак.

Военное начальство придумало, как помочь делу: на башне Адмиралтейства установили мощный рефлектор и пустили луч над Невским. Как хвост кометы, протянулась полоса света над городом, вызывая насмешливые замечания со стороны рабочих и сея панику среди обывателей.

* * *

Поздним вечером мне передали из Петербургского Комитета поручение: отправиться на другой день за Нарвскую заставу, снять с работ один завод, рабочие которого в субботу отказались примкнуть к забастовке. Поручение было не из приятных: район темный и мне незнакомый, явка ненадежная — двое рабочих — Федор и Вася — должны были встретить меня на улице.

Утром, положив в наружный карман пальто свой браунинг, я отправился в район. В назначенном месте никто меня не встретил. На улице было людно, рабочие стояли кучками, мирно беседовали. Степенно прохаживались городовики. Проехал мимо казачий раз'езд. Для конспирации я купил у стоявшей тут же старухи на копейку подсолнухов, сел на тумбу и принялся лущить семечки, сплевывая шелуху. Так просидел минут десять, не привлекая ничьего внимания. Подумывал уже вернуться в город, когда ко мне подошел незнакомый парень.

Остановившись рядом с моей тумбой, он спросил неуверенно, глядя в сторону:

— Вы, товарищ, городской?

— Да. А вы — Федор?

— Нет, я Вася. А вы, товарищ, лучше всего, уезжайте. Ничего у нас не выйдет сегодня. В завод никак не пройти, — полиция там.

— Много?

— Не то, чтобы много... А только ребята связываться не хотят.

— Где ваши ребята?

— Да все тут, кругом наши... Только дух сегодня уж не тот, что был вчерась, когда мы в комитет посылали...

Я соображал, что делать. Собрать толпу, начать агитационную речь? Опасно, — как бы не вышло «провокации». Вернуться по добру, по здорову в город? Конфузно.

— Вот что, Вася!—решил я, наконец:—Соберите ка мне человек десять понадежнее, и идем в завод.

Вася побежал сбивать команду, а я остался на тумбе лущить семечки. Затем пошли к заводу.

Завод был расположен за широкой канавой. К закрытым воротам вел деревянный мост, на нем толпились какие-то люди, с виду, как будто, рабочие У калитки стояли два сторожа и городовой, — все трое самого миролюбивого вида. Сопротивления с этой стороны можно было не бояться. Но люди на мосту встретили нас криками, угрозами, бранью. Мои спутники не то дали тягу, не то потерялись во враждебной толпе, исчез куда то и Вася. Я остался один перед за-

пертыми воротами. Городовой придвинулся ко мне вплотную и спросил:

— Ты откуда?

— Из Совета Рабочих Депутатов! — ответил я.

— А ну ка, пойдем в участок!

— В участок? А знаешь ты, что такое Совет Рабочих Депутатов?

— Откуда мне знать? Ты это «частному» расскажешь, а мне оно ни к чему...

Дело принимало неприятный оборот. Место для пререканий с городовым было не подходящее. Я сказал:

— Хорошо, идем!

До участка было довольно далеко. Мы шли по улице, где сочувствие прохожих было явно на моей стороне. Стоило мне остановиться, обратиться к толпе, и моему «фараону» пришлось бы плохо.

Городовой, видимо, начал робеть. Задержав шаг, он спросил меня:

— Что ты «частному» скажешь?

— А то и скажу, что приехал на завод, об'явить приказ Совета Рабочих Депутатов, чтобы всем бастовать. А ты меня не пустил, да еще арестовал.

— Да не арестовывал я тебя, — заскулил городовой,—а только сказал, что делов ваших не знаю...

— Ага, теперь не знаешь! — строго перебил я его: — Идем ка в участок.

Прошли еще шагов двадцать, и уже неизвестно было, кто кого ведет к «частному.»

Наконец, городовой взмолился:

— Да отпусти ты меня! Что я тебе сделал? Не знал я, что ты от Совета...

— Ну, так и быть, ступай! — милостиво согласился я.

Городовой радостно побежал к своему посту, а я, не менее его довольный развязкой приключения, поспешил в город.

День 17-го октября был критическим в ходе забастовки. В настроении толпы явно наметился перелом. У всех на устах был один вопрос:

— Что дальше?

С начала забастовки в Москве (на Московско-Казанской железной дороге) шел одиннадцатый день. Шестой день бастовал Петербург. А результатов не было видно.

Забастовали, скрестили руки на груди, остановили всю жизнь... А дальше что?

Всюду штыки. Белеют на углах приказы Трепова. Правительство удержало за собой все позиции.

Признать забастовку проигранной и вернуться к станкам? Или сделать еще одну последнюю попытку? Такая попытка возможна лишь в виде схватки с правительственными войсками... Но как двинуться с голыми руками против частокола штыков? А если не решительный бой, то чего ждать от затягивания без конца забастовки? Дилемма — идти вперед или отступать? перейти к вооруженной борьбе или признать поражение? — эта жуткая дилемма вырисовывалась все отчетливее перед каждым, кто зорко следил за ходом событий и пытался разобраться в их смысле. Но в рабочих массах не была сломлена энергия сопротивления.

Совет Рабочих Депутатов сделал попытку собраться. Так как Технологический Институт,

место первых собраний Совета, был окружен войсками, попытались устроить заседание в Вольно-Экономическом Обществе[1]). Но полиция разогнала собрание. Вечером удалось собраться на Песках, на Рождественских Курсах. Депутатов явилось мало, меньше 100 человек. После обмена мнений вынесли резолюцию:

«Принимая во внимание, 1) что настоящая забастовка имеет не местный, а всероссийский характер; 2) что борьба пролетариата всей России с самодержавием в настоящий момент обострилась до того, что настоящая всеобщая забастовка может нанести решительный удар падающему самодержавию; 3) что во многих городах волна пролетарского движения растет, а прекращение забастовки в Петербурге, в виду важности последнего, может затормозить всероссийское движение, — Петербургский Рабочий Совет постановил продолжать забастовку».

Какой контраст с уверенными, боевыми резолюциями предыдущих дней!

Так командир уговаривает солдат, готовых покинуть позицию: на соседних боевых участках дела идут не так плохо, как у нас; *там*, быть может, врагу будет нанесено поражение; если мы дрогнем, мы погубим все дело, — потерпим же еще хоть немного!

На этом собрании Совета я не присутствовал, так как в это самое время происходило заседание нашей ораторской коллегии совместно с представителями Петербургского и Центрального Комитетов[1]).

---

[1]) Возможно, что это место для заседания выбрали потому, что сюда ближе всего от Технологического Института.

Собрались мы в Консерватории, — единственном учебном заведении, которое до этих пор не подвергалось революционному «использованию», и потому не было, в ночь с 15-го на 16-ое, занято войсками.

Заседание происходило в обширной, светлой комнате. Присутствовало человек 25. Настроение у всех было крайне подавленное. В ожидании представителя Центрального Комитета сидели, перекидываясь редкими фразами, — все усталые, измученные, бледные[1]).

Наконец, появился представитель Ц. К., человек средних лет, маленького роста, с острой бородкой, с характерным лицом еврея-интеллигента, в аккуратненьком черном костюме[2]).

Встретили его угрюмо и холодно. Не смущаясь этим приемом, представитель Ц. К. начал с почти министерской важностью:

— Я здесь, товарищи, чтобы ознакомить вас с последним решением Центрального Комитета, а также, чтобы представить вам раз'яснения по всем могущим вас интересовать вопросам, касающимся нашей политики. Спрашивайте, я готов отвечать.

---

[1]) Обычно на заседаниях Совета наша ораторская коллегия — так же, как ораторские коллегии меньшевиков и эсэров — присутствовала в полном составе. Мы все считались постоянными гостями Совета. На заводах мы говорили от имени партии, но иногда, при проведении принятых Советом решений, выступали, как ораторы Совета Рабочих Депутатов.

[2]) Насколько я помню, это был Б. Горев (Гольдман), работавший тогда в партии под псевдонимом Игоря. Но в воспоминаниях Б. Горева об этом периоде, помещенных в № 1 «Историко-революционного бюллетеня» (Москва, январь, 1922), ни словом не упоминается описываемая ниже сцена. Забыл ли о ней Б. Горев, или не он вел вечером 17-го октября переговоры с нашей коллегией?

Один из членов коллегии сказал на это:

— Нас всех волнует один вопрос. В течение месяца мы, согласно вашим директивам, призывали массы к вооруженному восстанию. Теперь время восстания пришло. Массы на улицах и требуют оружия. На какие запасы оружия можем мы рассчитывать?

Представитель Центрального Комитета развел руками:

— Мы сделали все, что могли, но оружия у нас нет!

— Как так?

— Все бывшие у нас револьверы мы уже передали вам.

— Это тридцать штук браунингов, розданные агитаторам?

— Ну, да! Больше у нас нет.

— Вы смеетесь над нами?

— Нимало. Транспорт, которого мы ждали, задержан на границе... Может быть, удастся достать немного гремучей ртути для ударников для бомб... Это все!

— Почему же вы раньше не сказали нам об этом? Как могли вы заставлять нас призывать рабочих к вооруженному восстанию, когда вы прекрасно знали, что оружия у вас нет?

— Мы надеялись...

— Но может быть, удастся получить оружие через солдат?

— Едва ли. В частях, с которыми у нас имеются связи, оружие отобрано.

— В таком случае, попытаемся взять оружие в магазинах!

— Это невозможно: из всех магазинов нарезное оружие вывезено в Петропавловскую крепость. Оставлены лишь охотничьи дробовики. Не нужно обманывать себя: оружия у нас нет и не будет.

Воцарилось тяжелое молчание. Один из нас выразил мысли всего собрания:

— Вы сыграли роль провокаторов по отношению к нам и заставили нас играть роль провокаторов по отношению к рабочей массе.

Цекист спокойно ответил:

— Товарищи, я понимаю вас. Бывают моменты, когда все мы до последней степени недовольны сами собой, и друг другом, и руководящими центрами. Бывают дни, когда только безнадежный дурак может быть доволен собой. Но не следует впадать в отчаяние. Нужно продолжать работу, в для этого необходимо позаботиться о сохранении партийного аппарата.

Выдержав паузу, он спросил нас:

— Угодно будет вам выслушать постановление Центрального Комитета?

— Ну, говорите!

— Центральный Комитет сознает, что стачка проиграна. Имеются все основания ожидать, что не позже, как завтра, в Петербурге начнутся массовые аресты. По всей вероятности, в первую очередь будут арестованы те лица, которые были особенно на виду за последний период, то есть, товарищи, вынесшие на своих плечах митинговую кампанию. Поэтому, Центральный Комитет решил произвести перегруппировку работников, и, в частности, всех товарищей, выступавших последнее время в Петербурге на митингах, перебросить в провинцию. Вам

11*

предлагается: переменить паспорта, изменить по возможности наружность и более не показываться на собраниях.

Хор негодующих голосов прервал представителя Центрального Комитета:

— Это подлость! — кричал Абрам.

— По вашей милости мы уже стали провокаторами, — волновался другой член коллегии: — А теперь вы хотите, чтобы мы стали дезертирами.

— Передайте Ц. К. наш ответ,—сказал я:—Ваше предложение мы считаем верхом цинизма. Будь что будет, а мы останемся все на своих постах.

Представитель Комитета, не ожидавший ничего подобного, был крайне смущен.

— Хорошо, хорошо,—твердил он:—Я передам, мы не настаиваем, это был с нашей стороны простой совет...

Была уже ночь, когда мы расходились. Царила тьма на площади перед Консерваторией и на улицах. Ни души, ни звука... Жутью смерти веяло в воздухе.

Расставаясь, мы крепко жали руки друг другу. Никто не знал, что ждет его завтра. Было так тяжело сознание собственного бессилия и поражения. Казалось, кроме личной гибели, нет другого исхода.

... Это было в ночь с 17-го на 18-ое октября, когда самодержавие уже капитулировало перед всеобщей забастовкой, когда уже был подписан манифест!

* * *

Утром 18-го, еще ничего не зная о манифесте, я отправился в Университет, — там, в студенческой столовой, была наша явка.

На улицах непривычное для утреннего часа оживление. Кое-где дома расцвечены флагами. Бегут мальчишки-газетчики. Кучки обывателей жмутся к расклеенным на стенах белым листам. Громыхают извозчичьи пролетки.

Чтоб избежать неприятных встреч, я взял извозчика, велел ему поднять верх и дал адрес:

— Университетская линия.

Когда мы проехали квартала два, я спросил моего «Ваньку»:

— Что это народу сегодня так много?

— Манихвест читают. Насчет свободы.

Так я узнал об одержанной нами победе!

Подозвал газетчика, взял у него большой лист с разгонистыми строками манифеста и погрузился в чтение.

Помню первое впечатление: обман, ловушка!

Такое же впечатление было в этот день, при ознакомлении с манифестом, у всех, кто стоял близко к забастовке. Все мы с полной отчетливостью ощущали, что если мы хоть на миг удовлетворимся манифестом, это поведет к разгрому движения, к черносотенной реакции. Наоборот, у тех, кто держался в стороне от движения, было прямо противоположное ощущение: им представлялось, что манифест знаменует великую победу народа и дает новую базу политической жизни России, и что всякая попытка идти дальше начал, возвещенных манифестом, будет иметь роковые последствия.

Это различие в оценке положения нельзя об'яснить исключительно тем, что манифест делал уступки буржуазным кругам и ничего не давал рабочим. Ибо, если бы все обещания манифеста претворились в действительность, плодами этой победы воспользовался бы, вместе с другими классами, также и пролетариат. А с другой стороны, в случае неисполнения этих обещаний самодержавием, требования либеральных кругов остались бы неудовлетворенными так же, как и требования рабочих.

Основа расхождения была двойственная: различие было не только в оценке об'ема полученных уступок, но и в оценке реальности данных царем обещаний. Революционеры этим обещаниям не верили, либеральные круги верили, или делали вид, будто верят.

Было бы слишком легко доказывать теперь, что в этот исторический момент революционеры обнаружили больше проницательности, нежели умеренные общественные элементы, встретившие манифест шумными ликованиями. Но я хотел бы отметить здесь психологический источник этой проницательности: после пережитого накануне, мы непосредственно ощущали слабость революционного движения; мы чувствовали необходимость идти вперед, так как знали, что сил наших недостаточно, чтобы удержать позиции, которые враг покинул под влиянием минутной паники...

В университетской столовой я застал летучий студенческий митинг. Пр. Вл. Гессен читал на площадке лестницы манифест и об'яснял, что от-

ныне Россия вступает в семью свободных, конституционных государств. Студенты аплодировали. Я взял слово и начал говорить о том, что нельзя верить царскому правительству.

Кто то крикнул:

— На Казанскую площадь!

Высыпали на улицу. Снимали с домов трехцветные флаги, срывали с них белые и синие полотнища. Импровизированные таким образом «красные знамена» развевались над возраставшей с каждым шагом толпой.

Перешли через Дворцовый мост, с криками «долой» прошли мимо золоченой ограды Зимнего Дворца. При выходе на Невский повстречались с другой манифестацией, шедшей с национальными флагами. Трехцветные флаги посторонились, пропустили нас. Даже кричали нам «ура» и махали шапками.

На Казанской площади устроили митинг. Ораторы говорили с паперти, под колоннами, поднявшись на плечи толпы. Первым говорил какой то офицер с георгиевскими крестами. Он махал руками, бил себя в грудь, но слов не было слышно, — точнее, слышно было лишь одно слово «Порт-Артур», — но что именно говорил он о Порт-Артуре, осталось неизвестно. После него говорил я.

Толпа заливала всю площадь вплоть до Невского. По проспекту проезжали конки и извозчичьи пролетки. Шум стоял такой, что я не слышал собственного голоса, хотя кричал изо всех сил.

Во время речи я успел заметить, что состав толпы был случайный, смешанный, что не было в ней единого прочного настроения. Здесь и там

пестрели флаги, — частью красные, частью трехцветные. Казалось, случайно сошлось на одной площади несколько десятков чуждых одна другой групп.

Раза три начиналась паника. В различных концах площади раздавался тревожный крик:

— Казаки!

И часть толпы бросалась бежать. У меня сложилось отчетливое впечатление, что все разы кричали одни и те же люди, расставленные цепями по площади. Но и независимо от их усилий, толпа была склонна к панике: обыватель, хотя и радовался манифесту, хоть и готов был верить царскому слову, все же ожидал, что вслед за возвещением свободы должна произойти какая то катастрофа, — или расстрел толпы, или еврейский погром, или что-нибудь другое в этом роде...

С Казанской площади пошли к Университету. По дороге срывали треповский приказ о патронах. На Дворцовой площади показался казачий раз'езд, всего человек пять-шесть. Остановив лошадей, казаки сняли ружья и взяли на изготовку. Не знаю, было ли это озорство, пустая угроза, или они, в самом деле, собирались стрелять. Студент, несший красный флаг, подбежал вплотную к раз'езду и принялся что то об'яснять казакам, — вероятно, говорил им, что теперь демонстрации разрешены царем. Казаки опустили ружья и, поворотив лошадей, ускакали в сторону Зимнего Дворца. Вслед им раздались крики «ура».

На набережной качали трех офицеров, из которых один отбивался с яростной энергией, — пови-

димому, оказываемая честь не доставляла ему ни малейшего удовольствия.

Новый митинг на Университетской линии. Ораторы говорили с балкона Университета. Разбирали манифест, доказывали, что нельзя верить его обещаниям. Один из ораторов, в заключение речи, разорвал манифест и пустил клочки его по ветру.

В это время толпа, в которой преобладали рабочие, уже влилась в здание Университета и наполнила Актовый Зал. Там тоже открылся митинг. Вынесли резолюцию со следующими требованиями:

1) Полная политическая амнистия,
2) Отмена смертной казни,
3) Создание народной милиции,
4) Отставка Трепова,
5) Вывод войск из Петербурга.

День 18-го октября был одним из наиболее сумбурных дней 1905 года.

С утра до позднего вечера — митинги, речи, демонстрации, красные флаги, революционные призывы. Но не создавалось твердости настроения в уличной толпе.

Жизнь, как будто, оправдывала черные ожидания обывателя. Утром конные раз'езды напали на прохожих около Технологического Института. Здесь был ранен в голову пр. Е. Тарле. Днем преображенцы открыли огонь по толпе, мирно двигавшейся по Гороховой улице. Вечером, без всякого повода, войска стреляли по рабочим Путиловского завода.

Самым захватывающим было в этот день тре-

бование амнистии. Много раз раздавался в толпе крик:

— К тюрьмам! Идем освобождать политических!

Многотысячная толпа подошла к помещению Рождественских Курсов, где заседал Совет Рабочих Депутатов, и потребовала, чтобы Совет принял на себя руководство манифестацией, имеющей целью освобождение заключенных.

Руководители Совета были против этой затеи, опасаясь, что дело кончится бесплодным кровопролитием. Но из толпы неслись крики: «К тюрьмам! Освободим товарищей!» Тогда представители Совета (одним из них был Троцкий) встали во главе толпы и повели ее, — но не к тюрьмам, а в кварталы, где можно было манифестировать сравнительно безопасно. Проходя мимо казарм, останавливались, звали солдат выдти на улицу, присоединиться к демонстрации. Только под вечер двинулись к предварилке. Но у участников манифестации не было решимости для последнего приступа, — и, по приглашению руководителей, толпа разошлась, не дойдя до тюрьмы[1]).

Позже в революционных кругах Петербурга было много споров по поводу этой неудачной манифестации. Большевики уверяли, что правительство и тюремная администрация готовы были уже 18-го освободить политических и сделали бы это, если бы толпа проявила больше смелости, если бы, например, была сделана попытка взломать тюремные

[1]) В решении руководителей распустить манифестацию большую роль сыграло вмешательство Союза Инженеров, сообщившего, будто указ об амнистии уже подписан, и политические заключенные завтра же будут освобождены.

ворота. Наоборот, меньшевики утверждали, что подобная попытка была бы провокацией, что в тюрьмах были спрятаны воинские части, готовые открыть огонь по демонстрантам.

Вечером Совет Рабочих Депутатов обсуждал вопрос о дальнейшей тактике, — продолжать или прекратить забастовку?

Заседание происходило в одной из аудиторий Рождественских Курсов. В длинной, уставленной партами комнате было душно, накурено, лица тонули в тумане. Присутствовало 248 депутатов от 111 фабрик и заводов. Настроение у всех было твердое, боевое, — не было и следов колебаний и сомнений, царивших накануне. И это настроение представителей фабрик и заводов составляло разительный контраст с нервным, паническим настроением городских обывателей. Доклады из мест, из районов, передавали впечатление, произведенное на рабочие массы манифестом: обещаниям царя рабочие не верят, возвещенным преобразованиям не придают значения, но все довольны:

— Перетрусил, видать, Николка!

Общее мнение — надо продолжать забастовку.

После докладов Совет единогласно принял резолюцию, в которой говорилось:

«... Борющийся революционный пролетариат не может сложить оружие до тех пор, пока политические права русского народа не будут установлены на твердых основаниях, пока не будет установлена демократическая республика, наилучший путь для дальнейшей борьбы пролетариата за социализм».

Затем излагались ближайшие требования забастовщиков:

Прежде всего, «полное устранение тех сил, с помощью которых самодержавное правительство угнетало и давило народ, именно: всей полиции, сверху до низу; удаление из города войск; создание народной милиции, для чего мы требуем выдачи оружия пролетариату».

Далее, — амнистия, отмена военного положения и созыв Учредительного Собрания.

Это была *первая* официальная формулировка требований забастовщиков в Петербурге. Будь она выдвинута на неделю раньше, — не в конце, а в начале забастовки, — быть может, эта программа оттолкнула бы те непролетарские элементы, поддержка которых придавала движению общенародный, внеклассовый характер. Но *стихийное* народное движение никогда не спешит со словесной формулировкой своих целей, — чаще всего, оно предоставляет это дело историкам. И в этом его сила.

Характерна была заключительная фраза резолюции: «забастовка будет продолжаться и впредь *до того момента, когда условия укажут на необходимость изменения тактики*».

Изменение тактики мыслилось в двух формах: *или возобновление работ, или восстание*. Возобновление работ, если требования будут удовлетворены; восстание, если самодержавие не пойдет на уступки.

Как тактическое решение, подобная революция представляла верх легкомыслия, — и раскрити-

ковать ее с этой точки зрения не трудно. Но Совет не вырабатывал никакой тактики, он лишь отражал настроения выдвинувшей его массы. А это настроение 18-го октября было таково, что лучше всего оно передавалось трубными звуками, победными песнями, — хотя бы далекими от действительности.

Слушая в Совете речи рабочих депутатов, я думал: не тяжелый ли сон то, что мы переживали накануне в Консерватории и третьего дня в Вольно-Экономическом Обществе и перед Университетом?

* * *

Досидеть до конца на заседании Совета я не мог, нужно было спешить в Университет, где собрался огромный митинг.

В этот день впервые сошлось в Университет много военно-служащих — офицеров, солдат, матросов, военных чиновников. Не знаю, что привлекло их на митинг, — приглашение какой-то беспартийной военной организации, или любопытство, или они шли на народное собрание, волнуемые вопросом об отношении армии к народу в обновленной стране...

Им отвели дальнюю аудиторию, поставили у дверей патруль, не пропускавший на собрание посторонних. На лестнице старосты предупреждали военных о необходимости осторожности и предлагали, в видах конспирации, обертывать погоны бумагой или носовым платком.

Всего военных набралось 300—400 человек. Председательствовал вольноопределяющийся с тонким интеллигентным лицом.

Собрание выразило желание выслушать партийных докладчиков.

От эсэров говорил студент-кавказец — тот самый, что 15-го предлагал забарикадировать Университет, — говорил, как всегда, в страстно-агитационном тоне. Молодой солдатик в пэнсне, сидевший за передней партой, перебил его:

— Те, что собрались здесь, знают, чем рискуют, и в агитации не нуждаются. Мы пришли сюда за инструкциями.

Никаких инструкций, никакого плана у нас не было. И когда дошла очередь до меня, я мог лишь предложить собравшимся вести агитацию среди низших чинов, привлекать их к народному делу, чаще сноситься друг с другом, вести учет сознательным элементам и быть наготове.

Лишь при большой наивности эти общие места можно было принять за ответ на мучительный вопрос — что делать армии? Но собравшиеся были рады и таким советам.

Не помню точно, какую резолюцию вынесло собрание.

Но после митинга ко мне подошло трое военных, — все трое пожилые, полные, в мешковатых сюртуках, с виду более похожие на учителей гимназии, чем на офицеров. Один из них сказал мне:

— Вот что, батенька... Чтоб потом ошибочки не вышло, не нужно себя обманывать... Теперь пойдет: армия с народом, армия с революцией. А как далеко до этого, одному Господу Богу известно. Нас здесь как будто и много, да проку с этого мало. Вам нужны строевые, те, в чьих

руках ружья и пушки. А строевых здесь и пяти человек не было...

— А матросы, солдаты? — изумился я.

— Все больше из писарских команд... Ну, там еще, ротные фельдшера, музыканты... Такие же вояки, как, вот мы: всего то и есть у них военного, что пуговицы светлые. Так то оно, батенька...

Повздыхали еще все трое, покачали головами и пошли к выходу.

* * *

19-го октября возбуждение в Петербурге как то само собой улеглось. Уже не было в городе уличных демонстраций, не было митингов. Никого не смущало, что на углах висят рядышком царский манифест о свободах и треповский приказ о расстрелах. Настроение среди обывателей за ночь изменилось: на смену переплетенному с тревогой ликованию пришло безнадежное уныние. Страх усилился. О рабочих, о Совете Депутатов говорили с почтением (отчаянные, мол, там головы), но уже без энтузиазма — ничего доброго от Совета не ожидали.

Забастовка продолжалась. Не выходили газеты, стояли железные дороги. Но Петербург уже не был отрезан от остальной России, как накануне манифеста. И из России, со всех концов, неслись в столицу вести о кровавых погромах.

В заводских районах не то не верили этим вестям, не то не придавали им значения. Здесь не было ни уныния, ни тревоги за завтрашний день.

Улицы кипели здесь возбужденной толпой. В кучках рабочих читали вслух «Известия Совета Рабочих Депутатов». Совет был на вершине славы, — рабочие видели в нем своего вождя. Его резолюции и статьи его «Известий» принимались, как приказ.

Но об'ективно забастовка уже пережила себя. Бастовать до республики, как оно вытекало из принятой накануне резолюции Совета, было бы явной бессмыслицей. Такой же бессмыслицей было бы бастовать до отставки Трепова или до вывода войск из Петербурга. Вокруг забастовки уж начало образовываться безвоздушное пространство общественного несочувствия.

Вечером, на Рождественских Курсах, вновь собрался Совет Рабочих Депутатов. Присутствовало 132 депутата, представлявшие 74 фабрики и завода. Много было гостей, представителей революционных партий.

Доклады с мест говорили о том, что «есть еще порох в пороховницах», что рабочие готовы продолжать забастовку. Но из других городов в Исполнительный Комитет Совета поступили известия, что там уже возобновились работы. В частности, приступила к работе Москва. Восстанавливалось железнодорожное движение. Под влиянием этих известий Совет постановил прекратить забастовку, но так, чтобы прекращение ее ни в ком не могло вызвать представления о поражении рабочих или о готовности их удовлетвориться подачкой 17-го октября: 20-го на всех заводах и фабриках состоятся рабочие митинги, посвященные выяснению политического смысла заканчивающейся борьбы; работы возобновятся лишь

21-го, и то не по будничному заводскому гудку, а повсюду сразу, в час, назначенный Советом, — ровно в полдень.

В резолюции, принятой Советом, говорилось:

«Считаясь с необходимостью для рабочего класса, опираясь на достигнутые победы, организоваться наилучшим образом и *вооружиться* для *окончательной* борьбы за созыв Учредительного Собрания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права для достижения полного народовластия, Совет Рабочих Депутатов постановляет прекратить 21-го октября, в 12 часов дня, всеобщую политическую забастовку, с тем, чтобы, смотря по ходу событий, по первому же призыву Совета, возобновить ее для дальнейшей борьбы...»

Из дилеммы, рисовавшейся накануне — прекращение забастовки или ее превращение в вооруженное восстание — был найден, таким образом, выход: *прекращение забастовки для подготовки к восстанию.*

Выход чисто словесный, но характерный для мышления октябрьских дней: забастовка представлялась тогда прологом к восстанию и идее восстания подчинялась вся тактика, — и об'явление забастовки, и прекращение ее.

С особенным вниманием отнеслось собрание к вопросу о прекращении забастовки печатников. Председатель Совета Хрусталев, являвшийся вместе с тем в Совете представителем Союза Рабочих Печатного Дела, предложил возобновить выпуск лишь тех газет, редакторы которых обязуются ввести «революционным путем» свободу печати, то

есть откажутся от представления своих изданий в цензуру.

Эта мысль как нельзя больше соответствовала настроению момента: подчеркивалась роль пролетариата, как гегемона общеосвободительного движения; создавалась видимость реальных результатов забастовки, идущих дальше пустых обещаний манифеста.

Этим об'ясняется тот энтузиазм, с которым было встречено предложение Хрусталева. Почти без прений Совет принял единогласно следующую резолюцию:

«Совет Рабочих Депутатов постановляет, что только те газеты могут выходить в свет, редакторы которых игнорируют цензурный комитет, не посылают своих номеров в цензуру, вообще, поступают так, как Совет Рабочих Депутатов при издании своей газеты. Поэтому наборщики и другие товарищи-рабочие печатного дела, участвующие в выпуске газет, приступают к своей работе лишь при заявлении и проведении редакторами свободы печати. До этого момента газетные товарищи-рабочие продолжают бастовать, и Совет Депутатов примет все меры к изысканию средств для выдачи бастующим газетным товарищам-рабочим их заработка.

«Газеты, не подчиняющиеся настоящему постановлению, будут конфискованы у газетчиков и уничтожены. Типографии и машины будут попорчены, а рабочие, не подчинившиеся постановлению Совета Депутатов, будут бойкотированы».

Заключительная часть резолюции вызвала в собрании особенно бурные выражения восторга. Но приводить в исполнение выраженную здесь угрозу Совету не пришлось. Как раз в это время союз редакторов повременных изданий вынес постановление об игнорировании цензуры. Этим был предупрежден конфликт между рабочими печатного дела и редакциями.

Как наследие историкам русской революции, остался спор о том, приняли ли редакторы свое решение совершенно свободно, или под давлением Совета Рабочих Депутатов.

Социалисты склонны были приписывать рабочим заслугу освобождения прессы от гнета предварительной цензуры. Либеральные круги, наоборот, утверждали, что вмешательство Совета в это дело не имело значения.

Я полагаю, что ф о р м а л ь н о наши противники были правы: не будь советской резолюции, союз редакторов, все равно, провел бы в жизнь бойкот цензуры. Но не подлежит ни малейшему сомнению, что самый вопрос о такой форме борьбы за свободу печати поднялся и проведение бойкота цензуры стало возможно исключительно благодаря общественному сдвигу, произведенному всеобщей забастовкой. И в э т о м с м ы с л е рабочему классу принадлежит целиком заслуга за те изменения в условиях существования печати, которые наметились после 17-го октября.

* * *

С 20-го октября начинается в Петербурге полоса заводских рабочих митингов.

12*

Строго говоря, митинги на заводах начались с первого дня забастовки. Но 12-го, 13-го, 14-го это были «летучки» с минутными речами случайных ораторов. 15-го, 16-го рабочие собирались во дворе бастующего завода или на улице у фабричных ворот выслушать доклад своего депутата. Кое-где после докладчика выступал с агитационной речью партийный оратор (привезенный депутатом из города). 17-го и 18-го рабочих неудержимо тянуло в центральные кварталы города, на Невский, к Технологическому Институту, к Университету, — туда, где, по их представлению, должны были произойти решительные события.

19-го на ряде заводов и фабрик происходили рабочие собрания, на которых депутаты давали отчет о состоявшемся накануне заседании Совета и о принятом им решении продолжать забастовку, а партийные агитаторы защищали правильность этого решения, доказывали, что нельзя складывать оружие перед врагом.

20-го впервые митинги происходили одновременно на всех фабриках и заводах, по одной, общей программе. И эта новая форма собраний понравилась рабочим, — с этого дня митинги в стенах высших учебных заведений потеряли притягательную силу. Стоило ли идти за семь верст на митинг, когда можно было те же речи тех же ораторов слышать у себя, на заводском дворе или в мастерской? И еще: на городской митинг редко приходили все рабочие завода, чаще всего «несознательные» элементы оставались дома; а при устройстве митинга у себя можно было рассчитывать, что

соберутся все, без всяких исключений, и передовые, и отсталые.

Изменение формы митингов имело большие политические последствия. С того дня, как фабрично-заводские рабочие стали собираться по своим предприятиям, из городской митинговой толпы исчез наиболее революционный, наиболее устойчивый ее элемент; в то же время с городской трибуны ушли занимавшие ее до сих пор ораторы; появились на ней новые лица, дотоле молчавшие; все громче стали раздаваться в городе умеренно-либеральные речи.

Иными словами, если до октябрьской забастовки форум политической жизни представлял митинг, где численно и идейно господствовали фабрично-заводские рабочие, то теперь образовались как бы две курии — рабочая и нерабочая, — и жизнь их протекала отныне отдельно, обособленно.

Университетские митинги отвечали моменту гегемонии пролетариата в общенародном освободительном движении. Заводские митинги знаменовали начало рокового изолирования рабочего класса.

Начались заводские митинги, как я отметил, 20-го. В этот день на всех фабриках и заводах Петербурга обсуждалось решение Совета о прекращении забастовки. 21-го утром рабочие собрались вновь, — еще раз послушать ораторов, прежде чем приниматься за работу. 22-го была суббота, — заводы опять пригласили к себе ораторов.

Успеху митингов этого дня не мало способствовало то, что на фабриках и заводах появились амнистированные, выпущенные накануне из тюрем:

это было живое доказательство одержанной пролетариатом победы. 23-го, в воскресенье, — повсеместные митинги, по постановлению Совета, в память товарищей-путиловцев, убитых 18-го. Дальше поднялся ряд экономических вопросов: о введении 8-ми часового рабочего дня, о закрытии заводов, о помощи безработным. Вслед за тем пришли тревожные известия из Кронштадта, — нужно было обсудить их. Потом (2-го ноября), началась новая забастовка, во время ее митинги шли ежедневно.

А по окончании ее встал грозный вопрос о локауте, — и опять пошли митинги.

Так заводские митинги в Петербурге происходили без перерыва вплоть до второй половины ноября.

Внешне эти собрания сильно отличались от университетских митингов.

Толпа — более однородная. Сплошь рабочие одного завода. Лишь изредка присутствуют здесь же представители администрации и технического персонала, — отдельной группой корректных, молчаливых гостей.

Больше порядка, больше чинности в ведении собрания, чем это было в городе, в начале октября. На каждом заводе свой постоянный председатель, по большей части, пользующийся полным доверием товарищей.

Какую блестящую фигуру представлял собой Петр, председатель Франко-Русского завода! Как трогательно вел собрания семянниковцев Николай Клемницкий, наивный, добродушный гигант, всей душою преданный рабочему делу! Да и на других заводах были хорошие председатели-рабочие.

В начале собрания устанавливался порядок дня. Велась запись ораторов. Не было шума, пререканий.

На больших заводах торжественности собраний способствовала обстановка: для ораторов были устроены высокие помосты, обтянутые красным кумачем. Появились заводские знамена, порой изготовленые с большой пышностью, из красного бархата, с золотыми надписями, с парчевыми краями, с тяжелыми кистями. Но отпечаток торжественности лежал и на собраняих, происходивших в простых заводских мастерских, — ни знамен, ни помоста, высокий станок вместо трибуны, в воздухе вьются приводные ремни, гудит железо под ногами толпы, кругом машины, похожие на боевые орудия, на гигантские катапульты.

На некоторых фабриках митинги устраивались в фабричной церкви, — раза два или три мне пришлось проводить такие собрания: кругом иконы, хоругви, вместо революционных знамен; здесь и там мерцающие огоньки лампад; теснящаяся к амвону толпа женщин, — они слушали ораторов с такой же наивной верой, с какою привыкли слушать обедню. В их представлении митинг был чем то в роде богослужения, своего рода молебном, — только не за царя, а п р о т и в царя.

Раз на фабрике Штиглица, после митинга в церкви, работницы обступили меня, благодарили за «доброе слово», при чем одна пожилая женщина, вся в слезах, твердила, что я говорил «лучше отца Николая»[1]).

[1]) На этом же митинге от другой старухи-работницы я услышал упрек: «Грех великий царя ругать».

На заводах толпа была по иному наивна, — ее наивность сказывалась в том энтузиазме, с которым воспринимались все революционные лозунги, — даже неосуществимые, даже противоречивые.

Выступали на заводских митингах исключительно большевики, меньшевики и эсэры.

У меньшевиков в то время оказались крупные силы[1]: они фактически господствовали в Совете и в зарождавшихся профессиональных союзах. Но на заводы они обращали меньше внимания. Лучшим оратором меньшевиков был Троцкий. Его выступления вызывали всегда бурю энтузиазма. Но выступал он довольно редко.

Самой многочисленной агитаторской коллегией, как и в сентябрьский период, обладала большевистская организация. О составе этой коллегии я уже говорил.

Открытой полемики между меньшевиками и большевиками на заводских митингах не было. За то между эсдэками и эсэрами велась борьба не на жизнь, а на смерть.

Эсэры двинули на заводские митинги все, что имели. И если количественно их агитационный аппарат уступал нашему, качественно он стоял очень высоко. На заводах выступали: В. М. Чернов, Бунаков, Авксентьев. Все трое имели большой успех, — рабочие встречали их восторженно (правда, не так, как Троцкого).

Выступления эсэровских ораторов велись по определенному плану, — целью их было «отвоевать» у эсдэков крупнейшие заводы и создать, таким об-

---

[1]) Значительные подкрепления меньшевики получили благодаря амнистии и возвращению эмигрантов.

разом, опорные пункты для развития партийной работы в Петербурге. Особенное внимание было обращено на Невский район.

Мы должны были принять бой.

На первый взгляд, все как будто шло гладко: присутствуя на публичных диспутах представителей обеих социалистических партий, рабочие получали возможность разобраться в спорных вопросах социалистической мысли и оформить свое миросозерцание. Но на деле оказывалось не то: диспуты велись так, что слушатели не могли вынести из них ничего поучительного, не могли даже разобраться толком, из за чего идет спор между «товарищами-ораторами». И отчаявшись понять суть этого спора, рабочий начинал, под конец, относиться к партийной полемике, как к петушиному бою: «А ну, кто кого?»

Чаще всего, спор шел о том, какая нужна рабочим партия? партия всех трудящихся или партия рабочего класса?

Велся этот спор чисто схоластически, то и дело сбиваясь на партийную пикировку и взаимные разоблачения.

Эсэры жаловались рабочим на то, что эсдэки не хотят отдать крестьянам помещичью землю. Следовали цитаты, — чаще всего, «отрезки» Ленина. Эсдэки уличали эсэров в союзе с либералами. Нередко подымался спор о терроре. Однажды, после длинного и горячего спора на эту тему, один рабочий (беспартийный, но в глубине души сочувствовавший эсэрам) так формулировал сущность разногласий:

— Эсэры всех министров перебили-б, да эсдэки заступаются, не пускают.

Эсэровский лозунг «Земля и Воля» нравился массам. Мы противопоставляли ему наш лозунг:

«Земля — крестьянам!

«8-часовый рабочий день рабочим!

«Воля — всему народу!»

Это было больше, чем простая «земля и воля», и сравнение между обоими лозунгами было в нашу пользу.

Эсэры главным козырем в борьбе с нами считали свою аграрную программу и охотно развивали ее на митингах. У нас же в то время официальной, принятой с'ездом аграрной программы не было, была лишь временная аграрная платформа: поддерживать стремления крестьян вплоть до конфискации всех помещичьих земель. При этом, вопрос о дальнейшей судьбе конфискованных земель оставался открытым. Эсэры указывали на этот пробел в нашей программе, как на доказательство того, что эсдэки не заботятся о нуждах крестьян.

Однажды, на одном из больших заводов, мне пришлось сцепиться по этому поводу с эсэровским оратором. Мой противник вел атаку в резко демагогическом тоне.

— Что даете вы народу?—восклицал он:—Что даст ваша победа крестьянину, кормильцу Земли Русской?

Я отвечал ему:

— Мы, как и вы, требуем конфискации всей земли. Но вы заранее предписываете крестьянам, что делать с землею, а мы говорим: забирайте землю и делайте с нею, что вам заблагорассудится! Вы даете землю, но

не даете крестьянам в о л и распоряжаться ею. А мы даем и з е м л ю, и в о л ю.

Это было как раз по плечу аудитории. Рабочие расходились с митинга, повторяя:

— Зачем мужикам указывать? Они и сами разберут... Ты им только землю предоставь...

Т а к в результате спора выяснилась для них сущность разногласий между обеими партиями!

В общем и целом, эсэры добились значительного успеха. В ряде вопросов — напр., в вопросах о терроре, о земле — симпатии беспартийной рабочей массы явно склонялись в их пользу.

Но социал-демократическая партия сохранила все же господствующее положение: масса шла за нею, — отчасти потому, что на нее рабочие уже смотрели, как на с в о ю партию, а отчасти потому, что нравилось название — «Российская, рабочая»...

Впрочем, под конец, рабочим надоели споры между эсэрами и эсдэками, и из их среды то и дело раздавались настойчивые призывы к об'единению социалистических партий. Тут сказывалось не только чисто стихийное тяготение рабочей массы к единству во что бы то ни стало, но и отсутствие подготовки, необходимой для понимания партийных разногласий и стоящих перед революционным движением тактических проблем.

Для массы этих проблем не существовало. Она жила готовыми лозунгами, простыми идеями, элементарными чувствами.

* *
*

Начало заводских митингов ознаменовалось конфликтом между большевистской организацией и Советом Рабочих Депутатов.

Я говорил уже, что мысль о создании Совета принадлежала меньшевикам, и что родилась эта мысль из идеи об «органах революционного самоуправления», идеи, к которой большевики относились, как к утопической и вредной для революции затее.

Естественно, что приступая к организации «Рабочего Комитета», меньшевики не спешили посвящать большевиков в свои планы. Возможно даже, что дело было обставлено первоначально некоторой фракционной конспирацией, так как меньшевикам, которые были организационно слабее нас, не было никакого расчета облегчать нам «захват» или «срыв» Совета.

Таким образом, Совет Рабочих Депутатов соорганизовался за спиною большевистского Петербургского Комитета. Родившись из «утопического» плана «Искры», Совет неожиданно, как голова медузы, вырос перед партией и заявил претензию руководить борьбою петербургского пролетариата. Само собою разумеется, что большевики должны были отнестись к этой претензии, как к неслыханной дерзости.

Наша агитаторская коллегия узнала о появлении на свет Божий «Рабочего Комитета» от Красикова.

— Меньшевики новую каверзу затеяли, — сообщил он нам: Беспартийный зубатовский комитет выбирают.

И хотя «товарищ Антон» был далеко не лучшей головой в организации, я думаю, что в тот момент так смотрели на меньшевистскую затею почти все большевики.

Впрочем, 14-го—15-го отношение к Совету среди большевиков переменилось: организация делегировала в Совет своих официальных представителей, агитаторы призывали рабочих выбирать депутатов, под рукой был дан лозунг стараться проводить в состав Совета «своих». Но на крупнейших заводах выборы были уже закончены. В огромном большинстве в депутаты попали беспартийные, — правда, тяготевшие к социал-демократии. В самом совете выдвинулись на первый план меньшевики (Хрусталев, Гриневич, Троцкий). Большевики оказались в положении крайне-левого оппозиционного меньшинства.

Неудачное обращение Совета к Городской Думе и столь же неудачная манифестация 18-го октября дали нам достаточно пищи для критики «половинчатости» Совета. Но последним, переполнившим чашу нашего терпения, доказательством негодности этого учреждения явилось решение, вынесенное Советом по вопросу о похоронах рабочих, убитых за Нарвской заставой 18-го октября.

Сперва Совет предполагал устроить павшим торжественные похороны. В районах были сделаны необходимые приготовления: были готовы траурные знамена, венки, оркестры, рабочие хоры.

Но, накануне назначенного для похорон дня, Трепов опубликовал «об'явление» с недвусмысленной угрозой ответить на рабочую демонстрацию черносотенным погромом.

«. . . В настоящее тревожное время», говорилось в этом об'явлении, «когда одна часть населения готова с оружием в руках восстать против действий другой части, никакие

демонстрации на политической почве, в интересах самих же манифестантов, допущены быть не могут... (Полиция) не может допустить нарушения интересов огромного большинства жителей, желающего спокойствия, порядка и свободы движения на улицах. В интересах этого большинства, равно как и в интересах самих манифестантов, с.-петербургский генерал-губернатор приглашает устроителей манифестации отказаться от своего замысла, а мирное население воздержаться от всякого участия в манифестации и от скопления на улицах, в виду могущих произойти весьма тяжких последствий от тех решительных мер, к которым может быть вынуждена прибегнуть полицейская власть».

Угроза была вполне реальна: в эти дни по всей России катилась волна кровавых погромов; повсюду шли зверские убийства, приходили вести о людях, заживо сожженных в Вологде, Томске. Не была исключена возможность того, что Трепов попытается устроить подобный «праздник» и в Петербурге.

Одно лишь было подозрительно в треповском приказе: еслиб у полиции было готовое решение устроить в Петербурге погром, она не стала бы предупреждать население о своих планах и, во всяком случае, не поставила бы выполнение этого плана в зависимость от того, как будут похоронены убитые рабочие. Приходилось, следовательно, предположить, что полиция, сама еще не решив хорошенько, быть или не быть в Петербурге погрому, публично заявляет о своих колебаниях. Или же, отбрасывая это предположение, следовало придти к заключению, что устраивать в Петербурге погром

полиция не намерена, а градоначальник попросту хочет сыграть на ужасе, посеянном среди населения вестями о погромах в провинции. Это заключение подсказывало определенную тактику по отношению к треповскому приказу, — следовало пройти мимо него.

Но на заседание Совета, обсуждавшего этот вопрос, явились либералы — гласные Городской Думы. Они сообщили, будто наверняка знают о готовящемся погроме, заклинали рабочих не поддаваться на провокацию, не подвергать мирное население смертельной опасности, — и развели такую панику, что Совет, в конце концов, сдался на их просьбы: демонстрация была отменена, и вместо нее были назначены на следующее утро заводские митинги.

Чтобы замаскировать немного это отступление, Совет придал своей резолюции ярко революционную форму, заявив: «Петербургский пролетариат даст царскому правительству последнее сражение не в тот день, который изберет Трепов, а тогда, когда это будет выгодно вооруженному и организованному пролетариату». В заключение, резолюция призывала рабочих помнить, что «павшие борцы своей смертью завещали нам удесятерить наши усилия для дела самовооружения и приближения того дня, когда Трепов вместе со всей полицейской шайкою будет сброшен в общую грязную яму обломков монархии».

Но эта словесность не меняла существа дела. В вопросе о похоронах Совет, в ночь с 22-го

на 23-ье октября капитулировал перед полицией.

А в утренних газетах появился новый приказ градоначальника, разрешавший похоронную процессию при условии, что она будет следовать по определенным улицам. Таким образом, оказалось, что отцы города сообщили Совету неверные сведения о намерениях градоначальства и, заразив Совет своей паникой, побудили его отступить перед угрозами Трепова в то время, когда Трепов сам счел необходимым отказаться от этих угроз!

На лицо были исчерпывающие улики того, что Совет Рабочих Депутатов «плетется в хвосте у либералов».

Немедленно большевистским агитаторам была дана директива: проводить на заводских митингах резолюции порицания Совету.

На нескольких заводах такие резолюции были приняты, на других предложение большевиков проваливалось. Рабочие хлопали агитатору-большевику, но когда дело доходило до голосования, заявляли:

— Что же это у нас выйдет? Мы Совет выбирали, а теперь мы же ему порицание вынесем?

И сколько ни развивал агитатор теорию ответственности представителей перед избирателями, рабочая толпа оставалась на своем. Так, я лично потерпел неудачу при попытке провести большевистскую резолюцию на Обуховском заводе, где против меня выступил талантливый молодой рабочий Голубь, игравший крупную роль в Совете.

В связи с этой историей в большевистских кругах был поднят вопрос о том, что недопустимо

оставлять руководство петербургским рабочим движением в руках беспартийного органа, готового в любой момент, под влиянием либералов, сойти с революционного пути. Совет представлял собою стихийную сторону рабочего движения, — нужно было подчинить его такому органу, в котором была бы воплощена революционная сознательность пролетариата. Отсюда мысль — превратить Совет Рабочих Депутатов в партийную организацию, в ячейку Р. С.-Д. Р. П., подчиненную, на началах дисциплины, Петербургскому Комитету. Вопрос этот живо обсуждался в партийных кругах и в печати.

Насколько я помню, в конце концов, большинство в нашей организации склонилось к тому, чтобы действовать постепенно: сперва добиться от Совета принципиального решения, что он подчиняется Р. С.-Д. Р. П., а затем уже поставить вопрос о том, какой именно партийный орган должен давать Совету директивы. Таким образом, первый удар предполагалось направить против не социал-демократических элементов Совета, то есть, против эсэров, а заключительный маневр должен был «вышибить» из Совета меньшевиков.

Проведение этой кампании было возложено на Кнунианца, о котором я уже упоминал выше.

Он очень неохотно принял на себя поручение партии, — и провалился с ним самым основательным образом. 29-го ноября он поднял на заседании Совета вопрос о том, что Совет должен «определить свою политическую физиономию», но на это последовал столь энергичный отпор со стороны собрания,

13 Войтинский.

что Кнунианц поспешил снять свое предложение[1]).

Отмечу, что в нашей агитаторской коллегии, которая в эти дни была чуть ли не центром большевистской организации, вопрос о подчинении Совета партии вызывал большие разногласия. Были у нас сторонники решительных мер, доходившие до предложения — в случае неподчинения Совета директивам Комитета, разогнать его. Помню горячую речь на эту тему Абрама. Но другие опасались, как бы превращение Совета в партийную ячейку не подорвало его влияния в беспартийных рабочих массах. В частности, я лично был решительно против задуманной «кампании».

Забегая немного вперед, отмечу, что после провала этой «кампании», отношения между большевистской организацией и Советом оставались натянутыми.

В начале ноябрьской забастовки дело опять дошло до конфликта. Провозглашая забастовку, Совет решил распространить ее и на газеты, —

---

[1]) Б. Горев в своих воспоминаниях передает, что решение о пред'явлении Совету ультиматума «принять партийную программу или превратиться в простое профессиональное об'единение» было принято в расширенном Федеративном Совете, где участвовали и большевики и меньшевики. Об этом эпизоде я ничего не знаю. Во всяком случае, у нас, в агитаторской коллегии, поход против Совета обсуждался, как поход против меньшевиков. А в самом Совете 29 ноября меньшевики выступили против предложения Кнунианца, и при том выступили с крайней резкостью, как против попытки взорвать Совет Рабочих Депутатов.

Выступление в Совете в защиту большевистского «ультиматума» Троцкий (в своем письме, заменяющем предисловие к книге Сверчкова «На заре революции») приписывает Красикову («тов. Антону»). У меня сохранилось отчетливое впечатление, что выступал по этому вопросу именно Кнунианц.

сделав, само собою разумеется, исключение для своих «Известий», которые печатались нелегально то в одной, то в другой типографии. Большевики внесли предложение, чтобы такое же исключение было сделано и для их органа «Новой Жизни». Представители союза печатников восстали против этого предложения, и оно было отклонено собранием.

Тогда большевики перенесли вопрос на заводские митинги и здесь стали предлагать резолюцию с выражением сожаления по поводу того, что во время забастовки не выходит газета, служащая развитию революционной сознательности и сплоченности пролетариата.

Помнится, успеха эта резолюция не имела. Между прочим, против нее выступали и социалисты-революционеры, подчеркивавшие, что они, мол, не требуют привилегий для своего органа[1]), — раз бастовать, так уж всем, без всяких исключений.

Против такой постановки вопроса трудно было спорить. Мы, агитаторы, быстро в этом убедились. В нашей коллегии был даже поднят вопрос о необходимости принять меры, чтобы Петербургский Комитет впредь не давал нам «идиотских» директив. Но события сменялись так стремительно, что вскоре мы забыли об этой маленькой неудаче.

* * *

С переходом митингов в окраинные заводские районы, пролетарские элементы собственно городского (не окраинного) населения оказались выброшенными из русла революционно-политической

[1]) «Сына Отечества».

13 *

жизни. Фабрично-заводские рабочие были об'единены своим Советом и в этом об'единении черпали силу. Рабочие мелкой промышленности, ремесленники, приказчики оставались вне рамок этого об'единения, — примкнуть к нему они могли, лишь организовавшись по профессиям.

В этом одна из причин того, что тяга к профессиональному об'единению, уже давно начавшаяся в Петербурге, после октябрьской забастовки усиливается, принимает почти лихорадочный характер, — и именно среди пролетарских групп, не представленных в Совете.

Начинается напряженная работа по строительству профессиональных союзов. В этой работе наша организация почти не принимала участия, — все ее силы уходили в заводские районы. Но у меня лично установилась тесная связь с нарождавшимся в то время союзом торгово-промышленных служащих, — эту связь я сохранил и позже, вплоть до моего вынужденного от'езда из Петербурга в конце 1907 года.

Сблизился я с приказчиками случайно.

Как то раз мне передали приглашение на митинг в Василеостровском театре. Там оказалось собрание приказчиков, посвященное вопросу о праздничном отдыхе и об организации союза. Собрание было многолюдное, оживленное, дружное.

В начале его один приказчик — интеллигентного вида, хорошо одетый и уже не молодой — обратился к собравшимся с предложением почтить вставанием память ... декабристов. Предложение было принято, все встали благоговейно, постояли молча с минуту и сели вновь. Тогда оратор пред-

ложил почтить память Желябова и Перовской. Вновь встали и вновь сели. Оратор внес новое предложение: почтить вставанием память Каляева. Затем последовало предложение почтить павших 9-го января и, в заключение, — убитых 18-го октября. Выполнив этот обряд, оратор, ни слова не прибавив, покинул трибуну.

Вслед за ним выступил человек типично гостиннодворского типа и начал говорить о жизни приказчиков. Говорил он с подлинным вдохновением, с глубоким чувством, с заражающей страстностью. Это был И. И. Козловский, приказчик-самоучка, впоследствии редактор-издатель приказчичьего профессионального журнала и наш выборщик в Государственную Думу.

И еще выделилось в собрании несколько человек, в которых чувствовалась и общественная жилка, и вдумчивость, и даже некоторая подготовка к тому делу, за которое они брались. А дело было огромное: торгово-промышленных служащих в Петербурге насчитывалось до 200 тысяч, — почти столько же, сколько фабрично-заводских рабочих, — и об'единение их в профессиональный союз представлялось очень трудной задачей. Но у инициаторов собрания был готовый план: в основу всего они клали кампанию за праздничный отдых, — лозунг, который мог всколыхнуть и об'единить всю приказчичью массу и который, к тому же, можно было сравнительно легко провести в жизнь. Одновременно должна была идти организационная работа: прежде всего, предполагалось об'единить приказчиков больших рынков, и эти сплоченные

группы должны были явиться центрами притяжения для приказчиков ближайших улиц.

Руководители приказчичьего движения, с которыми я познакомился на митинге в Василеостровском театре, просили меня помочь им в разработке проекта устава союза, в составлении воззваний, в устройстве агитационных собраний. Сперва я отбояривался, так как и без того работал сверх сил. Но в большевистской организации решили через меня закрепить влияние партии на приказчичий союз. Представители Комитета настойчиво убеждали меня не оставлять приказчиков, поддерживать связь с ними, и мне пришлось подчиниться.

Так, не покидая своей агитаторской работы на заводах, втянулся я в организационно-союзовскую работу среди торгово-промышленных служащих. Пришлось сталкиваться при этом и с другими профессиональными группами: с булочниками, портными, золото-серебрениками. Повсюду наблюдалось страстное, нетерпеливое стремление к об'единению. Повсюду об'единение рассматривалось не просто, как средство добиться повышения платы, сокращения рабочих часов или каких - либо иных материальных выгод, но как путь к свету, к знанию, к человеческому возрождению. Культурническая тенденция преобладала не только над экономической, но и над революционно-политической тенденцией.

Деятели молодого профессионального движения немного побаивались «политики». Во всяком случае, они не хотели, чтобы их работа стала предметом «использования» для революционных партий. Но социалистическую пропаганду, политическое вос-

питание массы путем лекций, брошюр, газет и т. д. даже умереннейшие профессионалисты считали одной из основных задач союзного об'единения.

Стремление к об'единению захватило в конце октября и такие профессиональные группы, которые до сих пор стояли весьма далеко от рабочего движения. В этом мне пришлось убедиться при обстоятельствах, о которых я расскажу здесь несколько подробнее.

* * *

Однажды меня вызвали на лестницу с заседания Совета Рабочих Депутатов. Товарищ из Петербургского Комитета с особо значительным видом спросил меня:

— Можете завтра, в 5 час. дня, выступить на митинге?

— Могу.

— Имейте в виду, дело ответственное и рискованное. Не забудьте, на всякий случай, взять с собою револьвер.

— А что это за митинг?

— Мы, собственно, не знаем хорошенько. Может быть, просто провокация... Подробности узнаете на предварительной явке.

— Да кто устраивает митинг?

— Околоточные.

— Кто?—переспросил я, думая, что ослышался.

— Чины полиции, околоточные надзиратели, пристава. У них что то там начинается. Просили

прислать агитаторов. Это очень важно. Комитет решил послать вас и Николая. Согласны ехать?

— Давайте явку[1]).

Явочный адрес оказался у чорта на куличках: Электрическая Станция на Обводном канале, спросить главного инженера.

В 4 ч. мы с Коноваловым были там. Нас провели в кабинет инженера. Сказали ему пароль. Инженер, притворив плотнее дверь и усадив нас в кресла, сказал:

— Я передал в Комитет приглашение, но и сам не знаю, в чем дело. Во всяком случае, я поеду с вами.

И вытащив из ящика стола маузер, он решительным движением засунул его за пояс брюк.

— Откуда у вас сведения о митинге? спросил я.

— У нас есть один служащий Трофимов, — так это от него.

— А что это за человек?

— Как вам сказать? Я его всегда считал черносотенцем. На икону собирать или царский молебен устраивать — всегда он первый. И с полицией свой человек. Впрочем, представьте, за последнее время полевел, — таким стал демократом...

---

[1]) Я был не слишком удивлен митингом чинов полиции, так как в 1905 г. было уже несколько выступлений этого рода: так, в январе, в период всеобщих забастовок, выступили с экономическими требованиями и с угрозой забастовки чины рижской полиции; в июне газеты сообщали о воззваниях, выпущенных «сознательными городовыми» Баку и Москвы; в октябре ходили слухи о вспыхнувшей (или подготовлявшейся) забастовке чинов полиции в Польше. В петербургском случае новым и оригинальным было лишь то, что чины полиции, устраивая митинг, обратились за ораторами в партийную организацию.

— Может быть, из шпиков произведен в провокаторы?

— Может быть! Вот, сами увидите.

И, позвонив, он приказал сторожу:

— Пришлите сюда Трофимова.

В кабинет вкатился человек средних лет, круглый, мягкий, с румяным улыбающимся лицом, с светлыми усами и бородой, — тип сахара-медовича.

— Из Комитета, сказал ему инженер, указывая на нас: От большевистской организации.

— Очень, очень рад, затянул нараспев Трофимов: а уж как гг. околоточные будут рады, и сказать невозможно. Теперь наше дело пойдет...

— Какое дело? спросил я

— Союз профессиональный! Союз околоточных надзирателей и полицейских чиновников! Давняя-с мечта лучших людей столичной полиции. Сегодня-с, господа, исторический день, — кладем первый камень фундамента.

— Где назначено собрание?

— Я провожу-с вас.

— Много будет народу?

— Человек пятьдесят.

— Только то? Ну, едем!

Но в это время инженеру доложили, что его спрашивают, и в кабинет вошли два человека. Мы узнали в них знакомых агитаторов-меньшевиков: один из них был тов. Мирон (Хинчук), имени другого я не помню.

Мирон заявил нам:

— Мы от Петербургской Группы. Дело не фракционное, — давайте сговоримся об общем выступлении.

Я заметил:

— Не много ли будет ехать вшестером? Собрание то маленькое!

— Хорошо, согласился Мирон, поделимся. Поедем вдвоем, — один от вас, другой от нас.

Но Коновалов восстал против такого решения вопроса.

— Дело, говорил он, трудное. Мы с тов. Сергеем Петровым вместе поедем.

Тогда Мирон сказал:

— Ладно, вы первые получили явку, — связь, собственно говоря, ваша... Поезжайте! Но обещайте, что не будете вести фракционной политики и не будете стараться захватить союз в свои руки!

Получив торжественное обещание, меньшевики удалились, а мы четверо — инженер, Трофимов, Николай и я — двинулись в путь.

Трофимов кликнул извозчика и дал ему адрес:

— Аничкин мост!

У моста он отпустил извозчика и повел нас по Невскому, по направлению к Адмиралтейству. На своих коротеньких ножках он так быстро катился вперед, что мы едва поспевали за ним. Вдруг он юркнул куда то вниз, в подвал. Я за ним. Смотрю, винный погреб. Трофимов бросил взгляд вокруг, заглянул в соседнюю комнату, и — к стойке:

— Полиция где?

— В Караванную гостиницу перешли-с, отвечал сиделец: Здесь им что-то не приглянулось.

Вышли на Невский, прошли несколько шагов, свернули на боковую улицу и вошли, вслед за Трофимовым, в под'езд гостиницы.

— Где полиция?

— Уже все в сборе, отвечал малый в белом фартуке: Вас поджидают, велели провести.

Вел он нас по бесконечным корридорам, по каким то лестницам, то вверх, то вниз.

— Конспирация! шепнул я Николаю.

Тот кивнул головой:

— Да, народ основательный.

Наконец, остановились перед запертой дверью.

— Сюда пожалуйте.

Малый деликатно, по-особенному, постучал в дверь. Мы вошли: Обыкновенный гостиничный номер. Огромная двуспальная кровать с пологом. Два окна на улицу. Зеркала и олеографии на стенах. Почти все пространство от кровати до окон занято длинным столом. Кругом него люди в полицейских мундирах, все при шашках. Лица серьезные, напряженные.

Трофимов петушком подлетел к сидевшим поближе, у двери.

— Вот и мы... Гг. вольные не отказались помочь нашему делу... От Петербургского-с Комитета, от большевиков...

В ответ ледяное:

— Присаживайтесь, господа.

Мы сбросили на кровать верхнее платье и заняли указанные нам места, — я и Николай друг против друга в глубине стола, у окна, инженер и Трофимов на противоположном конце, у кровати.

Молчание. Наконец, один околоточный, маленький, щупленький, с бритой бородой и длинными рыжими усами, обратился к нам:

— Гг. вольные! Извините-с за беспокойство, но наше положение особое, — позволю вам доложить,

— как чиновник государственной службы. И очень у нас строго... А как мы не имеем удовольствия знать вас, то разговаривать нам не безопасно. Так что, будьте любезны, ваше имя—отчество, фамилию и местожительство.

Сидевший рядом со мной человек с интеллигентным лицом, в серебряных погонах (как я потом узнал, помощник пристава), поморщась, заметил:

— Это совершенно лишнее.

Но Николай уже вынул свою визитную карточку и положил на стол. Я последовал его примеру. Карточки пошли по рукам. Иные из околоточных, прочитав наши имена, любезно улыбались и обращались к нам:

— Очень приятно познакомиться.

Другие молчали. «Митинг» явно не клеился. Наконец, толстый, грузный человек, сидевший у самой двери, произнес решительно:

— Дозвольте мне высказать...

На него замахали руками:

— Молчи лучше. Что ты, Сафронов, скажешь?

— То я скажу, что у всех нас на душе. Дайте сказать!

— Ну, говори.

Сафронов поднялся.

— Вот, господа, мы собрались, наконец. И гг. вольные с нами. А разговор у нас не идет. Почему это? А потому, что нужно каждое дело по порядку делать. Правильно я говорю? Порядок, прежде всего! Значит, сперва нужно выпить, потом закусить, а уже напоследок, когда мы гг. вольных лучше узнаем и гг. вольные к нам привыкнут, — напоследок будем разговаривать.

— Правильно! зашумели околоточные.

— Ай-да Сафронов! В самую точку попал.

Оратор скромно сел. Вызвали полового. Долго совещались относительно вин и закусок. Наконец, решили:

— Тащи всего, что есть.

На столе появились три огромных подноса, — один с бутылками всевозможных калибров и цветов, два другие с закусками. Появились также рюмки, стаканы, тарелки. Сперва пили и ели молча. Затем мой сосед в светлых погонах сказал:

— Ну, господа, пора приступить к предмету собрания. Г. Лисевич, потрудитесь доложить.

Околоточный с рыжими усами прокашлялся и, оправив мундир и шашку, начал:

— Гг. вольные! Мы — чиновники государственной службы и должны соответствовать своему назначению. А жалованье нам положено самое маленькое, так что жить нам, прямо заявляю вам, невозможно. Вот я про себя скажу: я человек образованный, — «Биржевые Ведомости» читаю, жена моя на рояли играет, дочка в гимназию бегает. А на сорок рублей в месяц разве это возможно? Ну, комнату в квартире сдаю, жильца пустил и, простите, сам же ему самовар ставлю и ботинки чищу. Это на государственной службе! Чиновник! А у других и того хуже бывает, когда детей много... Что же тут греха таить, что иные из нас со стороны пользуются, то есть, берут благодарность...

— Ты то сам не берешь? буркнул чей то недовольный голос.

Но Сафронов добродушно заметил:

— Чего там? Все берем. На жалованье разве проживешь? Смех, право!

Лисевич продолжал:

— Жалование — это первая статья, а есть еще и другие обстоятельства обозначенные. Думали, думали мы, — решили за себя постоять. Союз, что ли устроить или совет депутатов?.. А затем петицию к самому генералу![1]) Только за дело приняться мы не умеем, и потому, гг. вольные, на вас вся надежда, — научите, как быть!

Я ответил, что идея создания союза чинов полиции представляется мне вполне разумной, что за границей такие союзы существуют давно, что полицейские, по своему матерьяльному положению, принадлежат к неимущему населению и должны идти рука об руку с другими группами трудящихся.

Моя речь (особенно ссылка на Европу) понравилась: со всех сторон потянулись рюмки, — спешили чокнуться со мною и выпить за мое здоровье, — этот жест заменял здесь аплодисменты заводских митингов.

Николай предложил приступить к выработке новых окладов жалованья.

— Предлагаю, сказал он, положить околоточным 200 р. в месяц.

Послышались возражения:

— Много! Этак генерал с нами и разговаривать не станет.

После долгих споров установили, что при поступлении на службу околоточный должен получать 50 р. (или, может быть, 60 р. — не помню точно цифры, но помню, что она была довольно скромная).

---

[1]) «Генералом» околоточные называли Трепова.

Затем за каждые три года «беспорочной» службы — прибавка (не то 5, не то 10 р. в месяц).

Лисевич снова взял слово:

— Теперь к другой статье можно перейти: на счет погон и лампасов.

И он об'яснил нам, что околоточные, состоя на государственной службе, имеют право на погоны чиновничьего образца со звездочками, а вместо этого их заставляют носить «ни то, ни се, чорт знает что». Равным образом, и установленную форму штанов околоточные считают унизительной для своего достоинства.

Я предложил эти вопросы, как второстепенные, отложить к концу, но в собрании поднялся шум:

— После жалованья это самая главная статья.

Мой сосед шепнул мне:

— Народ у нас темный, с ним время нужно. Не настаивайте...

Я последовал разумному совету. Перешли к следующему вопросу.

— Больное место полицейского дела, докладывал Лисевич, это личности, не соответствующие своему назначению и позорящие честь мундира. А откуда такие личности? Назначают к нам неизвестно кого. Офицер, простите за выражение, проворовался, — его бы в арестантские роты следовало, а ему дают назначение в полицию. И выходит, дела он не знает, распорядиться не может, а власть свою показывает, а ты тянись перед ним. Через это нашему брату ходу нет, хотя весь порядок в столице на нас, на околоточных, только и держится.

Записали требование: «Помощники приставов и пристава должны выбираться из числа околоточных, зарекомендовавших себя беспорочной службой, обладающих служебным опытом и пользующихся доверием и уважением населения».

Я предложил распространить это правило и на высшие полицейские должности, вплоть до полицеймейстера, но последовало возражение:

— На это генерал никак не согласится, — и разговаривать не станет.

Сделали перерыв и с удвоенной энергией налегли на бутылки. Языки развязались. Беседа стала более шумной, говорили все сразу.

Трофимов, со слезами умиления на глазах, произнес речь:

— Уж как хорошо, господа! Так хорошо оно вышло, что сказать не могу! Давно ли гг. социалисты на полицейских, как на врагов, смотрели? Давно ли полиция про гг. социалистов только плохое и думала? А теперь! Вместе, за одним, можно сказать, столом... Пьем, закусываем, разговариваем, всю нашу жизнь рассказываем. Теперь через гг. социалистов мы в люди выйдем, всех наших прав добьемся...

Кто то перебил его робким вопросом:

— А что мы скажем, если сюда сам пристав или кто еще постарше заявится?

Сафронов ответил:

— Скажем, что полиция гуляет. Оно нам не заказано!

— А на счет гг. вольных как об'ясним?

Наступило смущенное молчание. Коновалов вывел собрание из затруднения:

— Скажете, что знакомых шпиков из Охранного Отделения пригласили для компании!

Как мог бы я поверить в эту минуту, что когда-нибудь узнаю, что этот человек, действительно, был охранником!

Возобновили прерванную работу, — принялись вырабатывать дальнейшие требования.

Я предложил околоточным отказаться от участия в политических обысках. Голоса в собрании разделились.

Одни говорили:

— Гоняют по ночам, неизвестно куда, спать не дают. Не наше это дело, раз мы — городская полиция.

Но Лисевич возразил:

— Нельзя, господа, все сразу. Что генерал скажет? Прибавки, скажет, требуют, а от работы отказываются. Сдурели, скажет, мои околоточные. И разговаривать не станет.

Коновалов поддержал его:

— Я тоже считаю, что от службы отказываться нельзя!

Я решил, что Николай выпил сверх меры, и, наклонившись к нему через стол, тихо, но решительно сказал ему:

— Вы пьяны и не понимаете, что говорите. Молчите! Если вы скажете еще хоть слово, я встану и уйду.

Коновалов рассмеялся и также шопотом ответил:

— Хорошо, я вмешиваться не буду... Только вы психологии ихней не понимаете... А если я выпил, так это даже лучше для дела.

И он снова налил себе.

Окружающие, повидимому, не заметили нашей стычки. Но мое предложение относительно обысков отклонили.

В список требований внесли пункт об отказе от собирания собачьего налога и от распространения «Ведомостей Градоначальства».

Затем, составили обращение ко всем околоточным столицы с призывом об'единяться и записываться в союз. В начале воззвания говорилось о борьбе рабочего класса за свои требования и о том, что рабочие явили всем русским гражданам пример сплоченности и сознательности. С большим сочувствием вспоминались также заслуги Совета Рабочих Депутатов.

Воззвание это было написано моей рукой, но, по справедливости, моя роль в создании этого документа была не велика: я лишь записывал то, что предлагали околоточные, при чем старался сохранить не только их мысли, но и форму выражения.

Когда покончили с этим делом, кто-то из околоточных предложил:

— Нужно бы еще одно воззвание выпустить, — ко всему населению. Пусть все знают, что мы — люди, а не черная сотня.

— Это верно! послышалось со всех сторон.

— Скажите, господа, обратился я к собранию, верно ли, что градоначальство заставляет вас распространять погромные воззвания?

— Только «Ведомости»! ответил за всех Лисевич: Может быть, там есть что погромное, —мы этой газеты не читаем, а больше «Биржевку» или «Листок».

Да никто «Ведомостей» не читает, — кому охота время терять?

Другой околоточный об'яснил мне:

— Бывает, пьяный к тебе подойдет,—ну, дорогу спрашивает, или что в этом роде. Ты ему раз'ясняешь, а прохожие видят, околоточный с обывателем говорит, вот про себя и соображают: «О чем это полиция разговаривает? Не иначе, как погром готовят!» Очень это нам обидно.

Под хор жалоб на незаслуженное недоверие со стороны населения я принялся писать проект воззвания.

— Вставьте о назначении полиции в свободном государстве, шепнул мне мой сосед, помощник пристава.

Составленное мною воззвание было принято восторженно. И окрыленный успехом, я предложил ввести в список требований новый пункт: об из'ятии полиции из ведения градоначальства и о безраздельном подчинении ее демократическому городскому самоуправлению.

— Это лучший путь завоевать доверие населения! уверял я.

Сафронов поддержал меня:

— Опять же и спокойнее будет, работы сразу убавится на половину.

Возражающих не оказалось.

В заключение обсудили вопрос о возможности забастовки петербургской полиции в поддержку выработанных требований. Собравшиеся считали забастовку возможной, — но только не сразу, а после подготовки. Просили меня и Николая позаботиться, чтобы левые газеты побольше писали

14*

о тяжелом положении полиции. В частности, просили опубликовать выработанные требования и воззвание к населению.

Снова и снова горячо благодарили нас, и на этом мы расстались.

Я хотел, было, уплатить нашу долю за угощение, но околоточные запротестовали:

— Что вы? Вы наши дорогие гости! А с хозяином у нас свои счеты.

Из гостиницы я отправился на комитетскую явку и дал там подробный отчет о проведенном «митинге». Вечером у меня было какое-то собрание, и домой я вернулся лишь поздней ночью.

Дома прислуга встретила меня тревожным сообщением:

— К вам полиция приходила.

— Какая полиция?

— Два околоточных. Очень беспокоились, что дома вас не было. Записку оставили.

На столе в моей комнате лежал клочок разграфленного бланка (помнится, предназначенного для сбора собачьего налога), на нем были написаны карандашом следующие строки:

«Господин Войтинский, ради Бога, никому не говорите ничего и не пишите в газеты, что было между нас. Иначе мы все погибли. С совершенным почтением

Лисевич
Сафронов».

Так кончилась попытка об'единения чинов петербургской полиции.

Больше я не встречал никого из моих знакомых по Караванной гостинице.

Но в 1906 г. одному моему товарищу из Совета Безработных[1]) пришлось идти через город, из одного участка в другой, под конвоем двух околоточных. И один из конвоиров пустился с ним в разговоры:

— Эх, скоро же свобода кончилась, сокрушался он: А как хорошо было в первые-то дни! Даже мы, полиция, и то людьми себя почувствовали... Эх, не поверите вы, господин, собрание у нас было, социалисты из комитета приезжали! Так оно было хорошо на душе, — лучшего дня за всю жизнь я не припомню. И вот, поди-ж ты, все прахом пошло...

* * *

Первая всеобщая забастовка закончилась в Петербурге 21-го октября, в полдень. А 2-го ноября началась уже новая забастовка. Короткий промежуток между обеими датами был необычайно насыщен событиями. Важнейшим из этих событий была неожиданная вспышка борьбы за 8-часовый рабочий день.

В 20-х числах октября целый ряд заводов и фабрик принял решение: работать лишь 8 часов.

Проводилось это решение самым простым способом. Работы начинались установленным на заводе порядком, — по гудку или по звонку. Так же проводился и обеденный перерыв. Но, отработав

[1]) Не помню его имени.

8 часов, рабочие складывали инструмент и расходились по домам, не заботясь о том, как будет реагировать на их уход контора.

Таким образом, каждый рабочий день как бы заканчивался забастовкой: завод был открыт, администрация и технический персонал оставались на своих местах, а рабочих не было, машины и станки бездействовали.

В первые дни заводская администрация придерживалась выжидательной тактики: сдельщикам записывали выполненную ими работу, поденщикам отработанные 8 часов отмечались, как $^4/_5$ полного рабочего дня. Но долго держаться такое положение не могло. С одной стороны, оно неизбежно вело рабочих к борьбе за повышение расценок, с другой стороны, хозяева не могли примириться с водворившейся на заводах «анархией». Таким образом, «захват» 8-часового рабочего дня революционным путем не разрешал проблему, но лишь ставил ее, и при том в весьма невыгодной для рабочих форме.

К предстоящей борьбе петербургский пролетариат не был подготовлен. Рабочие массы в это время переживали высокий моральный под'ем, были опьянены — не свободой, как уверяли правые газеты, а сознанием величия своего исторического призвания, сознанием подвига, совершаемого во имя освобождения всего народа. Из их среды выделилась фаланга смелых, беззаветно преданных делу руководителей. Но все это не могло заменить прочную организацию и тот опыт, который приобретается рабочими лишь в школе профессионального движения.

Совет Депутатов был крайне примитивной формой об'единения, этот орган, — собственно говоря, об'единявший заводские митинги и зачастую готовый сам превратиться в митинг, — мог успешно формулировать желания рабочей массы, но не был в состоянии указать ей пределы достижимого, не был в состоянии сдержать и направить ее порыв. Исполнительный Комитет Совета, где главную роль играли партийные деятели-интеллигенты, несколько раз пытался принять на себя эту роль, — но это ему не удавалось: его благоразумные советы заглушались горячими речами депутатов, принесших прямо с фабрик и заводов свой энтузиазм борьбы.

Так произошло и с революционным введением 8-часового рабочего дня.

Эта кампания, закончившаяся разгромом рядов пролетариата, была с самого начала безнадежна. И, казалось бы, опыт западно-европейского рабочего движения давал достаточно указаний, чтобы предвидеть этот исход ее. Но разве опыт Запада не говорил нам, что всеобщая забастовка без длительной подготовки невозможна? разве мы сами не твердили это на десятках митингов? А, вот, всеобщая забастовка пришла, и революционный инстинкт пролетариата оказался вернее нашего предвидения!

Мысль о захватном введении 8-часового рабочего дня была подсказана рабочей массе не социалистическими партиями, не Советом, не заводскими депутатами, а самой психологией всеобщей забастовки.

«Раз мы могли остановить всю жизнь в стране, неужто не в нашей власти закрывать наш завод не в 7, а в 5 ч. вечера?» рассуждали рабочие.

Одержав победу на арене политической борьбы, рабочая масса склонна была преувеличивать свои силы и преуменьшать трудности задач в области экономических отношений.

В течение недели, протекшей после окончания октябрьской забастовки, число фабрик и заводов, установивших у себя 8-часовый рабочий день, непрерывно возрастало.

И когда, 29 октября, вновь собрался Совет Рабочих Депутатов, доклады с мест дали ослепительную картину победоносного шествия пролетариата вперед, к осуществлению его программы-минимум.

Только и слышалось:

— Работаем 8 часов, настроение хорошее.

— Ввели революционным путем 8-часовый день. Наш либерал злится, да ничего сделать не может.

Рядом с этим раздавались голоса о том, что выработка сократилась, что нужно пересмотреть и повысить расценки.

Совет вынес резолюцию:

«Совет Рабочих Депутатов приветствует тех товарищей, которые революционным путем ввели у себя на заводах 8-часовый рабочий день.

«Совет Рабочих Депутатов считает, что повсеместное введение 8-часового рабочего дня требует соответствующего увеличения расценок, дабы заработная плата осталась, по меньшей мере, на прежнем уровне.

«Совет Рабочих Депутатов постановил: всем отставшим заводам и фабрикам с 31 октября примкнуть к борьбе за 8-часовый рабочий день, вводя

го на всех заводах и фабриках революционным путем».

Это постановление было принято общим собранием совершенно неожиданно: вопрос не стоял в порядке дня, не обсуждался предварительно в Исполнительном Комитете, и даже доклада по нему не было представлено. Ответственнейшее решение было вынесено почти мимоходом, по поводу заслушанных сообщений с мест.

Заработная плата должна остаться, по меньшей мере, на прежнем уровне! Значит, естественно добиваться ее повышения. Борьба за сокращение рабочих часов усложнялась, таким образом, борьбою за повышение платы, в эту борьбу вовлекался весь петербургский пролетариат, — и это в то время, когда ни одна из завоеванных им политических позиций не была закреплена, когда победа, одержанная им всего лишь несколько дней тому назад, в любой момент могла оказаться призрачной и смениться поражением!

О, немного требуется ума, чтобы задним числом критиковать это решение и на основании его выносить приговор Совету, который в этот час лишь отразил волю той массы, плотью от плоти которой он был.

Но я хочу отметить, что уже тогда среди рабочих были люди, которые чувствовали, что начинающаяся кампания не приведет к добру. Когда резолюция была принята при шумном энтузиазме собрания, неожиданно раздался из рядов депутатов горестный возглас:

— Что же мы это делаем, товарищи? С самодержавием не покончили, а уже за капитализм принимаемся?

Эту тревогу разделяли почти все интеллигенты, входившие в Совет или стоявшие близко к нему. Но движение шло стихийно, остановить его не было возможности, приходилось думать лишь о том, чтобы внести в него возможно большую планомерность и стройность...

Казалось, что принятая Советом резолюция разрешает эту задачу.

* * *

Другим знаменательным событием в последовавшие за октябрьской забастовкою дни было выступление черной сотни.

«Истинно-русские люди» начали свои подвиги значительно раньше: в течение всего 1905 г. погромы в России шли почти непрерывной чередою. Но после 17 октября это движение необычайно усилилось: в течение одной недели было зарегистрировано свыше 100 погромов, с тысячью убитых и зверски замученных, с тремя тысячами тяжело раненых.

Зашевелилась черная сотня и в Петербурге. Оживилась деятельность «Союза Русского Народа» в пригородах. Выплыло «Общество борьбы с революцией и анархией». Появилась еще какая то шайка, называвшая себя «Каморрой Народной Расправы».

Шли слухи о подготовляющемся поголовном истреблении деятелей революционного движения.

Ходили по рукам списки лиц, которые должны быть убиты в первую очередь[1]). В различных частях города рабочие и студенты подвергались нападению, — убитых, насколько помню, не было, но были тяжело раненые. Устраивались патриотические манифестации—правда, довольно жидкие — с царскими портретами и револьверными выстрелами.

Но все это были лишь первые робкие шаги. Ожидалось более решительное массовое выступление.

В чем должно было выразиться оно?

Шли слухи о готовящемся погроме.

Я говорил уже о том, как 22 октября, из-за опасения погрома, Совет Рабочих Депутатов отменил назначенные на 23-ье число похороны товарищей, убитых в день опубликования манифеста.

Но после этого слухи о предстоящем погроме продолжали ползти по городу. В заводских районах какие то банды по ночам нападали на проходивших в одиночку передовых рабочих, избивали их до потери сознания. На заводах встал вопрос о самообороне, о вооружении.

Огнестрельного оружия у рабочих почти что не было и достать его было неоткуда. Решили обойтись холодным оружием.

Погрома ожидали почему то на воскресенье, 30 октября. И вот, 29-го октября на ряде металлических заводов началась работа: оттачивали железные пики, ковали кинжалы, ножи, готовили

---

[1]) Один из таких списков начинался с членов нашей агитаторской коллегии. Я лично относился очень скептически к подлинности этих списков и теперь думаю, что они были плодом мистификации или же проявлением черносотенного озорства какой-нибудь компании, не собиравшейся приводить в исполнение свои угрозы.

кистени. Одновременно формировались боевые десятки, выбирались начальники дружин, намечались штабные квартиры, устанавливались связи, — шла организационная подготовка самообороны. Особенно энергично шла эта работа в Невском районе. Семяниковцы отправляли пики и на сторону, на фабрики Охты и Выборгской стороны. Подготовка велась настолько энергично, что, еслибы 30 октября начался где-либо в городе погром, рабочие смогли бы выставить против громил не меньше 10—12 тысяч человек, вооруженных холодным оружием, и несколько сот человек с револьверами и охотничьими ружьями. Но еще важнее было то, что начало погрома явилось бы сигналом к выступлению на улицы всех рабочих столицы[1]).

На вечернем заседании 29-го октября Совет Депутатов, как главный штаб противопогромных сил, принимал донесения о принятых в районах мерах.

* * *

---

[1]) Впоследствии в социалистических кругах установилось представление, что в конце октября Совет спас петербургское население от ужасов погрома, который подготовлялся полицией.

Это и верно, и неверно.

Полиция, в лице Трепова, и правительство, в лице Дурново, несомненно, организовывали в Петербурге погромные силы. Но, может быть, не только пики и кистени рабочих заставили их отказаться от мысли об «активном выступлении».

В городе, где нет еврейских кварталов, где все переполнено чиновниками, где, целя в «жида», рискуешь угодить в его превосходительство или в иностранного подданного, в таком городе устроить погром не так легко, как в Кишиневе, Гомеле или Кременчуге. И, повидимому, Трепов и Дурново поняли это, — ибо они не пытались устроить

Это было одно из самых торжественных, самых праздничных заседаний Совета.

Обширный зал Соляного Городка был уставлен простыми деревянными лавками. На них сидело 280 рабочих депутатов. По бокам и сзади толпились «гости», — среди них сотни товарищей, освобожденных 21-го из тюрем по амнистии. Впереди, на высокой эстраде, за зеленым столом Исполнительный Комитет с Хрусталевым-Носарем во главе.

В начале собрания — бурный, но быстро улаженный инцидент по поводу предложения Кнунианца о «выяснении политической физиономии Совета». Затем, начинаются доклады с мест.

Металлисты подробно, с гордостью рассказывают, как готовили они оружие. Тут же демонстрируют пики, кинжалы и кистени, принесенные из районов для образца. Сообщают, сколько где сорганизовано боевых дружин, какие установлены караулы.

Может быть, в этих докладах была немалая доля самообмана и увлечения. Но нельзя было без глубокого сердечного волнения следить за бесхитростными рассказами о том, как вооружаются пиками и ножами тысячи рабочих, готовые с этим слабым оружием двинуться против солдатских шты-

---

погром в Петербурге и тогда, когда торжество реакции развязало им руки.

Поэтому попытку вооружения петербургских рабочих я склонен оценивать не с точки зрения ее непосредственных результатов, а как проявление того боевого энтузиазма, которым горели в эти дни пролетарские сердца.

Сверчков в своей книге «На заре революции» (стр. 122) приписывает Лопухину заявление, что погром в Петербурге не состоялся исключительно благодаря мерам противодействия, принятым Советом Рабочих Депутатов. Насколько мне известно, такого заявления Лопухин не делал.

ков, чтобы не допустить в городе черносотенного погрома.

Доклады были прерваны сообщением председателя, что на собрание прибыли вернувшиеся в Россию из невольной эмиграции основатели русской социал-демократии — Вера Ивановна Засулич и Лев Дейч.

Будто электрический ток пробежал по залу. Все депутаты поднялись со своих мест. Вера Ивановна, повидимому, не ожидала торжественной встречи. Она пришла на собрание послушать речи, посмотреть на Совет, и теперь стояла в дверях, смущенная, сконфуженная, в нерешительности, идти ли дальше.

При громе аплодисментов, ее подхватили под руки, повели, почти понесли к эстраде, усадили рядом с председателем. Депутаты опустились на свои места, потом поднялись вновь, продолжая восторженно аплодировать. Лица у всех умиленные, у многих слезы на глазах.

Двое товарищей из Исполнительного Комитета подошли к Вере Ивановне и наклонились к ней. Старушка отрицательно качала головой, прижимая руки к груди.

Сразу догадались, что Исполнительный Комитет предлагает Вере Ивановне взять слово. Послышались крики:

— Просим! Просим!

Засулич выступила вперед, сказала несколько слов трогательно-простых, почти несвязных.

— Милые! обратилась она к рабочим.

И это слово, употребленное вместо привычного обращения «товарищи», вызвало такую бурю во-

сторга, что мало кто мог расслышать, что еще хотела сказать Вера Ивановна.

Затем от имени исполнительного Комитета говорил Троцкий. От лица рабочих приветствовал дорогих гостей Петр (с Франко-Русского завода). Взял слово Дейч, — но его не было слышно за шумом всеобщего ликования...

Наверное, мало кто из присутствовавших рабочих знал, кто такие Вера Засулич и Лев Дейч. Но для всех вернувшиеся из долголетнего изгнания старые борцы были бесконечно дорогим символом, — символом одержанной пролетариатом победы, символом совершенного подвига.

Долго не утихал в зале шум радостного возбуждения. Наконец, председатель предложил собранию вернуться к порядку дня:

— Борьба еще не кончена, напомнил он депутатам: У нас еще много работы.

Заседание возобновилось. На председательском месте тесной группой сидели: Хрусталев, Вера Засулич и Троцкий.

Опять потянулись доклады из районов. Теперь вопрос шел о заводах, установивших революционным путем 8-часовый рабочий день.

Могли ли сомневаться депутаты, что это — такой же показатель силы рабочего класса, как освобожденные из тюрем политические заключенные, как вернувшиеся на родину эмигранты? Могли ли они предвидеть ожидавшие их в столь близком будущем разочарования и поражения?

В этой обстановке и была принята приведенная выше резолюция о присоединении всего петербург-

ского пролетариата к кампании за 8-часовый рабочий день.

* * *

После заседания Совета ко мне подошел один из депутатов Семяниковского завода:

— Товарищ Петров, завтра с утра у нас большой митинг. Просим вас участвовать.

— Хорошо.

— Так идемте вместе на завод. Оно будет и удобнее, и безопаснее, — у нас за заставой хулиганы пошаливают: если один поедете, могут обидеть.

Вышли из Соляного Городка кучкой, человек 15—20, все депутаты Невского района. Решили до Знаменской площади идти пешком, а там взять паровичок, по Шлиссельбургскому шоссе.

Шли дружно, весело болтая. Впереди шагал Николай Клемницкий, огромный, плечистый, с каким то длинным пакетом, похожим на зонтик, в руках. Подле него, едва поспевая за ним, двигалась крошечная женская фигура, вся в черном.

— Кто это? спросил я депутатов.

— Это Вера Ивановна, с гордостью ответил мне семяниковец: к нам на митинг!

У меня было чувство большого уважения и нежности к Вере Засулич. Явилось желание подойти к ней, сказать ей несколько слов. Но законфузился и удержался от первого движения.

У Знаменья паровичка не оказалось, — мы пришли слишком поздно.

Клемницкий предложил:

— Идем пешком. Не отставай, товарищи!

Он сдернул газету со своего пакета, — там оказался не зонтик, а небольшой карабин, — и мы пошли дальше по безлюдной, безмолвной улице. Шли не по тротуару, а посреди мостовой, опасаясь нежданного нападения из подворотни.

За Александро-Невской Лаврой углубились в полную темноту. Тут дорога шла мимо пустырей и каких-то амбаров.

— Самое плохое место! сказал один из рабочих, доставая револьвер из кармана.

Вдруг раздался окрик:

— Стой! Кто идет?

— Свои! отвечал Клемницкий.

Из прохода между двумя амбарами выступила на шоссе группа вооруженных пиками рабочих. Один из депутатов, социалист-революционер Берг, выбранный накануне начальником рабочих дружин Невского района, подошел к ним:

— Ну, что у вас тут?

— Пока тихо.

— Все на местах?

— Все. А у вас как там, в Совете?

— Хорошо все. Долго рассказывать. Завтра на митинге доложим.

Мы пошли дальше. Вера Ивановна еле двигалась от усталости, но не жаловалась и старалась не отставать. Клемницкий предложил ей:

— Дозвольте, товарищ, я понесу вас.

Засулич отказывалась.

— Ей-Богу, не тяжело мне будет, настаивал Клемницкий: и не далеко осталось. Дозвольте только...

Но Вера Ивановна не сдавалась. На счастье, попался навстречу извозчик, — что в этих местах, и в ночную пору, большая редкость. Остановили его.

— К Семяниковскому заводу!

— Да я домой ворочаюсь. Лошадь не кормлена.

— Чего там, домой поспеешь. Поворачивай!

«Ванька», немного перетрусив, поворотил лошадь. Посадили в пролетку Засулич, с ней сел рабочий, предложивший ей свою квартиру для ночевки. А мы продолжали путь пешком.

Спать меня отвели к какому то технику или конторщику. Утром я немного задержался у него с чаепитием, и когда пришел на завод, рабочие уже были в сборе.

Огромная мастерская-верфь над Невой. Масса света льется сквозь стеклянные боковые стены. Посредине высокий помост, обитый кумачем. Над помостом два знамени: старое, общезаводское и новое, боевой дружины завода. Подле второго знамени два парня: у одного на плече блестящая, новенькая стальная секира; у другого — столь же блестящий меч, — такой большой и тяжелый, что он был бы по руке лишь какому-нибудь сказочному великану. Эмблемы заводской дружины, выкованные накануне на страх врагам! Над толпой там и сям красные флаги с лозунгами.

Впрочем, я уже описывал заводские митинги этого периода... Данный митинг отличался лишь большей торжественностью и тем, что на нем не было обычной партийной полемики.

Был заслушан отчет депутатов о последние за-

седании Совета. Берг сделал доклад об организации дружин[1]).

Я стоял в толпе, у трибуны, когда протискалась к помосту группа товарищей, окружавшая Веру Засулич.

— Подымитесь на трибуну, товарищ! уговаривали Веру Ивановну: Оттуда лучше видно.

Засулич нерешительно ступила на первую ступеньку лестницы, ее подхватили под руки и почти насильно подняли на помост.

Появление на ораторской трибуне седенькой старушки было сразу замечено толпой. Заметили, с каким почтением наклонился к ней Клемницкий, как теснились к ней партийные товарищи.

— Кто это? спрашивали рабочие.

Один из меньшевиков дернул за рукав председателя:

— Николай! Представь Веру Ивановну собранию.

— Товарищи! крикнул Клемницкий своим могучим голосом: Вот стоит перед вами Вера Ивановна Засулич! Да!

По лицу и по голосу председателя все поняли сразу, что присутствие здесь, среди них, этой старой женщины с черной сумочкой в руках, — большой праздник, большая честь для завода.

— Ура! прокатилось над толпой.

Загремели аплодисменты.

И чей то голос спросил с любопытством:

— А кто она?

---

[1]) Этот Берг — один из осужденных по московскому процессу социалистов-революционеров в 1922 г.

15*

— Расскажи, что сделала Вера Засулич! подсказывал меньшевик Клемницкому.

— Товарищи! снова провозгласил председатель: Вот перед вами Вера Ивановна Засулич, которая... которая...

И остановился в смущении, не зная, что сказать: он и сам не знал, что сделала Вера Засулич, и почему дорога она пролетариату, и за что нужно любить ее.

Меньшевик поспешил на выручку, об'яснил Николаю, что нужно сказать. Наклонившись к нему, Клемницкий слушал, качая головой, широко, ласково улыбаясь и товарищам, и утиравшей слезы умиления старушке. Затем, шагнув вперед, протянув руку над толпою, он начал:

— Товарищи, вот это и есть среди нас, Вера Ивановна Засулич, которая в молодости...

Но то, что говорил ему товарищ-меньшевик, уже вылетело из головы Николая. Он еще раз взглянул в лицо Веры Ивановны и закончил:

— ...которая в молодости была очень красива.

Снова гремели аплодисменты, снова неслось восторженное «ура». Толпа сердцем угадывала то, чего не смог об'яснить словами ее председатель...

* * *

В то время, как в рабочих кварталах Петербурга шла подготовка дружин самообороны и загоралась борьба за 8-часовый рабочий день, в нескольких верстах от столицы, в Кронштадте, происходили события, которым суждено было сыграть

роковую роль в дальнейшем течении российской революции. Я говорю о матросском бунте.

Трудно восстановить отчетливую картину этого бунта.

По рассказам кронштадтцев, выступавших в Совете Рабочих Депутатов, дело рисуется в таком виде.

Брожение среди матросов началось давно. Причины его были обычные: тяжелое положение нижних чинов, бездушная, жестокая дисциплина, проникавшие извне отголоски революционной борьбы народа за свободу и за лучшие условия жизни, — и, разумеется, гибель Балтийской эскадры под Цусимой.

Но партийная пропаганда, если и велась в Кронштадте, то крайне слабо, — массы она, во всяком случае, не коснулась и заметного влияния на ход событий не оказала.

23 октября собрался на Якорной площади митинг матросов. Решено было обратиться к царю с петицией. Тут же выработали текст петиции, — записывали то, чего требовали из толпы отдельные голоса:

Вот текст этой петиции, как передавала ее большевистская «Новая Жизнь»:

«1. Согласно дарованному манифесту, матросы являются российскими гражданами; как таковые, они имеют право собираться и обсуждать свои дела. Если военным неудобно собираться на площадях, пусть им отведут манеж.

«2. Сократить срок службы.

«3. Жалованье не менее 6 рублей в месяц.

«4. Выдавать хорошую обмундировку и хорошую пищу, а то приходится чуть ли не круглый год одеваться на свои деньги.

«5. Матросы должны по своему усмотрению располагать свободным временем. Теперь же, как крепостные, — обо всем просить разрешения приходится.

«6. Беспрепятственная доставка вина, так как матросы — не дети, опекаемые родителями.

«7. Военные должны иметь доступ на все частные собрания. Теперь же они в этом стеснены. Например, в одном сквере есть надпись: «вход с собаками запрещен». И тут же внизу: «матросам и солдатам вход воспрещен». А между тем, они — «защитники отечества», исполняют трудную службу и в тоже время наравне с собаками поставлены».

Одновременно с петицией, была выработана еще своего рода матросская программа:

«1. Уничтожение сословий, чтобы все были равны;

«2. Свобода религии;

«3. Неприкосновенность личности, а то придут, схватят матроса и без защиты посадят;

«4. Образование на родном языке;

«5. Свобода слова. Ведь военные низшие чины только и могут говорить: «точно так», «никак нет» и «есть». Они должны иметь право и с начальством, и везде говорить открыто и что хотят».

Здесь же на митинге было принято решение «бороться вместе с народом за полное народовластие и за свободу».

26 октября в одном из крепостных батальонов вспыхнули беспорядки — точь в точь как на «По-

темкине Таврическом», — из за червей в солонине. К вечеру «зачинщики», в числе около 100 ч., были арестованы и отправлены в форт, превращенный в военную тюрьму. По дороге вагон был задержан толпой солдат и матросов, и арестованные были освобождены. Это послужило сигналом к общему восстанию флотских экипажей и артиллеристов.

В руках восставших оказался весь город. Офицеры и начальствующие лица были арестованы.

Но никакого плана у восставших не было. Они не подумали ни о том, чтобы закрепить свою неожиданно легкую победу, ни о том, чтобы связаться с частями петербургского гарнизона, ни о том, чтобы организовать оборону острова на случай наступления правительственных войск из Петербурга.

27 октября, при участии полиции и местных хулиганов, начался в Кронштадте разгром винных лавок и погребов. Темная матросская толпа присоединилась к громилам. Вспыхнул пьяный разгул и погром. А 28-го в город вступили пехотные части из Петербурга. Матросы были почти без сопротивления обезоружены, в городе был восстановлен порядок.

Правительство решило беспощадной расправой над кронштадтцами дать устрашающий пример охваченной брожением солдатской массе. 29-го виновные в беспорядках были преданы военному суду.

В Петербурге разнесся слух, что всем им — их было несколько сот человек — грозит смертная казнь.

На интеллигентные круги общества кронштадтские события произвели удручающее впечатление. Революционное выступление сливалось здесь с пья-

ным погромом, который, при иных обстоятельствах, мог бы принять чисто черносотенные формы. Ужас и брезгливое отвращение — вот чувства, которые вызывались картинами этого темного бунта. И передававшиеся из уст в уста подробности лишь усиливали это впечатление.

Но с другой стороны взглянула на эти события рабочая масса. Рабочий легче, чем интеллигент, мог понять темного матроса.

Петицию к царю составили... А давно ли мы сами к Зимнему Дворцу ходили?

О водке царя просят... Дураки, конечно! Ну, а мы то давно ли умными стали?

Перепились... Плохо оно, слов нет. Да, может, они это с радости, по случаю революции?

Громить пошли... Это совсем последнее дело. А с чего? С темноты. Так кто виноват, что сознательности у них не было? Кто в темноте их держал?

Так, или приблизительно так, работала мысль в заводских районах. Симпатии рабочих были безоговорочно на стороне кронштадтских матросов: в повстанцах рабочие видели своих братьев, неудачу кронштадтского движения ощущали, как свое поражение. И к их думам о кронштадтских событиях примешивалось скорбное недоумение:

— Как это, под боком у нас, товарищи-матросы боролись и гибли за свободу, а мы палец о палец не ударили, чтобы помочь им?

Известие о грозящей матросам смертной казни упало, таким образом, на подготовленную почву. Рабочая масса заволновалась. На заводах и фабриках пошли толки о том, что нельзя так, сложа руки,

дожидаться расправы над матросами, что нужно заступиться за товарищей. К этому присоединилась еще одна мысль, которая в короткое время с неудержимой силой овладела сознанием всей рабочей массы Петербурга:

Нужно заступиться за кронштадтских матросов, чтобы солдаты поняли, наконец, что рабочие их друзья и братья.

Вопрос о Кронштадте слился, таким образом, с общим вопросом об армии.

Тем, кто в эти дни не жил одной жизнью с рабочей толпою, может показаться невероятным, чтобы масса, еще недавно шедшая за Гапоном, была способна так отчетливо видеть за частным вопросом общую проблему. Но в этом нет чуда.

При каждом своем выступлении рабочие наталкивались на строй штыков. Из их памяти не изгладились картины 9-го января. Еще совсем недавно, в октябрьские дни они снова видели перед собою стену серых шинелей. Они чувствовали, что все теснее сжимается вокруг них железное кольцо, что спасение их в том, чтобы прорвать это кольцо, в том, чтобы привлечь армию на свою сторону.

И вот, уже с 30 октября начались в рабочих районах разговоры о том, что необходимо об'явить забастовку в защиту кронштадтских товарищей.

Быстрее всего оформилось это настроение на заводах Невского района, — тех заводах, которые выступали первыми и в октябрьскую забастовку, и в борьбе за 8-часовый рабочий день.

Рабочие митинги, один за другим, выносят резолюции протеста, заканчивающиеся угрозой: «если кронштадтские матросы не будут освобождены, — об'я-

вим политическую забастовку». Районы требуют экстренного собрания Совета Рабочих Депутатов, которое выработало бы наиболее действительные меры борьбы.

Но еще до собрания Совета, заранее было ясно, каково будет его решение: ибо заводские митинги 30 и 31-го октября представляли собою своего рода *референдум* петербургского пролетариата, настроение рабочих масс выявилось на них с полной отчетливостью, — Совету Рабочих Депутатов оставалось дать ему политическое выражение.

* * *

Совет Рабочих Депутатов собрался 1-го ноября. Это было его 10-ое заседание, — считая с первого совещания депутатов Невского района в Технологическом Институте.

Заседание происходило в обширном, спартански простом зале Соляного городка. Зал был переполнен. Настроение депутатов было сдержанное и вместе с тем боевое.

В порядке дня стоял один единственный вопрос — кронштадтские события. Но в самом начале заседания слово было предоставлено прибывшим из Царства Польского делегатам. Они говорили о военном положении, введенном с 29 октября в Польше, и призывали петербургский пролетариат протестовать против насилий царизма над польскими рабочими.

Затем начались сообщения очевидцев о кронштадтских событиях.

Мне запомнилась речь матроса, — молодого парня, невысокого роста, невзрачного с виду. С потрясающей, простотой и искренностью рассказывал он, как все произошло. Когда пришлось говорить о том, как в водке и грязи потонуло движение, начавшееся насильственным освобождением арестованных товарищей, голос его упал почти до шопота. — казалось, перед рабочим Советом он чувствовал себя, как перед судилищем. Но ни единым словом не пытался он прикрыть обидную, тяжелую правду.

— Пошли хулиганы погреба разбивать, а матросы за ними. Тоже и солдаты. Другие удерживали, отговаривали, да напрасно... Потом бочки на площадь, на улицы выкатили, — пей, кто хочет... Опять многие матросы пошли... Тут все вместе были, перепились окончательно... Начали дома громить... Все громили... Матросы, солдаты, хулиганы, — все сообща.

И кончил мольбою:

— Теперь, говорят, расстреливать нас будут. Выручайте, товарищи!

Открылись прения: как помочь кронштадтским товарищам? Речи были короткие, 2—3 минуты, а то и меньше. Ни лирических излияний, ни агитационных призывов. Депутаты сжато, деловито сообщают, как смотрят их заводы на положение. Почти все требуют немедленного об'явления забастовки. Лишь путиловцы сдержанно заявили:

— Если все будут бастовать, присоединится и наш завод.

Сделали перерыв. Исполнительный Комитет удалился на совещание, и после возобно-

вления заседания председатель предложил резолюцию, призывавшую революционный пролетариат Петербурга, посредством общей политической забастовки, уже доказавшей свою грозную силу, и посредством общих митингов протеста проявить свою братскую солидарность с революционными солдатами Кронштадта и революционным пролетариатом Польши.

Резолюция заканчивалась словами:

«Завтра, 2-го ноября, в 12 часов дня, рабочие Петербурга прекращают работы с лозунгами:

«1. Долой полевые суды!

«2. Долой смертную казнь!

«3. Долой военное положение в Польше и во всей России!»

Эта резолюция была без всяких изменений принята Советом[1]).

Так была об'явлена вторая политическая забастовка, через 10 дней после первой.

Представитель социалистов - революционеров предложил включить в число лозунгов забастовки также протест против решения правительства отправить трех генерал-ад'ютантов с воинскими командами и пулеметами в охваченные аграрными волнениями губернии (Саратовскую, Симбирскую и Тамбовскую). Представитель эсдэков возражал против этого предложения, и оно было отклонено собранием.

---

[1]) Здесь произошел упомянутый мною выше конфликт большевистского Петербургского Комитета с Советом по вопросу о том, может ли выходить во время забастовки «Новая Жизнь». В результате конфликта часть большевиков воздержалась при голосовании резолюции.

Мотивы выступления эсэров в данном случае ясны — они стремились связать предстоящую забастовку с крестьянским движением. Труднее понять, почему эсдэки были против включения в резолюцию упоминания о пулеметных генералах. Считали ли они этот вопрос незначительным, не заслуживающим внимания? Или боялись растворения рабочего движения в крестьянской стихии?

Я думаю, что психологически дело об'яснялось иначе.

Предстоящая стачка, по своей первоначальной идее, должна была быть стачкой петербургских рабочих в защиту кронштадтских матросов. Как таковая, она имела определенный политический смысл. И именно в таком виде был поставлен вопрос о ней в рабочих районах.

Всякий новый лозунг, усложняя идею стачки, ослаблял ее эффект. С этой точки зрения, ошибкой было уже присоединение к волновавшему рабочих вопросу о Кронштадте нового вопроса о Польше, — вопроса, о котором до заседания Совета большая часть рабочих ничего не слыхала.

Но сделав эту первую ошибку, авторы резолюции решили остановиться и не идти по этому пути дальше, как требовали того эсэры[1]).

Платформа забастовки получилась несколько уродливая, случайная, — чего не было бы, если бы выступление было связано исключительно с мест-

[1]) Отмечу, что эсэры, не обескураженные провалом их предложения в Совете, перенесли вопрос на заводские митинги и там добились успеха: рабочие охотно принимали советскую резолюцию с эсэровским дополнением о генералах.

ным, близким петербургскому пролетариату, вопросом о Кронштадте. Но это не имело большого значения. В действительности, борьба все же сосредоточилась вокруг единственного вопроса о Кронштадте, ибо это был стоявший в порядке дня русской революции вопрос об армии.

Одновременно с решением о забастовке, Совет Рабочих Депутатов принял воззвание к петербургскому гарнизону:

«Солдаты петербургского гарнизона! Совет Рабочих Депутатов об'явил со 2-го ноября политическую забастовку. Наше требование освободить немедленно кронштадтских матросов и солдат от военно-полевого суда и смертной казни. Солдаты и матросы! Рабочие поднимаются за своих братьев, которых хочет замучить правительство. Подадим же друг другу руки и спасем наших братьев-матросов, которым грозит смерть!»

За этим последовало новое воззвание Исполнительного Комитета «к братьям солдатам и матросам». В Совете и на митингах во время второй забастовки только и было речи, что о настроении в войсках. Да и «Известия» Совета велись в эти дни так, что ясно было, что они рассчитаны на читателей-солдат не в меньшей мере, чем на читателей-рабочих.

* * *

Забастовка началась блестяще. Забастовали, вместе с другими, и такие предприятия и такие

мастерские, которые к октябрьской забастовке примкнули лишь в самом конце, почти по принуждению.

Я провел этот день на Путиловском заводе. Две-три мастерские работали здесь в течение всей октябрьской забастовки. Это были **горячие мастерские** (большая котельная и еще одна или две поменьше), в них мастера-бригадиры издавна подбирали себе подручных-чернорабочих, выписывая их из дальних деревень. Масса была здесь темная, отношения патриархальные.

Мне было поручено «снять» эти мастерские. После общезаводского митинга, на котором решено было присоединиться к забастовке, я спросил депутатов, как обстоит дело с отсталыми мастерскими, не участвовавшими в общем собрании.

— Черти, а не люди, огорченно об'яснили мне депутаты: Мы им говорим: «Товарищи!», а они: «Пес вам, говорят, товарищ». Мы им об'ясняем: «Бастовать велено!» А они: «Сегодня, говорят, не праздник, будем работать, а кто к нам сунется, — в печь спустим». Мы им прямо заявили: «Гайками вас, сукины дети, с работ снимем». Так что вам, товарищ, тут делать нечего, — мы туда молодежь пошлем, с гайками да кирпичами.

Я решительно запротестовал против этого способа действий и заявил, что пойду переговорить с котельщиками. Депутаты советовали этого не делать, так как «мало ли что может случиться». В конце концов, условились, что у дверей мастерской будут стоять дружинники с револьверами, готовые, в случае опасности, подать мне помощь.

Когда я вошел в котельную, воздух в ней был наполнен стуком молотов, грохотом железных ли-

стов. Со всех сторон были устремлены на меня косые, угрюмые взгляды. Но никто не сказал ни слова, никто не ответил на мое приветствие.

Следили за каждым моим движением, но делали вид, будто не замечают моего присутствия. Стараясь держаться возможно уверенно, я прошел вглубь мастерской. Высматривал «позицию», — место, с которого можно было бы начать речь.

У задней стены, подле высоких штабелей железа, лежал на земле большой котел с плоской крышкой, — трибуна хоть куда. Взгромоздившись на котел, я имел всех рабочих перед собою и был обеспечен от неожиданного нападения сзади; вместе с тем дружинники, стоявшие за дверью, могли видеть меня.

— Товарищи! крикнул я.

Стук молотов усилился. Несколько человек подошли ко мне, хмурые, злые, и один из них спросил:

— Чего тебе надо? Кто тебя прислал?

— Прислан я Советом Рабочих Депутатов. А что мне надо, я сейчас об'ясню...

— Уходи лучше по добру, по здорову!

— Сперва об'ясню, что мне надо, потом уйду.

Кучка перед котлом росла. Попрежнему стучали молотки, но это был уже не шум работы, а обструкция.

— Тише там! крикнул я в сторону беспокойных молотов: Потом настучитесь... Тут люди спрашивают, а вы им слушать не даете.

Постепенно шум стих. Собрались все, но многие с инструментом в руках, готовые возобновить работу — или обструкцию.

Один рабочий сказал мне:

— Говори — не говори, а только бастовать мы не согласны. Довольно через вашего брата наголодались, — будет!

— Ваше дело, отвечал я: захотите — забастуете, а нет — так нет. Никто вас не неволит.

— Никто не неволит? А что утром говорили? Всем заводом придтить грозились! Гайками выгнать сулили... Да пусть сунутся, у нас тоже гайки найдутся.

Толпа волновалась, шумела. Угрожающе подымались вверх молотки.

— Товарищи! крикнул я: Об этих угрозах и мне говорили, но я сказал, что никто не может приневоливать другого к забастовке. Поэтому я пришел к вам один, хотя... ведь и с вашей стороны были угрозы. Что у вас про печь говорили?

— Мало ли что говорят меж собою...

— Ну, я про печь поминать не стану, а вы про гайки забудьте! Расскажу я вам, зачем об'явлена забастовка, а там вы решите, бастовать или нет.

— Ну, говори, — только бастовать мы не согласны. Послушать можно, — а от забастовок брюхо у нас подвело.

Когда я кончил свою речь, какой то рабочий взволнованно обратился к толпе:

— А с чего у нас прошлый раз несогласие вышло? Когда человек рассказал, мы понять можем. А у них нет того, чтобы толком об'яснить. Чуть что — ты хулиган, ты черная сотня, — и за гайки!

— Если-б мы знали, мы бы и в тот раз от других не отстали-б, поддержали из толпы.

Но вперед выдвинулся молодой человек в круглой барашковой шапочке и в черной куртке, расшитой шнурами. Он вызывающе обратился ко мне:

— Вы тут обо всем говорили, а одного не сказали: много ль вам платят за то, чтоб вы ходили, народ мутили?

— Кто платит? удивился я: Совет Рабочих Депутатов?

— Совет-ли, японцы - ли, жиды - ли... А сколько вы в день получаете?

Вместо ответа, я рассказал, какая награда ждет революционеров. Рабочие, казалось, были тронуты. Но молодой человек в барашковой шапочке насмешливо переспросил:

— Значит, для собственного удовольствия ездите, рабочих сбиваете?

Стоявший по близости пожилой рабочий перебил его:

— Тебе то что, когда ты не рабочий, а певчий?

— Врешь, не певчий, а чертежник! огрызнулся молодой человек.

— Ан, певчий! В шереметьевском хоре поешь!

Поднялся шум. Оказалось, что певчего знали и другие.

— Товарищи, сказал я, спросите-ка этого молодца, кто его подослал сюда... Я, вот, от Совета Рабочих Депутатов приехал. А он от кого?

Рабочих будто осенило.

— Верно, Шереметьев его подослал!

— То-то он здесь увивается.

— И в прошлый раз здесь торчал!

— Без него и тогда не было бы ничего.

И покрывая гул голосов, кто-то крикнул:

— А ну-ка, братцы, в печь его!

— В печь! В печь!

Дюжие руки вцепились в шереметьевского певчего, и мне стоило не мало усилий спасти его от расправы.

Затем, приняли единогласно резолюцию о том, что котельная мастерская присоединяется к решению завода и готова до конца бороться под руководством Совета Рабочих Депутатов. И, побросав молотки, двинулись гурьбою во двор, где у ворот мастерской стояла уже порядочная толпа, встретившая котельщиков криками «ура».

* * *

Вторая забастовка шла в заводских районах еще дружнее, стройнее, чем первая. Это было отмечено всеми на заседании Совета 2-го ноября.

На этом заседании было вновь решено развить шире агитацию среди военных.

На следующий день Совет заседал в Вольно-Экономическом Обществе, в роскошном раззолоченном зале, которому суждено было вплоть до 3-го декабря оставаться местом собраний представителей петербургского пролетариата. Это было торжественное и очень многолюдное собрание, — присутствовало 417 депутатов, не считая гостей и представителей социалистических партий.

Доклады с мест дышали бодростью и странным образом противоречили сообщениям буржуазной печати о ходе забастовки: газеты твердили, что за-

16*

бастовка не удалась, а рабочие считали ее удавшейся блестяще и были полны веры в победу.

Нотку веселья внес в заседание инцидент с телеграфным обращением гр. Витте к «братцам-рабочим».

Витте, с таким высокомерием рассуждавший впоследствии о Совете Рабочих Депутатов и, вообще, о революции 1905 года, играл в эти дни довольно жалкую роль: он один принимал в серьез свои слова, свои обещания, свои планы и свой государственный гений, тогда как, в действительности, события катились через его голову, никакого влияния на них он не оказывал, и самое имя его превратилось в символ пустой болтовни.

Но, быть может, самой смешной слабостью Витте была его уверенность в том, что рабочие должны относиться к нему с особым доверием и любовью. Эта уверенность подсказала председателю правительства попытку ласковым словом образумить рабочих и потушить забастовку.

3-го ноября он разослал по всем фабрикам и заводам знаменитую телеграмму: «Братцы-рабочие! Станьте на работу, бросьте смуту, пожалейте ваших жен и детей. Не слушайте дурных советов. Государь приказал нам обратить особенное внимание на рабочий вопрос. Для этого Его Императорское Величество образовал Министерство Торговли и Промышленности, которое должно установить справедливые отношения между рабочими и предпринимателями. Дайте время, все возможное будет для вас сделано. Послушайте совета человека, к вам расположенного и желающего вам добра».

Когда Совет обсуждал эту телеграмму, впечатление, произведенное ею на широкие массы рабочих,

было уже известно. Резюмировалось это впечатление словами:

— За дураков нас считает!

На одном заводе, почему то не забастовавшем накануне, телеграмма Витте была прочитана на митинге, после чего рабочие единогласно и без прений решили ответить премьеру телеграммой:

«Прочитали и забастовали».

Совет Рабочих Депутатов, со своей стороны, на телеграмму Витте ответил обращением к рабочим, которое начиналось словами:

«Совет Рабочих Депутатов, выслушав телеграмму графа Витте к братцам-рабочим, выражает, прежде всего, крайнее изумление по поводу бесцеремонности царского временщика, позволяющего себе называть петербургских рабочих «братцами». Пролетарии ни в каком родстве с гр. Витте не состоят...»[1])

На следующий день, 4-го ноября, на всех заводских митингах читался этот ответ. Рабочие были в восторге. На несколько часов полемика Совета с председателем правительства отодвинула на задний план все другие вопросы. Забыты были все испытания нужды и голода, все трудности и опасности, вырисовывавшиеся перед рабочим движением.

* *
*

На заводских митингах 4-го ноября речи звучали бодростью. В рабочей толпе царило шумное радостное возбуждение.

А между тем, уже в этот день, по неопровержимым об'ективным признакам, можно было определить, что выступление не удалось. Грозным симп-

[1]) Автором этого обращения был Троцкий.

том было, прежде всего, то, что забастовка не нашла отклика в провинции: Петербург бастовал *один*.

Зависело это от многих причин: ближайший повод забастовки (кронштадтское восстание) был *местный*, а не общероссийский; рабочие массы еще не успели оправиться после первой, октябрьской, забастовки; многие города были терроризированы недавними выступлениями черной сотни; наконец, ноябрьская забастовка с самого начала была окружена атмосферой несочувствия со стороны непролетарских элементов, и буржуазные газеты всей России широким фронтом выступили против нее, замалчивая ее успехи, извращая ее смысл, сея в стране недоверие к новому выступлению пролетариата.

Бастовал *только* Петербург — и то *не весь*. Союз Союзов 2-го ноября вынес резолюцию, признававшую «желательным присоединение всех союзов к забастовке, об'явленной Советом Рабочих Депутатов», и предлагавшую «всем бюро всех союзов немедленно созвать союзы для решения вопроса о присоединении их к забастовке». Но это были пустые слова: союзы не были созваны, ни один из них к забастовке не присоединился, а в среде, примыкавшей к Союзу Союзов, чувствовалось определенно враждебное отношение к действиям Совета Рабочих Депутатов.

Итак, выступление петербургских рабочих оставалось местным и изолированным. Это не могло не ослабить впечатления, которое оно производило на *солдатскую* массу. Солдаты смотрели на забастовку безучастно и хмуро. Они *не верили*

бескорыстию заступничества рабочих за кронштадтских матросов, им казалось, что за настойчивыми призывами, обращенными к ним, кроется какой то подвох.

Были, конечно, и исключения: в отдельных кучках солдат воззвания Совета будили сочувственный отклик. Отдельные солдаты обращались в эти дни к рабочим и уверяли их в своем твердом решении не стрелять в народ. Но это были исключения на фоне безразличия и недоверия.

А с того момента, как выяснилось, что забастовка не вызывает энтузиазма в солдатских массах, она перестала пугать и правительство.

Исполнительный Комитет Совета правильно учел положение. Уже 4-го ноября он внес в общее собрание Совета предложение прекратить забастовку. Депутаты, принесшие с собою из районов бодрое настроение борьбы и глубокую уверенность, что все идет как нельзя лучше, были поражены. Посыпались возражения, ссылки на твердую решимость рабочих довести до конца начатое дело.

Напрасно представители Исполнительного Комитета доказывали необходимость беречь силы для предстоящей решительной схватки с царизмом. Депутаты стояли на своем:

— С таким решением мы не можем вернуться на заводы!

И предложение Комитета было отклонено подавляющим большинством голосов.

А между тем, хозяева собрались с силами и перешли в наступление. 5-го — это была суббота — на целом ряде заводов и фабрик появились об'явления о поголовном рассчете, а в дру-

предприятиях — подкрепленные угрозой такого расчета приглашения немедленно возобновить работы.

В вечернем заседании Совета уже не было того подъема, того оживления, как накануне. Мрачные лица, короткие, обрывистые речи. Будто у каждого на плечах многопудовая тяжесть.

Без конца тянулись доклады с мест. Было обрисовано положение на 147 заводах:

На 92 предприятиях настроение рабочих твердое, готовы бастовать неопределенное время, до постановления Совета;

На 14 предприятиях настроение настолько пониженное, что продолжение забастовки на них невозможно;

На 25 предприятиях рабочие намерены в понедельник, 7-го ноября, приступить к работам;

На 3 предприятиях все рабочие поголовно рассчитаны;

На 10 — грозят рассчетом;

На 3 — работы уже возобновились[1]).

Общая картина получалась неблагоприятная.

К тому, же появилось правительственное сообщение о том, что кронштадтские матросы предаются не военно-полевому, а военно-окружному суду, что никому из них не грозит смертная казнь, и что судить их будут лишь за буйство в пьяном виде.

При желании, это сообщение можно было истолковать, как частичный успех. Во всяком же случае, оно чувствительным образом затрудняло дальнейшее ведение забастовки.

---

[1]) Цифры см. в „Истории Совета Рабочих Депутатов г. С. Петребурга", изд. 1906 г., стр. 121.

Отвергнутое накануне предложение Исполнительного Комитета на этот раз было принято почти единогласно.

Со стесненным сердцем голосовали депутаты за прекращение забастовки: все сознавали, что принимаемое Советом решение знаменует новое поражение пролетариата. Но, как 22-го октября (при отказе от демонстративных похорон), резолюции была придана внешняя форма победной реляции: «. . . Рабочие Петербурга сочли своим долгом дать новый урок царскому правительству и напомнить ему, что революционный пролетариат существует, бодрствует и готов отвечать ударом на удар.

«Стачка-протест... продолжается в настоящий момент с таким единодушием, которое превосходит даже январскую и октябрьскую забастовку. Этот новый революционный удар, нанесенный царскому правительству, не только показал удивительную энергию, неутомимость, сплоченность и дисциплину пролетариата, но и привлек к рабочим симпатии лучшей части армии...»

Далее, заявив о прекращении стачечной манифестации в понедельник, 7-го ноября, в 12 ч. дня, Совет призывал сознательных рабочих «удесятерить революционную работу в рядах армии и немедленно приступить к боевой организации рабочих масс, планомерно подготовляя, таким образом, последнюю всероссийскую схватку с кровавой монархией, доживающей свои последние дни».

Оставшееся до понедельника время посвятили митингам. Тон речей был победоносный, — как тон резолюции совета. Но в рабочей толпе замеча-

лось тяжелое раздумье, — рабочие массы понимали, что забастовка закончилась их поражением, и что это поражение—лишь начало тяжких испытаний[1]).

Что то надломилось в душах рабочих, увяла под холодным дыханием надвигающейся реакции их наивная вера в себя, в свои силы.

В это время произошел чувствительный сдвиг и в настроениях других общественных классов. Я говорил уже о том, как недружелюбно отнеслись непролетарские (либеральные) общественные круги к ноябрьской забастовке. Это обстоятельство заслуживает пристального внимания.

Прежде всего, нужно отметить, что широкие круги общества просто *не поняли* этой забастовки. Тот вопрос, который был в ней основным и главным, — попытка путем заступничества за матросов связать солдатскую массу с рабочим движением — упорно и умышленно замалчивался буржуазной печатью: газеты не писали о нем, так как боялись, открывая солдатам глаза на цели рабочих, сыграть невольно на руку революции. В оценке основного лозунга забастовки либералы сходились с правыми: они считали *преступной* попытку революционеров *втянуть* армию в политическую борьбу. Будто до ноября 1905 г. армия стояла в стороне от политики! Будто не солдаты расстре-

[1]) В цитированной книге Сверчкова (см. стр. 129) исход ноябрьской забастовки изображается, как *победа* пролетариата. Автор утверждает, что Совет Рабочих Депутатов постановил прекратить эту забастовку «*в связи с достигнутым успехом*», то есть, с заявлением правительства о предании кронштадтских матросов обыкновенному военно-окружному суду. Это *оптимистическое* освещение событий противоречит исторической правде.

ливали рабочих 9-го января! Будто не солдатскими штыками держался Трепов!

Катехизис либерализма, требующий, чтоб армия оставалась вне политики, легко мирится с употреблением солдатских штыков против народа. Но Боже упаси пытаться вырвать из рук правительства оружие темной солдатчины! Боже упаси пытаться пробудить в солдате человеческую душу!

Когда рабочий подставлял непокрытую грудь солдатскому штыку, общественное мнение было на его стороне.

Когда тот же рабочий, все так же идя вперед и чувствуя стальное острие у самого сердца, крикнул солдату: — Брат! Не убивай! Один общий враг у нас с тобою! — «общественное мнение» восстало против него за вовлечение армии в водоворот политической борьбы.

В этом разгадка непопулярности ноябрьской забастовки и странного извращения самой идеи ее в умеренных общественных кругах.

От ноябрьской забастовки отвернулись, потому что она ставила в наиболее острой форме решающий вопрос революции, вопрос об армии. Но открыто ее критиковали чаще всего, как неудачную форму протеста против введения военного положения в Польше.

Свое отрицательное отношение к этому выступлению петербургских рабочих либеральная печать резюмировала в формуле:

— Нельзя бастовать по частному поводу.

А так как память у людей коротка, и в ноябре общество уже забыло о том, что было в октябре, то

новое выступление рабочих посрамлялось путем сравнения его с первой забастовкой:

— Тогда забастовка была об'явлена во имя общенациональных требований, и потому все были на стороне забастовщиков. Теперь — повод забастовки частный, а общество не может сочувствовать тому, чтобы по частному поводу пускалось в ход столь острое оружие, как всеобщая стачка.

Какое извращение исторической перспективы!

Октябрьская забастовка началась по совершенно частному, ничтожному поводу, — по поводу проникших неведомо откуда на Московско-Казанскую железную дорогу ложных слухов о разгоне заседавшего в Петербурге железнодорожного (пенсионного) с'езда. Никаких общенациональных требований в начале октябрьской забастовки выставлено не было, и лозунги ее каждая партия толковала по своему.

Наоборот, ноябрьская забастовка с самого начала имела определенную политическую идею, лозунг, в котором — несмотря на местное происхождение его — действительно, заключалось разрешение задачи освобождения России от оков самодержавия.

Если, тем не менее, в первом случае движение получило характер общенациональный, а во втором случае свелось к изолированному выступлению петербургских рабочих и замерло на этой ступени, то об'яснение этого нужно искать в тех переменах, которые произошли в общественных группировках за время с 13—14-го октября по 1—2-ое ноября, в том, что за эти три недели, при подходе к вопросу о дальнейшей борьбе с царизмом, при постановке на оче-

редь вопроса об армии, пути революционного рабочего движения резко разошлись с дорогой, избранной либеральными элементами общества.

* * *

Относясь отрицательно к выступлению рабочих в защиту кронштадтских матросов, либеральные круги не могли все же не сочувствовать лозунгу протеста против военного положения в Польше. Но этот лозунг был выставлен Советом Рабочих Депутатов, — и потому либералы, протестуя против введения военного положения в Польше, старались обставить свой протест так, чтобы никто не мог смешать их с развратителями армии.

Показателен был в этом смысле «польский митинг», созванный в Тенишевском училище Союзом Союзов — насколько помню — 5-го ноября.

Об этом митинге, к устройству которого были привлечены все прогрессивные организации Петербурга, Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов, узнал лишь перед самым собранием когда в Вольно-Экономическое Общество были принесены пригласительные повестки для представителей Совета. Выступление на митинге было поручено мне[1]).

Я поехал туда прямо из Совета, в рабочем платье, усталый и вместе с тем возбужденный от утренних заводских митингов.

---

[1]) Не помню, впрочем, было ли это официальное поручение от президиума Совета, или президиум передал пригласительные повестки в нашу ораторскую коллегию, а оттуда командировали на митинг меня.

Зал Тенишевского училища был полон. Председательствовал Н. Ф. Анненский. Публика интеллигентская: профессора, журналисты, адвокаты, инженеры, — весь цвет Союза Союзов. Здесь и там кучки студентов.

Те же лица, что на университетском митинге 14 октября. Но какая перемена настроений!

Три недели тому назад все уста славословили рабочих, все руки тянулись к пролетариату. А теперь — будто незримая стена выросла между этими людьми и заводскими районами. О забастовке — ни слова. А между тем, — зал освещен стеариновыми свечами, так как электрические станции бастуют; собрание открылось с запозданием, так как конки не работают, и многим пришлось идти через весь город пешком...

Речи показались мне необычайными, странными.

Говорил П. Струве, только что вернувшийся из-за границы. Кажется, это было его первое публичное выступление в Петербурге. Его встретили овациями. Говорил он о том, что царь окружен дурными советниками, и что спасение России требует замены этих советников другими, которые понимали бы желания общества.

Это была умеренно-конституционная, монархическая речь. И она отвечала настроению митинга, — во всяком случае, настроению его значительной части. Оратора прерывали аплодисментами, и притом именно в тех местах его речи, которые во мне вызывали наибольшее возмущение.

После него говорил пожилой, почтенный профессор[1]). Он пространно и терпеливо доказывал не-

[1]) Если память не обманывает меня, это был пр. Кареев.

обходимость братских взаимоотношений между русским и польским народами. Говорил о расовом родстве этих народов, о сходстве их языков, об общности их исторической судьбы.

Взял слово какой-то господин в форменном чиновничьем сюртуке. Поведав собранию, что он не то пятнадцать, не то двадцать лет служил фабричным инспектором в Польше, он стал говорить о польских рабочих. Говорил о них в тоне снисходительного доброжелательства: это, мол, не дурные люди; немного, правда, беспокойные, но с ними всегда можно поладить, если уметь подойти к ним и т. д. У меня было впечатление, что именно так должен был бы говорить о своих неграх какой-нибудь либеральный плантатор, с джентльменской корректностью доказывающий соседу, что с рабами не следует обращаться жестоко.

Отмечу еще выступление одного польского общественного деятеля.

В очень красивой, прочувствованной речи он благодарил собрание за то, что оно решилось возвысить свой голос против военного положения в Польше. В ответ гремели аплодисменты, и оратор, и публика были растроганы. Особенный восторг вызвали заключительные слова речи поляка: «Всю жизнь я мечтал о братском единении наших двух народов. Порою эта мечта начинала казаться мне несбыточным сном. Но сегодня, видя, сколько русских людей собралось в этом зале для протеста против военного положения в Польше, я больше, чем когда-либо, уверен в том, что мечта моя когда-нибудь станет действительностью».

Во время речи этого оратора я обратился к председателю и попросил слова. Н. Ф. Анненский оглядел меня с головы до ног, остановился взглядом на моих высоких сапогах, доверху залепленных глиною и гряз'ю, и, ласково взяв меня за рукав, шепнул:

— Сейчас, сейчас я дам вам слово... Но я очень прошу вас: видите, какое дружное здесь настроение? так не вносите полемики! Не будете, правда?

Увы, при всем моем уважении к старому общественному деятелю, я не мог обещать ему исполнить его просьбу. Все так же приветливо смотря на меня, Н. Ф. сказал:

— Вот, после этой речи, мы об'явим перерыв, а после перерыва вы будете говорить.

Старик предвидел, что выступление советского оратора закончится скандалом, и хотел, чтобы хоть первое отделение митинга сошло гладко.

Речь свою я построил чисто по большевистски: противопоставляя революционную борьбу пролетариата половинчатой, соглашательской тактике буржуазии, я отвечал всем выступавшим до меня ораторам и уличал всех их в предательстве против революции и против народа.

— У царя дурные советники? спрашивал я П. Струве: Значит, сам царь хорош! Нужно переменить царских советников? Значит, нужно сохранить царя! И подобные речи раздаются на митинге Союза Союзов, того Союза Союзов, который всего три недели тому назад шел рука об руку с пролетариатом на смертный бой против царизма! И подобные речи встречают здесь сочувственный прием!

И я рассказал анекдот, который тут же сам сочинил:

Старуха — салопница приходит исповедываться к о. Иоанну Кронштадтскому. «Отче святый, грех великий на душе моей, в царе усумнилась я, окаянная, в царя-батюшку больше не верю». Отец Иоанн увещевает ее: «От беса эти сомнения. Ты подумай, — царь ли не печется о своем народе? Да только у царя порой советники злые, — вот, правда до престолу и доходит не сразу. Впрочем это не беда, — скоро царь советников переменит, и все пойдет на лад». Старуха крестится и благодарит кронштадтского чудотворца: «Утешил ты меня, снял грех с души».

— Г. Струве, закончил я напомнил мне о. Иоанна Кронштадтского, а вы, граждане, с вашими аплодисментами, — старуху салопницу.

Я был готов к тому, что мои слова вызовут протесты, свистки, крики «долой». Каково же было мое изумление, когда часть собрания принялась бешено аплодировать!

Когда восстановилась тишина, я перешел к речи профессора:

— Вы против военного положения в Польше, потому что поляки — родственный русским народ. Ну, а еслибы польский язык не был похож на русский, тогда вы ничего не имели бы против преследований поляков? Так обосновывать протест против насилий самодержавия значит заранее подготовлять мостик для примирения с этими насилиями!

Опять загремели аплодисменты, — на этот раз уж абсолютно незаслуженные, так как аргументация профессора не давала оснований для

17 Войтинский.

сделанных мною выводов: профессор говорил, как специалист; применяя общее положение о недопустимости национального угнетения к частному случаю, он брал часть вопроса и разбирал ее со своей специальной точки зрения; это было его право, и нельзя было из этого заключить, что он не нашел бы других аргументов, если бы речь шла, допустим, о насилии над евреями...

Но в собрании, повидимому, уже начали брать верх радикальные элементы (или элементы, желавшие казаться радикальными). Рукоплескания все чаще прерывали мою речь и становились все более шумными.

Я перешел к речи поляка, говорившего последним предо мной:

— Вы нашли горячие слова, чтобы поблагодарить это собрание за манифестацию в защиту вашего народа. Но почему не благодарите вы петербургский пролетариат за его забастовку?

На этот раз почти весь зал разразился аплодисментами, которые перешли в настоящую овацию по адресу Совета.

— Вы сосчитали, сколько людей находится в этом зале, продолжал я, но считали ли вы рабочих, уже четвертый день бастующих в защиту своих братьев в Польше и в Кронштадте? Вы забыли о забастовке, которая происходит за стенами этого здания! Вы забыли о ней, хотя улицы, по которым вы шли сюда, и эти свечи, заменившие электрические лампочки, должны были бы напомнить вам о пролетариате, борющемся против самодержавия, и о вашем долге перед этим пролетариатом!

На этом мне сделовало бы остановиться. Но возбужденный возраставшим успехом моей речи, увлеченный противопоставлением *нашей* революционности их половинчатости, я переходил ко все более высоким нотам. Так сорвалась у меня фраза:

— Ваш митинг протеста не дорого стоит: заплатили двугривенный извозчику, приехали, сидите и слушаете.

Закончил я заявлением, что интеллигенция может принести пользу освобождению России лишь в том случае, если отдаст все свои силы на помощь истинно революционному классу, пролетариату.

Долго не смолкали аплодисменты после моей речи, но я ясно видел, что в собрании произошло расслоение: одни аплодируют, другие сидят неподвижно, видимо, недовольные и моим выступлением, и оказанным мне приемом. Послышалось шикание. За председательским столом стоял Н. Ф. Анненский, бледный, взволнованный.

Когда зал утих, он начал:

— Господа! Я никак не ожидал того, что здесь случилось... Здесь было нанесено оскорбление русской интеллигенции, — а вы аплодировали... Здесь говорили, что ваш протест против насилий царизма стоит не больше двугривенного, — а вы... вы и этому аплодировали!

Рукоплескания заглушили голос председателя. Он протянул обе руки вперед, прося о тишине, показывая, что он еще не кончил. Слышно было, что он говорит что то о Рылееве. Затем, он пошатнулся, ему стало дурно, и его на руках вынесли с эстрады.

В зале творилось нечто неописуемое, участники собрания бурно препирались между собой. Один инженер (из эсэрствующих), вскочив на стул, начал речь о том, что эсдэки всегда были против интеллигенции. Другой инженер (постоянный оппонент предыдущего оратора в Союзе Инженеров и Техников) ответил речью на тему о том, что на правду нечего обижаться. В задних рядах поднялся какой то юноша-студент и провозгласил:

— Товарищей и граждан, желающих протестовать против оскорбления, нанесенного русской интеллигенции социал-демократами, прошу выдти в соседнюю комнату.

Он вышел из залы, за ним повалила часть публики. Пошел и я с другими, желая об'ясниться и положить конец скандалу. Мое появление на этом импровизированном «митинге», созванном для протеста против моей речи, было встречено довольно добродушно. Мне дали слово, выслушали мои об'яснения и решили вернуться в общий зал.

Там продолжался сумбур. Н. Ф. Анненский сидел сбоку на эстраде, но уже не председательствовал. Он знаком пригласил меня подойти и спросил, не пожелаю ли я рассеять недоразумения, вызванные моей речью. Я выразил сожаление по поводу этих недоразумений и сказал, что готов об'ясниться.

Получив слово вне очереди, я заявил, что не имел в виду оскорбить интеллигенцию, и что резкость моих слов была вызвана лишь невниманием, проявленным устроителями митинга по отношению к бастующим рабочим.

В ответ одни аплодировали, другие свистали. Снова сцепились оба инженера. Н. Ф. жал мне руку, благодарил за представленные об'яснения. Но... конец митинга потонул в хаосе споров и пререканий. Собрание было сорвано и разошлось, не приняв никакой резолюции.

Конечно, не этого я добивался, стремясь своей речью «толкнуть влево» собрание! Но большевики от моего выступления были в восторге.

Товарищ Антон на другой день поздравлял меня с успехом:

— Вот это здорово! Прямо, что называется, в кашу наплевал либералам.

В его устах это была высшая похвала...

* * *

Приступая после второй забастовки к работам, петербургский пролетариат возвращался к исходному положению своего ноябрьского выступления, — к тому положению, которое сложилось в результате первой всеобщей забастовки и захватного введения 8-часового рабочего дня.

Положение это, с самого начала, было для рабочих неблагоприятно, а за пять дней забастовки оно еще более ухудшилось. Рабочие выходили из борьбы морально и материально ослабленные. А хозяева успели за эти несколько дней столковаться и установить общий план действий. Кроме того, в конце октября на стороне рабочих, как победителей в первой забастовке, было сочувствие общества. А теперь то же общество относилось к рабочим, как к смутьянам, как к беспокойным

элементам, нуждающимся в хорошем уроке и железной узде.

И вот на петербургский пролетариат обрушился ряд ударов:

объявление владельцев 72 металлообрабатывающих заводов о закрытии их предприятий в случае, если рабочие не откажутся немедленно от захватного осуществления 8-часового рабочего дня;

такие же объявления владельцев текстильных фабрик и стекольных заводов;

закрытие казенных заводов.

Мрачная тень всеобщего локаута легла на рабочие кварталы, «костлявая рука голода» протянулась к горлу петербургского пролетариата. Одновременно началось наступление полицейской реакции. В заводских районах появились войска. Полиция и фабричная администрация начали теснить рабочие митинги. А 10 ноября даже Совет Рабочих Депутатов не мог собраться, так как Соляной городок, где было назначено заседание, оказался окружен полицией и солдатами.

Совет тщетно искал новых путей, которые позволили бы петербургским рабочим удержать занятые в октябре позиции.

Таких путей не было. И потому на заседаниях Совета, еще недавно столь торжественных, внушительных, теперь царила растерянность. Начинались порой взаимные упреки между депутатами различных районов и различных заводов. В резолюциях Совета уже не было прежней силы, уже не звучала в них победная медь.

6-го ноября — накануне прекращения забастовки — Совет «настойчиво рекомендует петер-

бургским рабочим приложить все усилия к скорейшему созданию союзов и всероссийских с'ездов, которые смогут выработать практический способ для осуществления 8-часового рабочего дня».

На следующий день Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов обращается к рабочим с предложением при ликвидации ноябрьской стачки вести борьбу за уменьшение рабочего времени и за повышение расценок по производствам.

Это были платонические советы.

В рядах пролетариата уже начинался разброд.

9-го ноября депутаты Семяниковского завода решили обратиться ко всем петербургским рабочим с призывом немедленно ответить всеобщей забастовкой на подготовляемый хозяевами локаут. Это — через два дня после окончания второй забастовки!

Тяжелый осадок оставило заседание Совета Рабочих Депутатов 12 ноября. Это был военный совет во время отступления армии, отступления, грозящего превратиться в бегство.

Отдельные депутаты призывали к борьбе до конца, требовали новой всеобщей забастовки.

Одна работница, представительница ткацкой фабрики Максвеля, произнесла пламенную речь, в которой осыпала упреками мужчин, готовых отступить перед врагом:

— Вы привыкли сладко есть и мягко спать и своих жен приучили к тому же, — вот и трясетесь от страха при мысли о расчете! говорила она: А мы готовы умереть, лишь бы добиться 8-часового рабочего дня!

И она кончила свою речь кличем:

— Победа или смерть!

Но это были индивидуальные вспышки. А Совет, даже в эти тяжелые дни остававшийся органом рабочих масс, прекрасно сознавал, что в массах воодушевления борьбы уже не было. И потому после страстных споров, Совет принял резолюцию о приостановке борьбы за 8-часовый рабочий день.

Резолюция констатировала, что петербургские рабочие, отдельно от рабочих всей страны, не могут довести до конца борьбу за 8-часовый рабочий день против об'единенных сил капиталистов и правительства. «Посему Совет считает необходимым временно приостановить немедленное и повсеместное захватное введение 8-часового рабочего дня. К этому Совет добавляет: что завоевано, то должно отстаиваться и впредь; где возможны, по мнению отдельных заводов, дальнейшие завоевания, там они должны быть взяты... Что касается повсеместного введения 8-часового рабочего дня, то оно остается задачей борьбы. В целях решения этой задачи необходима всероссийская организация пролетариата. Совет Рабочих Депутатов считает необходимым, наряду с повсеместной агитацией и организацией рабочих, использовать, между прочим, предстоящий в Москве с'езд рабочих организаций для того, чтобы придать борьбе за 8-часовый рабочий день всероссийский характер».

По буквальному смыслу этой резолюции, Совет, как будто, рекомендовал частичное продол-

жение борьбы за 8-часовый рабочий день на отдельных заводах. Но, в действительности, это был сигнал к отступлению по всей линии, — и именно так было понято решение Совета в рабочих районах.

Но отступление побежденного не останавливает продвижения вперед победителя.

Хозяйская реакция, почувствовав свою силу, спешила решительным ударом сломить сопротивление рабочих и восстановить поколебленную забастовками дисциплину. С каждым часом росло число выброшенных на мостовую рабочих. Приходилось думать уже не о частичной борьбе за новые завоевания, не о сохранении добытых в октябре уступок, а о том, чтобы не допустить в Петербурге всеобщего локаута.

13-го ноября Совет собрался для обсуждения вопроса, как ответить на занесенный над головами рабочих удар? Как принудить хозяев продолжать производство?

Увы! пустить в ход хоть одно остановленное хозяевами предприятие было для рабочих труднее, чем остановить всю жизнь в стране.

Раздавались голоса: вновь об'явить забастовку!

Но это было предложение, подсказанное отчаянием: забастовка не прошла бы. А если бы даже все рабочие Петербурга, как один человек, прекратили работы, это было бы лишь на руку их врагов, готовившихся сковать их цепями голода.

Предложение о всеобщей стачке было отклонено Советом. Решено было выпустить воззвание к населению.

Это означало обращение могущественной пролетарской организации к тактике либералов, — к борьбе посредством резолюций.

Новое отступление...

Рабочие отчетливо чувствовали это. Редели рабочие митинги. Исчез царивший на них энтузиазм. Часть рабочих уже отходила в сторону от недавно дорогих ей знамен.

* * *

Почва колебалась под ногами Совета Рабочих Депутатов. После окончания второй забастовки его заседания стали реже, и дух живой, дух революционного энтузиазма отлетел от них. С каждого заседания депутаты возвращались на заводы с ощущением, что дела идут, чем дальше, тем хуже.

Отлетел дух революции и от Исполнительного Комитета Совета.

Давно ли здесь билось сердце движения, до самых основ потрясшего твердыни царизма? Давно ли самое имя «Исполнительного Комитета» было окружено почти мистическим ореолом? А теперь... Теперь все силы Комитета поглощались делом помощи безработным. С утра до ночи шла здесь выдача пособий. По мере расширения локаута, росла нужда в рабочих кварталах. Это было целое море нужды и отчаяния. Волны его бились о двери Совета, и не было у него сил и средств, чтобы справиться с вставшей перед ним новой задачей.

А между тем, в России продолжала бушевать революционная буря.

13-го — как раз в тот день, когда петербургский пролетариат принужден был капитулировать перед об'единенным наступлением хозяев и правительства, — в Севастополе вспыхнуло восстание. Из города оно перекинулось на военные суда. Лейтенант Шмидт поднял над «Очаковым» флаг командующего революционной эскадрой.

В течение трех дней положение на Юге России было крайне напряженное, — неизвестно было, чем кончится разгоревшаяся борьба.

Может быть, исход ее был бы иной, начнись она на неделю раньше, когда петербургский пролетариат боролся за жизнь кронштадтских матросов. Может быть, Петербург и Москва откликнулись бы на события в Севастополе, еслибы не испытанное только что петербургскими рабочими поражение.

Но т е п е р ь Петербургский Совет должен был ограничиться отправкой приветственной телеграммы восставшим. Много таких телеграмм летело в эти дни в Севастополь. Но это была слабая помощь восстанию.

Победа осталась за самодержавием.

В Петербурге еще выходили революционные газеты[1]), еще раздавались революционные речи, но становой хребет движения был уже сломлен.

Чувствуя это, Исполнительный Комитет Совета с энергией отчаяния искал вне Петербурга опоры для стремительно идущего на убыль движения.

Связаться с Москвою, сблизиться с железнодорожным и почтово-телеграфным союзами, об'единить силы пролетариата с силами крестьян,

[1]) Первый № «Начала» вышел 13 ноября.

вырвать армию из руки царизма, — вот задачи, которые в эти дни ставили себе руководители Совета. Для разрешения этих вопросов велись переговоры между представителями Совета и представителями других организаций. Но массе рабочих депутатов нечего было делать при этих переговорах, — и этим еще более подчеркивался упадок Совета.

Все чаще, все настойчивее мысль рабочих возвращалась к вопросу о крестьянстве.

— Без мужиков ничего мы не поделаем, — говорили рабочие: — Вся сила у них.

К этому же вопросу приходили рабочие и тогда, когда ораторы на митингах призывали их вести агитацию среди солдат.

— Нам солдаты не поверят, — говорили они: — Вот, когда мужики с ними заговорят, тогда дело по иному пойдет.

Может быть, это мое впечатление было суб'ективно и основывалось на недостаточно широком круге наблюдений, но у меня в середине ноября было отчетливое ощущение того, что рабочее движение в Петербурге — а может быть, и во всей России — уже исчерпало свои силы, что теперь очередь за деревней.

Это ощущение не оставляло меня и в дни почтово-телеграфной забастовки.

Вопросу об этой забастовке было посвящено заседание Совета Рабочих Депутатов 19-го ноября, — последнее заседание, на котором мне пришлось присутствовать.

Здесь обсуждался, между прочим, вопрос о том, как прекратить перевозку международной коррес-

понденции. Постановлено было обратиться с призывом:

к машинистам, — чтобы они отказались водить поезда с почтовыми вагонами;

к сцепщикам, — чтобы они отказывались прицеплять такие вагоны;

к линейным служащим, — чтобы они задерживали поезда, везущие почту;

к публике, — чтобы она не ездила в почтовых поездах.

По внешней форме, резолюция была разработана почти так же обстоятельно, как принятое ровно месяц тому назад постановление о свободе печати. Но это было лишь обманчивое внешнее сходство: тогда Совет приказывал; теперь он обращался с воззваниями к различным группам граждан, — в частности, к такой группе, как железнодорожная публика...

Это было начало конца петербургского Совета Рабочих Депутатов.

* * *

Прежде чем перевернуть в своих воспоминаниях страницу, на которой столько раз повторялось имя первого Совета Рабочих Депутатов, я хотел бы остановиться на вопросе:

Чем же была, в конце концов, эта организация, в свое время внушавшая столько надежд пролетариату, столько страха и ненависти его врагам?

Мне кажется, что в истории русского революционного движения до сих пор господствует большая путаница в понимании природы этой организации.

В изданной в 1906 г. «Истории Совета Рабочих Депутатов» Троцкий следующим образом выразил господствовавший в то время среди советских деятелей-меньшевиков взгляд на природу Совета:

«... Сущность Совета состояла в том, что он был или стремился стать органом власти. ...Совет осуществлял власть, поскольку она уже фактически была в его руках; он непосредственно боролся за власть, поскольку она оставалась в руках военно-полицейской монархии. До Совета мы находим в среде промышленного пролетариата революционные организации, в подавляющем большинстве социал-демократические. Но это — организации в пролетариате; их непосредственная цель — борьба за влияние на массы. Совет есть организация пролетариата; его цель — борьба за революционную власть»[1]).

Такое представление о петербургском Совете Рабочих Депутатов мне представляется в корне ошибочным.

В чем проявлялось осуществление власти Советом? В том, что в дни забастовки его слово могло остановить или пустить в ход любое предприятие. Эта власть распространялась исключительно на рабочих и ограничивалась лишь одним вопросом —

---

[1]) «Совет и революция», стр. 9.

бастовать или работать[1]). Но **такую** власть в **каждой** забастовке осуществляет руководящий движением орган, — будь то стачечный комитет, профессиональный союз или биржа труда[2]).

А вне этих пределов в деятельности Совета не было ничего, что можно было бы признать за «осуществление власти». Ибо требуется слишком пылкое воображение, чтобы усмотреть «осуществление власти» в ночном захвате десятком вооруженных людей типографии для отпечатания очередного

---

[1]) В цитированной книге Сверчкова высказывается прямо противоположный взгляд на характер власти петербургского Совета: «Распоряжения Совета, утверждает автор (стр. 146), выполнялись беспрекословно и точно не только рабочими, которых он представлял, но и огромной массой обывателей. Со всеми нуждами они шли в Совет, и власть Совета оказывалась достаточной для того, чтобы разрешить вопрос, не разрешаемый официальными правительственными учреждениями». Достаточно сопоставить эти категорические утверждения с тем убогим фактическим материалом, которым подкрепляет их автор, чтоб убедиться, что мы имеем дело с творимой легендой. К Совету обращались сотни тысяч рабочих и редкие единицы из нерабочей среды.

[2]) Недавно Н. Подвойский во 2-ом № „Историко-революционного Бюллетеня" (Москва, 1922 г.) напомнил, что **первый** Совет Рабочих Депутатов был создан в мае 1905 г. во время стачки Иваново-Вознесенских рабочих. В этом Совете Н. Подвойский видит «новую форму пролетарской власти». И действительно, если и в петербургском Совете видеть «орган власти», то нет оснований смотреть по иному на Совет, собиравшийся весной 1905 г. под Иваново-Вознесенском. Но Иваново-Вознесенская забастовка была в свое время подробно описана в зарубежной с.-д. печати (в «Искре» и «Пролетарии»). Это была чисто экономическая стачка без всяких политических лозунгов. Администрация вначале относилась к ней терпимо, не препятствуя собраниям забастовщиков на р. Талке. А кончилось это выступление рабочих довольно печально, — погромом, в котором вместе с забастовщиками участвовали казаки. Орган, руководивший забастовкой, был самым обыкновенным **стачечным комитетом**, и в свое время никому не приходило в голову видеть в нем особую «форму власти».

№-ра «Известий», или в вынесении резолюций, или в издании воззваний, или в выдаче пособий безработным!

Была, правда, в деятельности Совета полоса, когда он создавал рабочие дружины и охранял порядок и спокойствие в рабочих кварталах. Но то же самое в период погромов делали все революционные — да и не только революционные — организации, и это не дает оснований смотреть на них, как на органы власти.

Правда, в те дни, когда Совет был на вершине силы, петербургские рабочие говорили о нем: «наше правительство». Но этим они выражали лишь степень своего доверия к своему выборному органу. Точно так они могли назвать «рабочим правительством» свой профессиональный союз или партийный комитет.

А ярлыки черносотенной прессы? Ехидные замечания «Нового Времени» о двух правительствах, существующих в Петербурге, — правительстве графа Витте и правительстве Хрусталева?

Нет сомнений, что так отнеслась бы реакционная пресса к каждой революционной организации, которая оказалась бы достаточно влиятельной и сильной, чтобы заставить своих врагов считаться с собой. Но публицисты-черносотенцы плохие эксперты для определения природы того или другого возникающего в ходе революции органа!

Может быть, Совет стремился стать органом власти?

Намек на такое стремление можно найти в обращении к Городской Думе с требованием о вы-

даче денег на организацию рабочей милиции. Но это относится к кампании, предпринятой Советом в те дни, когда он еще не имел политического веса, еще не нашел своего революционного призвания. Вся эта кампания была откликом искровского плана создания органов «революционного самоуправления», и в дальнейшем Совет не возвращался к возбужденным в эти дни вопросам.

Совет боролся за установление революционной власти, но он ничем не обнаруживал притязания стать носителем этой власти. Он мыслил революционную власть, как власть всенародную, вышедшую из всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, — эта точка зрения ясно выражена во всех его политических резолюциях. Другими словами, Совет стремился к установлению *народовластия*, но отнюдь *не к захвату власти*[1]). И в этом его стремления совпадали со стремлениями революционных партий, которые тоже добивались установления революционной власти, не претендуя на роль исключительных ее носителей.

Итак, Совет *не был и не стремился стать органом власти. Но чем же* был он в таком случае?

---

[1]) Я не сомневаюсь, впрочем, что при ином обороте событий, — в частности, если бы переход на сторону революции воинских частей передал в руки Совета материальную, вооруженную силу, — в Совете могло бы появиться стремление стать органом власти. Не сомневаюсь и в том, что при такой ситуации, — то есть, при резком под'еме революционной волны, — большевики, относившиеся весьма ревниво к росту влияния и силы Совета, переменили бы свой взгляд на Совет. Но все это — рассуждения о том, что могло бы случиться, но что не случилось, — по крайней мере в 1905 г.

Всего Совет собирался 20 раз[1]), — в том числе 7 раз (13, 14, 15, 17, 18, 19 и 20-го октября) во время октябрьской забастовки и 5 раз (2, 3, 4, 5 и 6-го ноября) во время ноябрьской забастовки. Из остальных заседаний одно (1-го ноября) решило об'явить всеобщую забастовку в защиту кронштадтских матросов, другое (13 ноября) отвергло предложение о всеобщей забастовке в ответ на локаут, третье (19 ноября) было посвящено изысканию средств поддержать забастовку почтово-телеграфных служащих. Остаются еще пять заседаний: 22 октября — отказ от демонстративных похорон, 29 октября — решение о революционном введении 8-часового рабочего дня, 12 ноября — отказ от дальнейшей борьбы за 8-часовый рабочий день, 27 ноября — обсуждение ареста Хрусталева и 3 декабря — несостоявшееся заседание, о котором я расскажу ниже, и арест Совета.

Вот весь пройденный Советом Рабочих Депутатов жизненный путь. И окидывая его общим взглядом, мы ясно видим, что Совет был ничем иным, как стачечным комитетом петербургских рабочих, но при этом, стачечным комитетом, который руководил политическими стачками исключительного исторического значения, стачками, отмечавшими высшую точку под'ема революционной волны.

Стачечный комитет! Не больше и не меньше! Он возник в ходе октябрьской забастовки, принял на себя руководство ею, довел ее до конца, и остался на посту, ликвидируя ее последствия и

[1]) Подробно о всех заседаниях см. в „Истории Совета Рабочих Депутатов г. С.-Петербурга".

держась наготове на случай возникновения новой стачки. Он провел и вторую всеобщую забастовку, и после нее остался распутывать стоявшие перед рабочей массой вопросы.

Совет был плотью от плоти и кровью от крови петербургского пролетариата. И вместе с тем, он был продуктом определенного исторического момента — октября 1905 года.

Как вся рабочая масса, как все революционные партии, он верил в близость вооруженного восстания, жил этой верой и в ней почерпал утешение и силы в дни поражений.

Он звал к восстанию и был уверен, что, со своей стороны, это восстание подготовляет. Но как ничтожна выполненная им в этом направлении работа! Несколько сотен револьверов и дробовиков, ночные патрули за заставами, железные пики и ворох воззваний...

В действительности, будучи по природе своей стачечным комитетом, Совет не имел в руках иного оружия борьбы, кроме забастовок, и потому в те минуты, когда забастовка была невозможна, он оказывался безоружен и бессилен перед врагом, — и это бессилие его лишь в слабой степени прикрывалось словесным огнем резолюций. Какой вопрос ни вставал перед Советом, практическое решение его всегда сводилось к дилемме: забастовка или резолюция. Первое решение означало тактику наступления, второе — отступление перед врагом.

Не Совету принадлежала заслуга октябрьских побед пролетариата, и не на нем ответственность за ноябрьские поражения. Но в эти бурные дни он

18*

жил жизнью, мыслями, чувствами, волей рабочей толпы, жил ее надеждами и ее иллюзиями, ее радостями и ее горем. Вместе с рабочей массой ему суждено было, после коротких часов упоения победой, пережить горечь поражений. И это сообщает его облику в истории отпечаток не только величия, но вместе с тем какого то глубоко трогательного драматизма.

III. В ДЕРЕВНЕ.

Крестьянский вопрос в 1905 году. — Поездка в деревню.— Учительский с'езд.—В крестьянской избе.—Конец с'езда.— Митинг в сельской школе.—«Коровья смерть».—Неудача.— Застава. — На стекольном заводе. — Нападение. — На ст. Боровенке. — Самосуд. — Глаза. — Арест.

С каждым днем все больше внимания уделялось на наших митингах, на партийных собраниях и в революционной печати крестьянскому движению и аграрному вопросу.

Я уже говорил о том, что борьба между социал-демократами и эсэрами при открытии высших учебных заведений в середине сентября сводилась к спору, какой ожидать революции, — городской или деревенской, рабочей или крестьянской. Позже, в период заводских митингов, полемика между обеими партиями вновь выдвинула на передний план вопрос о крестьянстве. А с начала ноября, когда стала выясняться трагическая изолированность рабочего класса и обреченность чисто городского революционного движения в земледельческой стране, внимание рабочих масс с какой то стихийной силой обратилось к вопросу о роли крестьянства в завязавшейся борьбе. В середине ноября не было другого вопроса, который хоть приблизительно в такой мере интересовал бы петербург-

ских рабочих. У меня осталось вполне отчетливое впечатление, что после ноябрьской забастовки рабочая масса Петербурга чувствовала, что даже вопрос об армии, вопрос, который она пыталась разрешить своим выступлением в защиту кронштадтских матросов, может быть окончательно разрешен лишь восставшей деревней.

Но деревня была для городской революции 1905 года неразрешимой, мучительной загадкой.

Я лично, как человек, никогда не бывавший в деревне и знавший крестьянскую жизнь лишь по литературе, чувствовал свою полную беспомощность перед лицом этой загадки. И мне казалось, что почти столь же беспомощны были перед нею товарищи, считавшие себя знатоками аграрного вопроса и выступавшие на митингах от имени «многомиллионного крестьянства».

В глубине России, в деревне, творилось что-то большое, непонятное. Газетные сообщения не давали ясной картины протекавших там процессов.

В первых числах октября, еще до начала всероссийской забастовки, вспыхнули с неожиданной силой аграрные беспорядки в Саратовской губернии. Оттуда пожар перекинулся в Самарскую губернию. Затем запылали помещичьи усадьбы в Курской, Воронежской, Орловской и Тамбовской губерниях, на Украйне, на Кавказе, в Польше, в Прибалтийском крае. «Красный петух» гулял по России...

В дни первой забастовки казалось, что эти поджоги помещичьих усадеб, разгромы экономий, винокуренных и сахарных заводов знаменуют начало всеобщего крестьянского восстания, которое

должно слиться в единый могучий поток с движением городского пролетариата. Но на другой день после опубликования манифеста, рядом с рубрикой «аграрных волнений» в газетах появился новый обширный отдел сообщений из провинции: «погромное движение». Те же самые мужики, что вчера громили помещиков, сегодня с трехцветными флагами, с царскими портретами, под руководством полиции шли бить крамольников.

К концу октября погромы в городах пошли на убыль. Возобновились поджоги помещичьих усадеб в деревнях. Кое-где местная полиция пыталась противодействовать беспорядкам. Появились известия о насильственных действиях крестьянской толпы против представителей власти, — здесь убили исправника, там разгромили полицейское управление, в другой губернии помяли нескольких урядников. Но при приближении воинских команд беспорядки прекращались повсюду — по крайней мере, в Центральной России.

В Москве собрался крестьянский с'езд. На него одни смотрели с надеждой, другие со страхом, от него ожидали многого. Но очень быстро на него установился в обществе взгляд, как на собрание ненастоящих крестьян. Внушали недоверие и революционные приговоры крестьянских обществ, появлявшиеся в газетах, — особенно, в эсэровском «Сыне Отечества».

Что представляют собой эти приговоры и речи на крестьянском с'езде? спрашивали себя очень многие: Подлинный ли это голос крестьянской России, или мнение отдельных кучек, потерянных в крестьянском взбаламученном море?

Тогда трудно было определить причины такого недоверия к раздававшимся из деревни голосам. Теперь причины этого недоверия слишком очевидны.

В середине ноября аграрные беспорядки утихли. Оказалось, что за 1½ месяца в 300 уездах разгромлено, сожжено, разрушено, в общей сложности, около 2 000 усадеб, экономий, заводов.

2 000 — цифра огромная. Но и Россия огромна: число усадеб и экономий в ней почти в 100 раз больше этой цифры. Значит, пострадал приблизительно 1% помещиков, в аграрных беспорядках участвовало около 1% крестьян. А остальные 99%?

О них мы не знали ничего.

В Совете Рабочих Депутатов не раз подымался вопрос о необходимости теснее связаться с крестьянским движением.

5-го ноября, в тот самый день, когда решено было прекратить вторую забастовку, в Совете выступила делегация от крестьян Сумского уезда. Ее встретили бурными овациями.

Представитель деревни просил Совет разрешить крестьянам присоединиться к стачечному движению. Он рассказывал, что в Сумском уезде с весны действует крестьянский союз, который уже провел с успехом экономическую забастовку в ряде имений. Теперь крестьяне ждут лишь разрешения, чтобы примкнуть к политической борьбе пролетариата.

Это заявление было отмечено, как отрадный симптом, было принято, как Благая Весть...

Помню еще одно выступление представителей крестьян в петербургском Совете. Но на этот раз выступали крестьяне окрестностей Колпина, и было совершенно ясно, что, под видом отчета о настроениях деревни, они говорят о том, что думают рабочие Колпинского завода.

Итак, во второй половине ноября, когда, истощая остаток своих сил, петербургский пролетариат с тоской и надеждой ждал помощи со стороны «братьев — крестьян», — во второй половине ноября мы очень мало знали о настроениях деревни, и «установление связи между двумя отрядами революционного народа, пролетариатом и крестьянством» оставалось для нас музыкой будущего.

Меня лично в эти дни очень тянуло в деревню — тянуло так, как манит путешественника вглубь неисследованной страны, полной тайн и опасностей...

И вот, совершенно случайно, мне пришлось, прямо с заседания петербургского Совета, перенестись в деревенскую глушь, в захолустья Новгородской губернии. Я пробыл там всего три дня, и с моей стороны было бы смешно утверждать, что за эти несколько дней я узнал русскую деревню.

Но все же, то, что я видел в деревне, представляется мне не лишенным интереса, — хотя бы потому, что только здесь, в деревенской глуши, я почувствовал по настоящему, какая пропасть отделяла городское движение 1905 года от мужицкого моря. Непригодными оказались здесь все мои понятия, все представления, — казалось, я попал в новый мир, а между тем я был всего в нескольких часах езды от Петербурга.

Эта поездка отчетливо сохранилась в моей памяти. На следующих страницах я хочу рассказать о ней, — без чрезмерных подробностей, но со всей доступной мне точностью.

Оговариваюсь, это — не характеристика р у с с к о й д е р е в н и в 1 9 0 5 г о д у, а лишь описание того, что я видел в Крестецком уезде Новгородской губернии в течение 3 дней — 20, 21 и 22 ноября 1905 года.

* * *

Я говорил уже, что попал в деревенскую глушь совершенно неожиданно, прямо с заседания Совета Рабочих Депутатов. Это заседание происходило 19 ноября, в разгар почтово-телеграфной забастовки. Помню прекрасно зал Вольно-Экономического Общества, нахмуренные, серьезные лица рабочих депутатов, их речи. Обсуждался вопрос, как помочь почтово-телеграфным служащим. Как в прежние дни, раздавались призывы к борьбе до конца, но уже не было за этими призывами прежней силы. И в настроении собрания чувствовалась какая-то неуверенность, надломленность, будто пепел сомнения уже покрыл сердца, еще недавно горевшие энтузиазмом.

Я сидел в глубине зала, у стены, слушал внимательно речи, и чем дальше слушал их, тем тяжелее становилось у меня на душе.

Ко мне подсел Евгений (А. Литкенс). Угадывая мое настроение, он шепнул мне:

— Что, товарищ Сергей, скучно здесь?

— Да, невесело.

— Говорил я вам, нужно уезжать отсюда в деревню.

Евгений, действительно, уж несколько раз заговаривал с мной о том, что партия должна была бы серьезнее заняться крестьянством и мобилизовать для работы в деревне не только все интеллигентные силы, но и передовых рабочих. Он предлагал мне поставить этот вопрос перед ораторской коллегией и Петербургским Комитетом. Но я каждый раз отговаривался тем, что не знаю деревни и условий работы в крестьянстве.

На этот раз я ответил:

— Что же? Я поехал бы... Но куда?

Евгений расцвел:

— Выйдите со мною. Я расскажу вам...

Мы вышли в обширную комнату перед залом заседаний. Здесь, на ворохах сваленного прямо на пол верхнего платья, виднелись свернувшиеся фигуры спящих людей, — агитаторы, сваленные усталостью после ряда тревожных дней и бессонных ночей. Уныло бродили по комнате понурые, тоже смертельно усталые люди.

Евгений, спеша, волнуясь, рассказывал мне:

— Представьте, прихожу я сегодня на явку, а там товарищ прямо из деревни, сельский учитель. Его в Петербург послали за литературой и агитаторами. Завтра у них с'езд учителей с целого уезда. Готовые связи, готовые кадры работников! Вы, товарищ Сергей, понимаете, что это значит? Сговоримся с учителями, поможем им немного, устроим десяток митингов, — и через неделю целый уезд закреплен за революцией. А тем временем подготовим с'езд учителей в соседнем уезде, — и

туда! Еще неделя, — и второй уезд за нами. В какой-нибудь месяц подымем всю губернию:

— Увлекаетесь, заметил я.

— Ничуть! Важно только точку опоры отыскать. А какая точка опоры для работы в деревне лучше, чем сеть союзов сельских учителей? Вот, вы увидите сами. Ведь вы едете со мной?

— А где с'езд?

— Недалеко здесь... Шесть часов езды по Николаевской железной дороге. Вот адрес: станция Боровенка, Хоринская школа, спросить учителя.

— Хорошо, едем!

Поезд отходил в 1-м часу ночи. В вагоне 3-го класса было тесно и шумно. Сев друг против друга у окна, мы с Евгением попытались, было, заснуть. Но в нашем отделении загорелся спор. Сцепились двое: долговязый парень в мятой бескозырке и плотный, бородатый мужчина в теплой шубе. Оба «под градусом».

Парень настойчиво твердил:

— Я кровь свою проливал за Рассею.

А бородач на каждое его слово возражал:

— Врешь.

Это выводило парня из себя.

— У меня все факты налицо! кричал он.

— Знаем вашего брата. Врешь.

— Я тебе документы в формальности представлю, что кровь проливал.

— А ты какого полка?

— Генерала Мищенки летучего отряда на левом фланге.

— А полк твой как звался?

— Да не полк, а отряд!

— Вот и врешь, — какой солдат без полка?

— Да я под самым генералом Мищенкой кровь свою проливал! Понял ты?

Этот спор заинтересовал пассажиров. Сгрудились со всех сторон. Тянутся любопытные лица из соседних отделений.

Долговязый парень полез в свой чемоданишко, искал там каких то «фактов», но ничего не нашел и все твердил:

— Я кровь свою проливал за Рассею. Япония нам — раз плюнуть — давно б сокрушили.

А бородач в шубе упрямо стоял на своем:

— Все врешь.

Евгению эта сцена показалась забавной, он рассмеялся.

Парень в бескозырке обиделся.

— Ты чего зубы скалишь? напустился он: Рад, что жиды Рассею сгубили. Ты кто?

Бородач неожиданно перешел на его сторону и строго сказал:

— Оно и впрямь, жиды Рассею сгубили, да и радуются. Оно б любопытно узнать, куда вы ехать изволите.

Евгений ответил задорно:

— Еду, куда хочу, а отвечать вам не буду.

Я, разумеется, поддержал его.

Парень из летучего отряда обратился к столпившимся вокруг пассажирам:

— Братцы! Вот они, погубители наши. Жиды ли, скубенты ли, шут их разберет. А только через них Рассея погибла, продали ее нехристи супостату.

Бородач и еще два-три пассажира поддакивали ему. Мы с Евгением не знали, смеяться или сердиться, — казалось нелепым ни с того, ни с сего попасть в пьяный скандал.

А парень становился все назойливее.

— Должен я действовать, кричал он, размахивая руками: когда я верноподданный за веру, царя и отечество.

Но тут из соседнего отделения кто то крикнул:

— Сюда, товарищи! Тут черная сотня завелась. Иди на верноподданного смотреть!

В проход между лавок протиснулось человек пять в картузах, в полупальто. Один из них, с виду мастеровой, взял за плечо человека в шубе.

— Борода, это ты тут про жидов раззорялся?

— Да что ты? заволновался тот: Господь с тобой! Да я ни слова... По своему делу я еду, торговля у меня. Меня в Пскове все знают...

— А кто тут верноподданный?

Долговязый парень растерянно сопел носом.

— Охота вам, товарищ, с пьяными связываться, сказал я мастеровому: У вас в отделении место найдется?

— Потеснимся маленько.

Перебрались в соседнее отделение. Там ехала компания рабочих-металлистов, нанявшихся на какой то завод под Москвой, все молодые, веселые, революционно настроенные. Затянули рабочую марсельезу. Мы не заметили, как прошла ночь и начало светлеть небо.

Вот и ст. Боровенка. Попрощавшись с нашими попутчиками-рабочими, вылезаем из вагона.

Длинная платформа. Возле вокзала кучка станционных строений. Кругом лес и снег. Справа, за полотном железной дороги, сплошной стеной тянутся осыпанные снегом темные сосны. Слева, за вокзалом, теряется среди сугробов проезжая дорога.

Где же тут Хоринская школа? Спросить некого. Начальник станции и станционный сторож, пропустив поезд, ушли куда то. Ушел вслед за ними и молодцеватый жандарм. На платформе, кроме нас, остался лишь один мужичок, — невысокого роста, в желтом тулупе, в теплой шапке, в кожаных рукавицах.

— Его, что ли, спросить?

Мужичок подошел к нам. Лица его нельзя разглядеть. Брови, усы, борода сплошь покрыты инеем и ледяными сосульками.

— Вы, господа, видать, не здешние? спросил он нас: Не из Петербурга ли приехали? Может, ищете кого?

— Да, нам бы в Хоринскую школу, к учителю...

— А вот я вас доставлю. Вас то я и поджидаю. Который поезд пропустил, все жду...

Мы лежим в душистом сене на скрипучих розвальнях и, ныряя между сугробами, несемся куда то...

За станцией спуск под гору, здесь раскинулось несколько десятков крестьянских изб. Это деревня Боровенка. Дальше поля, черные изгороди, четкие силуэты деревьев; еще дальше, посреди снега, кучка изб, будто игрушечные домики высыпаны на голубовато-белую скатерть. А вот еще деревушка, вот третья.

Как все это непохоже на картины, оставшиеся позади!

Наш возница, повернувшись к нам лицом и бросив вожжи, рассказывает:

— Вчерась, это, говорит мне учитель: «Хочешь, Лазарь, хорошему делу пособить?» — А я ему: «От тебя, говорю, Фома Григорьич, мы окромя хороших дел плохого не видели». — «А, коли так, говорит, то поезжай-ка на станцию, — там, ночью или под утро, добрые люди к нам приедут, из самого Петербурга. А мест они наших не знают и дороги найти не сумеют, так ты их, говорит, к нам в Хорино представь». — Вот, я и поехал. Потому, Фомой Григорьичем очень мы довольны. Сколько у нас учителей перебывало, а лучше него мы не видали. Газетки теперь общество через него получает. Большая от этого польза.

Ровной рысцой бежит вся белая от инея лошаденка. Скрипят, качаются розвальни. Кругом ни души. Синее небо, голубой снег. И плавно течет неторопливая речь Лазаря. Жалуется, что земли мало, что леса нет, что все места получше «еще при реформе» помещиками захвачены.

Мы с Евгением слушаем, и от его слов льется в душу бальзам спокойной веры в крестьянство, в русский народ, в революцию.

— Видите? шепчет мне Евгений: Вот, как здесь подвинута работа. Много ли еще нужно? Меньше, чем через неделю...

— Шш... успокаиваю я его: Слушайте!..

А Лазарь продолжает говорить. Теперь он рассказывает о предстоящем учительском с'езде:

— Впрямь, хорошее дело. Соберутся, это, учителя со всего уезда, потолкуют и о нашем крестьянском деле. Авось, что и придумают.

* * *

Приехали в Хорино. Небольшое село, все занесенное снегом. У церкви бревенчатый дом с надписью над крыльцом: „Школа". Напротив большая изба. В'ехали в растворенные настежь ворота.

Лазарь постучал в окошко и доложил радостно:

— Фома Григорьич, привез тебе гостей.

Из избы вышел учитель, здоровяк с широкой улыбкой на румяном, смуглом лице, с целой копной волос на голове.

Поздоровавшись, он повел нас в избу. Но приостановился в сенях, будто вспомнил что то и спросил шопотом:

— От Комитета или от Группы?

— От Комитета.

Улыбка еще шире разлилась по его лицу, и он сказал:

— Вот это хорошо! Терпеть не могу меньшевиков, — совсем не годятся для работы в деревне.

Вошли в избу. В обширной, в три окна, горнице, было человек двадцать, все больше молодые люди в высоких сапогах или валенках, в пиджаках поверх цветной рубахи. Отдельной кучкой держались в углу, у окна, девушки, скромно, но опрятно одетые, с отпечатком чего то праздничного и в одежде, и в позах, и в раскрасневшихся с мороза лицах.

Фома Григорьич подвел к нам пожилого человека с совершенно лысой головой:

— Вот, товарищи, познакомьтесь, — председатель нашего с'езда, можно сказать, вдохновитель нашей работы, товарищ Соколов.

Старик отмахивался:

— Какой я вдохновитель? В мои то годы!... Рад, что попал к вам, пока меня за старостью и ненадобностью со службы не выгнали...

В это время к нам приблизилась странная фигура, на которую я с самого начала обратил внимание, — человек огромного роста, в длиннейшем черном сюртуке, в «крахмалях», с гордо поднятой головой, рябым лицом и слегка раздвоенным на конце утиным носом. Протянул мне руку и, отчетливо шаркнув ногой, отрекомендовался:

— Учитель Зайцев.

Затем сообщил конфиденциально:

— Собственно говоря, с'езд этот из-за меня. Но со временем все об'яснится.

Хоринский учитель, довольно неловко оттиснув Зайцева в сторону, предложил нам:

— Хотите школу посмотреть?

Перешли через дорогу. Учитель отпер дверь школы и ввел нас в классную комнату.

Обычная обстановка, но на всем следы заботливости, внимания, — свеже выбеленные стены, тщательно вытертые стекла, на полу ни соринки.

— Вот моя школа! с гордостью говорил учитель: Три отделения. Хотел я здесь вечерние собеседования с крестьянами устраивать, да не вышло: законоучитель пожелал присутствовать. А он не то, чтобы плохой человек, да все же стесняет мужи-

ков. Приходится собираться то у меня в избе, то у Лазаря, то в сельском правлении, — туда о. Михаил не полезет... Да сегодня он в от'езде, сегодня можно бы и в школу мужиков созвать. О. Михаилу я сказал бы, что и его приглашал, да не застал дома...

К избе учителя под'езжали санки и розвальни. Вылезали из них люди, покрытые инеем, видно, приехавшие издалека.

Со двора кричали:

— Куда хозяин запропастился? Иди, Чучин, собрание открывать!

Мы вернулись в избу учителя. Теперь в горнице набилось уже человек пятьдесят. Установили лавки, взятые из сеней и со двора, приладили какие то доски, — и все разместились. Было тесно, но весело, стоял гул голосов. С любопытством смотрели на нас.

Чучин три раз хлопнул в ладоши и спросил:

— Что же, откроем собрание?

— Можно! Пора!

— Так будем просить старшего из нашей среды, тов. Соколова, председательствовать.

— Просим, просим!

Соколов, сидевший у стены на лавке, поднялся.

— Благодарю вас, друзья, за честь, но я с этим делом не справлюсь. Будем просить Чучина: он при случае и прикрикнуть сможет, и кулаком по столу стукнет, а я — какой председатель?

В конце концов, выбрали президиум: Соколова — председателем, а хоринского учителя — на помощь ему, товарищем.

19*

— Об'являю с'езд народных учителей Крестецкого уезда открытым, провозгласил Соколов: Приступим, друзья, к выработке порядка наших занятий.

— Прошу слова! поднялся Зайцев.

Он вытащил из бокового кармана сложенную вдвое тетрадку, разгладил ее на колене и начал:

— Я человек прямой и не позволю себе действовать исподтишка, как другие. Если мы за правду стоим, то, как передовой элемент, должны сказать это при полном свете гласности. У меня здесь записаны все обвинения, и я готов представить фактические опровержения, так что, раз вы собрались здесь судить меня, судите, а только душа моя чиста перед людьми и перед Богом...

Наклонившись к Соколову, я тихо спросил его:

— Он — сумасшедший?

— Не совсем, раздумчиво ответил председатель: но человек нехороший, тяжелый. Мы его на с'езд не звали. Да он стороной пронюхал и, вот, явился...

— Так остановите его, что он несет?..

— А как же свобода слова? колебался старик.

А Зайцев, между тем, продолжал свою речь:

— Говорят, я учеников бью. Где доказательства? На Аксютку Климову ссылаются, — так это такая дрянь - девченка, что всего я, извините, даже рассказать здесь не могу, и покорнейше прошу уволить...

— Много было, опять, разговору, будто я, в пьяном виде, о Рождество, с отцом дьяконом подрался и бутылкой голову ему попортил. Так я на то скажу: весь уезд меня знает, и всем известно, что я хмельного в рот не беру. А что до дьякона

то какой он служитель святого алтаря, когда он вор и разбойник, и сукин сын, и сам первый же драку начал?..

Тут Соколов, несмотря на свободу слова, решил вмешаться.

Но много усилий пришлось затратить ему и Чучину, чтобы остановить оратора. Да и то не знаю, справились ли бы они со своей задачей, если бы на помощь им не подоспел молодой скуластый учитель мужиковатого вида, заявивший:

— Чего на него смотреть? За шиворот его, — да за дверь.

Выработали порядок дня: 1) Цели об'едининия учителей; 2) Форма об'едининия (союз или партия?); 3) Ближайшие задачи.

По вопросу о целях об'едининия первым говорил Соколов. Говорил он просто, задушевно, но немного скучно. Во время его речи учителя подходили к Чучину и что то шептали ему на ухо, поглядывая в нашу сторону, — видно, предлагали дать слово петербургским гостям.

Когда начал говорить Евгений, собрание насторожилось. То, что он говорил, была самая обыкновенная агитационная речь — о революции, о долге интеллигенции народу, о том, что в «единении сила». Но какую яркость вновь обретали здесь слова, уже выцветшие и поблекшие на петербургских митингах!

Снова, как в сентябре, перед нами были люди, еще не изведавшие ни сомнений, ни разочарований.

Когда Евгений кончил, один из учителей попросил слова.

— Мы в деревне работаем, сказал он, а рево-

люция идет, все больше, из городов. Товарищи из Петербурга, может, об'яснят, как нам наше дело с ними связать?

Председатель попросил меня сделать «доклад». Из собрания раздавались новые вопросы, просили раз'яснений, дополнений. Пришлось говорить без конца.

В это время в горницу вошло человек пять крестьян с нашим знакомцем Лазарем во главе. Чучин подошел к ним, пошептался, затем вернулся к председательскому столику, довольный, улыбающийся.

Когда я кончил, он сказал:

— Теперь, товарищи, время обеденное, пора перерыв устроить, подкрепиться.

Ему ответили хохотом:

— Перерыв сделать недолго, а с обедом придется подождать.

— Разве ли ты накормишь?

— Верно, у Фомы Григорьича на сорок человек обед приготовлен, то-то он угощает.

— Приготовлен, товарищи, отвечал учитель: Хоринские крестьяне просили меня сообщить собранию, что всех членов с'езда они считают гостями общества. Просят всех к себе, по избам, пообедать, чем Бог послал.

А мужики стояли в дверях, кланялись в пояс, подтверждая приглашение учителя.

Это было трогательно и красиво.

* * *

Разбрелись по крестьянам. Мы с Евгением пошли в избу Лазаря. Старик был преисполнен гордости от того, что у него обедают петербургские гости.

Семья у него была большая, за стол село человек пятнадцать мужиков, баб, ребятишек. Обед был праздничный — огромный пирог с капустой, щи с говядиной, кисель. Ели медленно, степенно. Лазарь и его старший сын поддерживали с нами «политический» разговор. Спрашивали, будут ли еще забастовки, скоро ль вернутся войска из Манчжурии.

Мы с Евгением не могли очнуться от изумления: так вот, что творится в деревне! Мужики, оказывается, распропагандированы не хуже, чем рабочие.

Начали расспрашивать Лазаря о местных делах:

— Как у вас крестьяне настроены?

— Ничего, спасибо Фоме Григорьичу, начали разбираться.

— А в других деревнях?

— Деревня на деревню не похожа. Где кто силу имеет, — где поп, а где учитель, где бедняки, а где богатые.

И глубоко вздохнув, старик прибавил:

— Забастовки шибко нашему делу повредили.

Это было для нас неожиданностью, — мы были так уверены, что забастовки революционизировали деревню.

Лазарь об'яснил нам:

— Обижались мужики, что чугунка стала. Сколько народу вокруг нее кормится, а как пошли забастовки, — все голодом насиделись. С этого и начались промеж нас раздоры. Вот, к примеру, наше Хорино, а в 20 верстах — Боровенка. Кажись, здесь мужики и там мужики, — одна партия. Да только мы, хоринские, до чугунки не касаемся, —

разве ли когда в город с'ездить. Так, коли сегодня нельзя, — через неделю, а то и через месяц поедешь. А боровенковские крестьянское дело запустили, за чугунку держатся. Потому и пошла у них злоба.

После обеда зашел в избу Лазаря Чучин. Вид у него был встревоженный. Оказалось, что из Новгорода приехали агитаторы-меньшевики от местной «группы»; хоринский учитель, сам правоверный большевик, опасался, как бы они не испортили столь блестяще начатое нами дело.

Мы поспешили в избу учителя, посмотреть на меньшевиков и выяснить, насколько велика опасность. Но убедились, что страхи Чучина лишены оснований.

Один из меньшевиков — немного нескладный, бородатый человек с близорукими глазами и добродушным лицом — говорил, заикаясь, робея, и повидимому, меньше всего готовился к схватке с нами. Другой — молодой конторщик с вьющимися волосами и еле пробивающимися усиками — сам горел желанием послушать петербургских агитаторов. Опасность таилась лишь в приехавшей с ними маленькой брюнетке, в пенснэ с черепаховой оправой, на широкой черной ленте.

Здороваясь с нами, она пожаловалась на Фому:

— Мы приехали бы раньше, но товарищ, — конечно, неумышленно, — сообщил Группе, что с'езд начнется завтра. . .

Я выразил сожаление по поводу этого недоразумения и предложил в дальнейшем вести дело дружно, сообща.

Меньшевики были обезоружены. Мы сговорились о дальнейших выступлениях. Бородатый

меньшевик и молодой конторщик отказались от слова, брюнетка в пенснэ заявила, что, прежде чем говорить, она должна познакомиться с составом собрания. Таким образом, — к большому удовольствию Чучина — все «доклады» остались за мной и Евгением.

* *
*

Теперь в горнице было теснее, чем поутру, — набралось порядочно местных крестьян. Они не садились, жались вдоль стен, стояли кучкой в дверях. Возобновилось заседание с'езда. В начале заседания вышел маленький инцидент. Зайцев вновь потребовал слова и принялся выкладывать свои обиды.

— Тут много говорили, начал он, а о главном не сказали ни слова. Почему? Потому что нужны доказательства. А доказать труднее, чем за спиной клеветать на благородного человека...

Председатель прервал его, скуластый парень опять предложил решительные меры, и Зайцев умолк, бросив напоследок:

— Напрасно, господа, стараетесь вы обойти наболевший вопрос!

На очереди был второй пункт порядка дня — о форме об'единения учителей. Я раз'яснил собранию, чем отличается партия от союза, и каковы взаимоотношения между об'единениями одного и другого типа. Приняли решение: учредить профессиональный союз народных учителей Крестецкого уезда, а внутри союза образовать ячейку Российской Социал-Демократической Рабочей Партии. О том, к какой фракции примкнет эта ячейка,

вопроса мы не подымали, но знали, что Чучин не даст большевизма в обиду.

Перешли к вопросу о ближайших задачах и сразу согласились на том, что не время толковать об улучшении материального и профессионально-правового положения учителей, что эта задача разрешится сама собой, когда изменятся общие политические условия жизни в России.

Соколов выразил общее мнение с'езда, сказав:

— Думается мне, друзья, что две задачи стоят перед нашим союзом: первое — не на словах, а на деле об'единить учителей, и при том не в одном уезде, а много шире; второе — направить наши силы и силы крестьян к народному благу.

Уже давно начались сумерки. Чучин поставил зажженную свечу на председательский столик.

Евгений горячо, с увлечением развивал свой план превращения в с е х народных учителей России в кадры революционных агитаторов и вождей в приближающемся всенародном вооруженном восстании.

Как легко было бы доказать утопичность этого плана! Как легко было бы вспомнить, что вожди восстания рекрутируются по иным признакам, чем учителя народных школ! Но собрание было под обаянием новых для него слов, и когда Евгений своим звонким голосом призывал учителей немедленно, теперь же, встать во главе крестьян и вести их на помощь изнемогающим в борьбе братьям-рабочим, на штурм самодержавия, — участникам с'езда все казалось возможным.

Сидевшая недалеко от меня учительница, указывая глазами на Евгения, шепнула соседке:

— Смотри, совсем как Михаила Архангела на иконах пишут!

Резолюция, говорившая о том, что учителя отдадут все свои силы революции и немедленно приступят к устройству по деревням крестьянских митингов для привлечения к революционной борьбе всей крестьянской массы, была принята единогласно, — даже Зайцев голосовал за нее. Затем, избрали правление союза, установили размер членских взносов; Соколов вновь огласил принятые резолюции и об'явил с'езд закрытым.

Все поднялись со своих мест, обступили нас, жали нам руки, благодарили.

Чучин, радостно возбужденный, гордый успехом с'езда, обратился к нам:

— Вы не слишком устали, товарищи?

— А что?

— Хотите, сейчас же соберем все хоринское общество, митинг устроим?

— Не поздно ли будет?

— Ничего! Все равно, по случаю с'езда в деревне такой переполох, что никто спать не ложился. Часть мужиков на с'езде была, — очень им понравилось. Теперь другим рассказывают, — слышите?

Перед избой учителя, действительно, гудела толпа.

— Вот что, товарищи, возвысил голос хоринский учитель: Через четверть часа — митинг в школе. Петербургские товарищи покажут нам, как проводить крестьянские собрания. Всех членов с'езда милости просим на митинг, в качестве гостей.

Лазарь предложил:

— Значит, я побегу народ собирать?

— Ступай, всех как есть скликай.

— Неужто и баб звать?

— Всех зови — и баб, и мужиков, всем послушать полезно. Да смотри, чтобы старики собрались!

— Не бойся, Фома Григорьич, старики то не подгадят.

И Лазарь вышел из горницы.

Обстановка школьного митинга была для нас необычная, — как и все, что мы видели в этот день.

Стеариновая свеча на столике в переднем углу, под иконой, освещала лишь передние парты. Выступали из полумрака бородатые лица, косматые брови, узловатые, жилистые руки кирпичного цвета. Мужики сидели в тулупах, и космы их седых волос сливались, в мерцающем полусвете, с клоками овчины. Молодежь толпилась позади, за партами. Бабы и девки жались в проходе, у окон. Учителя прошли вперед и стояли кучкой сбоку, у столика.

В освещенном кругу у свечи — мы трое: Чучин, Евгений и я.

Открывая собрание, хоринский учитель сказал, указывая на нас:

— Крестьяне, вот люди, которые крепко стоят за народное дело. Из самого Петербурга они к нам приехали. Что они вам скажут, тому и верьте!

По тому, как слушала его толпа, можно было оценить, каким уважением пользовался молодой учитель в деревне.

Я посвятил свою речь последним событиям в Петербурге, — говорил об октябрьской забастовке, о Совете Рабочих Депутатов, о Кронштадтском

восстании. Слушали внимательно, но ничем не выражали одобрения...

После моей речи из группы учителей раздалось два-три хлопка, — и сразу сконфуженно затихли. Крестьяне оставались безмолвны.

Затем, Евгений говорил об учительском с'езде, и снова я — уж не помню, о чем.

Крестьяне слушали все так же, — внимательно, но с видом бесстрастия. Время от времени лишь кивали головами в знак согласия. Я не знал, хорошо ли идет у нас дело, или плохо. Евгению же хотелось во что бы то ни стало «расшевелить» толпу, выбить из нее искру энтузиазма. Внешнее безразличие мужиков сердило его, и он обратился с речью к бабам. Стал говорить о недавней войне, о том, как провожали крестьянки своих сыновей - запасных, как бежали по рельсам за поездом, увозившим их на Дальний Восток. Затем перешел к причинам войны и к безымянным солдатским могилам средь сопок Манчжурии.

Из кучки женщин слышались вздохи, всхлипывания, причитания. Когда Евгений стал говорить о пропавших без вести, о возвращающихся в деревни калеках, всхлипывания перешли в заунывный бабий вой. Старики, вначале сердито цыкавшие на женщин, тоже были растроганы, — смахивали слезы с глаз, громко сопели.

Заключение речи — нужно покончить с самодержавием, чтобы царь не затеял новой войны — было встречено открытым одобрением. По всем партам прокатилось:

— Правда! Истинная правда!

Пока говорил товарищ, я успел набросать проект резолюции. Показал Чучину. Тот одобрил и, когда улеглось немного вызванное речью Евгения волнение, сказал, обращаясь к собранию:

— Вы слышали, крестьяне, что говорили наши гости. Вижу я, что вы с ними согласны. А коли так, должны вы постановить приговор обо всем, о чем сегодня вы слышали. Правильно я сказал?

— Правильно!

— Читайте резолюцию, шепнул мне учитель.

Прочитав резолюцию, я сказал:

— Вот, крестьяне, решение, которое мы вам предлагаем. Если вы примете его, мы его напечатаем в газетах. Тех, кто согласен с этим решением, прошу поднять руку.

Ни одна рука не поднялась, но будто волны заходили по толпе. Поворачивались друг к другу тяжелые фигуры в тулупах, прыгали по стенам и по потолку огромные тени от свечи, нестройно гудели голоса.

Но вот, с передней лавки поднялся пожилой крестьянин, — седая борода, а волосы почти черные, весь огромный, грузный, будто коряжистый дуб в лесу. Широко ступив вперед, он трижды перекрестился и опустился на колени рядом со мной, лицом к народу. Поклонился в землю, стукнув лбом о половицу, снова перекрестился и, подняв высоко руку с пальцами, сложенными для крестного знамения, произнес твердо и торжественно:

— Присягаю. Все присягнем, православные!

Громче загудела толпа. Быстрей забегали тени по стенам и на потолке. Еще два старика — Лазарь

и еще другой — вышли из-за парт и опустились на колени, держа над головой правую руку со сложенными тремя перстами. Стали креститься и земно кланяться и другие. У окон бабы и девки подняли вой.

Теперь уже все мужики стояли на коленях, у всех руки были подняты кверху.

— Присягаем, повторяли десятки голосов.

Растерявшись, я шопотом спросил Чучина.

— Зачем они так?

— А как же иначе? Вы им приказали руки подымать. А руки у нас только и подымают, что при присяге.

— Это недоразумение... Я не знал... А почему женщины плачут?

— Думают, что война будет.

— Но я не говорил о войне!

— Так товарищ Евгений говорил. Да и вообще... Присяга, манифест, война, — по ихнему, это одно.

— Как же быть? пуще смутился я: Они меня не поняли. Об'ясните им...

— Зачем? пожал плечами учитель: Так даже лучше, пускай присягают.

И он громко обратился к толпе:

— Значит, постановили мы свято, как присягу, хранить наш приговор. Будем же твердо помнить, чему присягали! А теперь кончать пора, время позднее.

Крестьяне потянулись из школы. Морозный воздух серебристой струей ворвался в приоткрытую дверь. Из учителей одни собирались теперь же, несмотря на ночную пору, возвращаться к себе,

другие сговаривались о ночевке в Хорине. Учительницы просили нас приехать помочь им вести пропаганду. Давали нам названия деревень, об'ясняли, как ехать. Особенно настойчиво приглашала нас учительница из школы при стекольном заводе Шатько: говорила, что завод, на котором она учительствует, имеет значение для целой волости, что почва там уже подготовлена, — хотя не так хорошо, как в Хорине, — что при небольшом усилии там многого можно добиться. Мы условились с нею, что завтра же приедем на завод.

* * *

Чучин, сговорившись с нами и частью учителей, что мы еще посидим, потолкуем у него в избе, побежал ставить самовар. Ушел куда-то и Евгений. Я задержался, переписывая резолюцию, и вышел из школы одним из последних.

Остановился на крыльце. Ночь была темная, безлунная. Тьма казалась еще гуще от блеска звезд. Не видно было ни дороги, ни изб. Лишь кое где пробивался свет сквозь щели ставен.

Вдруг кто-то схватил меня за рукав, и торопливый голос произнес над самым моим ухом:

— Погоди, барин! Дело до тебя есть.

От косяка двери отделилась неясная тень. Человек в полушубке загородил мне дорогу.

— Ты, барин, все знаешь, — так должен мне правду сказать. Христом-Богом прошу, — всю правду скажи.

— Хорошо, хорошо, товарищ, успокаивал я

незнакомца: Спрашивайте, что вас интересует, — я постараюсь об'яснить.

— Я тебя, барин, напрямик спрашивать буду. Скажи: от кого смерть коровья?

— Как? Что вы сказали?

— От кого смерть коровья пущена? От царя или от скубентов? Правду скажи, — тебе, барин, правда известна.

Лицо незнакомца приблизилось вплотную к моему лицу, и я узнал эти беспокойные глаза под всклокоченными бровями, эти морщинистые щеки и русую мочалистую бороденку: этого мужика я видел в избе учителя во время с'езда, а в школе он все время стоял недалеко от меня, в полосе света, внимательно слушал, и вместе с другими опустился на колени, принимая присягу.

— Не понимаю, о чем вы меня спрашиваете, сказал я.

А мужичок продолжал:

— За всех крестьян прошу тебя, барин, скажи — от кого смерть коровья? Потому, — из города приезжали люди и дорогу смерти казали, — которая дорога ей открыта, а которая заказана. И заговор говорили, и поперек дороги кресты ставили, — где три креста поставлены, той дорогой смерти хода нет. Пока крестов не снимут, смерти по христианским дворам ходить, а господского скота не трогать... Теперь ты, барин, из города приехал и за народное дело стоишь. Ты и скажи всю правду: кто на нас смерть коровью пускает, — скубенты или царь?

— Ничего не понимаю! О чем вы говорите? Какие люди к вам приезжали?

В голове моей шевелилась мысль, не сумасшедший ли стоит передо мною.

С растущей тревогой, с мукой в голосе, мужичок говорил:

— Разные люди с города приезжали, — енералы, доктора, скубенты. А когда смерть пущали, правило ей было положено: в одном обществе больше недели ходу ей нет. Сколько за неделю коров передавит, — все ее. А какая скотина за неделю устоит, на ту власти ее уже нет. Потому, господа кресты отговаривают, и заставы снимают, и дорогу открывают, чтоб коровьей смерти в другое общество переходить...

— У вас падеж скота? догадался я.

Мужик продолжал:

— От чьей причины, никак дознаться не можем. Фому Григорьича спрашивал, — то ли он не знает, то ли на него зарок положен, чтобы правды народу не открыть, а только и от него ничего не узнал. Теперь тебя спрашиваю, как перед истинным Господом Богом. Напрямик скажи: от царя смерть пущена, али от врагов русского царства?

В это время со двора напротив послышался голос Чучина:

— Скоро ль вы, товарищ? Самовар уже готов.

— Подите сюда на минутку! позвал я учителя: Тут меня спрашивают об одном деле...

Чучин подошел ко мне и, вглядевшись в лицо моего собеседника, сказал:

— Что ж ты, Егор, человека на морозе задерживаешь? Пойди ко мне в избу, там поговорим. Верно, опять о коровьей смерти спрашивал?

— Все о том же, Фома Григорьич.

— Так я же об'яснял тебе: болезнь по скотине гуляет; ветеринары, доктора скотские, болезнь эту лечат, — для того и по деревням ездят. Ну, а болезнь прилипчивая, нужно, значит, так сделать, чтобы от скотины к скотине хворость не шла...

Понуря голову, плелся за нами крестьянин. Зашел в горницу, робко присел на краешек лавки, зажав шапку между колен. Беспокойно смотрел на нас, и в его глазах я читал мучительную тоску и скрытую вражду к нам, скрывающим от него правду о коровьей смерти.

* * *

Переночевали в избе у учителя, на составленных по-двое лавках. Утром открыли «военный совет», чтоб обсудить план дальнейших действий. Совещались вшестером, — меньшевики из Новгорода, мы с Евгением и Чучин. Брюнетка в пенсне заявила, что должна вернуться в город. Ее спутники — землемер Залога и конторщик Александров — решили вместе с нами заняться об'ездом деревень. Мы предлагали им поделить с нами уезд и условиться, где будут работать они, где мы с Евгением. Но они настаивали, что лучше начать всем вместе; ссылались на то, что у них нет опыта, что они должны присмотреться, как мы ведем дело.

Напрасно уверял я их, что у нас с Евгением опыта не больше, чем у них, что ничему они от нас не научатся, — наш вчерашний успех и принесенная крестьянами присяга ослепляли их.

В конце концов, решили начать об'езд деревень сообща и разделиться уже попозже, дня через три.

Стали соображать куда ехать, в первую очередь.

Чучин об'яснил нам, что Хорино лежит почти по середине уезда: по одну сторону — помнится, к северу — волости сравнительно зажиточные, по другую сторону — к югу — деревни малоземельные и бедные. В бедных деревнях настроение крестьян революционное; в деревнях побогаче — сильна черная сотня.

Чучин предлагал нам начать об'езд с южной части уезда. Евгений возражал:

— Там учителя и без нас справятся. Наша помощь нужна, где условия всего хуже.

Я вспомил, что мы обещали посетить стекольный завод Шатько, и спросил Чучина:

— Это где будет, — к северу отсюда или к югу?

— К северу, в самой темной волости.

— Ну, туда и поедем!

По совету Чучина, решили по дороге на завод заехать еще в две деревни.

Выехали на двух розвальнях, — нас с Евгением опять вез Лазарь, а хоринского учителя с Залогой и Александровым взялся доставить до завода один молодой крестьянин.

Поездка была приятная. Дорога шла то лесом, то открытым полем; под яркими лучами солнца снег сверкал, как серебряная парча. На душе было радостно и светло.

В ближайшую деревню, которую указал нам Чучин, — не помню ее названия, — приехали около полудня. Остановились у школьного учителя.

Он встретил нас приветливо, пригласил откушать с ним хлеба-соли, и, пока мы, с дороги, грелись у печки, побежал к старосте распорядиться собрать мужиков в школу.

Изба учителя была поменьше, чем в Хорине, но тоже хорошая, опрятная. Стены ее были сплошь заклеены лубочными картинками религиозного содержания. Тут были и изображения святых, и виды Иерусалима, и какие то монастыри, и огромный лист с собором угодников Киево-Печерской лавры, и портрет о. Иоанна Кронштадтского.

— Слишком много святости, заметил я Чучину.

Тот об'яснил благодушно:

— Ничего не поделаешь. Степан на дочери попа женат, приходится ему с родней считаться...

Вернувшись в избу, учитель принялся хлопотать об обеде. На столе появился каравай хлеба, горшок с маслом, крынка молока, вскоре поспел и чай. Но жена его не показывалась из соседней горницы, — хозяйничал он один.

Мы расспрашивали Степана о настроениях крестьян. Он отвечал как то неопределенно:

— Ничего, слава Богу... Полегоньку, нельзя же все сразу... Наладится как-нибудь.

Когда пришло время отправляться в школу, где собрались мужики, он робко попросил нас:

— А нельзя ли, товарищи, полегче немного?.. Мужики то здесь не то, чтобы очень того, а больше так, что называется... Не отпугнуть бы их... Главное, хоть это, конечно, предрассудки, а Бога перед ними лучше не задевать...

Мы обещали учителю, что не будем касаться религиозных вопросов, — и он стал спокойнее, будто тяжесть свалилась у него с души.

Классная комната была узкая и длинная, с дверью почти в самом углу; подле двери стояли столик и стул учителя. На ученических партах расселись мужики. Но всем мест не хватило, стояли вдоль стен и в дверях. Баб и подростков на сходку не пустили. От собрания веяло каким то холодком.

Представить нас мужикам учитель не сумел, пробормотал лишь, запинаясь:

— Вот... из Петербурга приехали... а зачем приехали, они сами скажут...

Мужики смотрели на нас с любопытством и, как мне показалось, с недоверием. Я начал с того, что деревня, вероятно, слыхала о недавних событиях в Петербурге, о забастовках, Совете Рабочих Депутатов, манифесте, но едва ли знает обо всем подробно и точно; вот, мы и приехали об'яснить крестьянам петербургские дела.

Этот приступ, как будто, заинтересовал мужиков.

Но мой рассказ о борьбе петербургского пролетариата с самодержавием не нашел пути к сердцам слушателей. По мере хода моей речи, лица мужиков становились всё темнее. Наконец, один из стариков, сидевших впереди, перебил меня:

— Нет, ты скажи, с чего чугунка стала!

— Да я говорил вам, как и почему началась забастовка. Не мог рабочий народ...

Но старик вновь перебил:

— Ты то говорил, а мы слушали, да только мы, мужицким нашим умом, иначе понимаем. Потому

чугунка стала, что господа порешили крепостное право вернуть.

Заговорили все разом, и нельзя было разобрать, говорят ли все одно и то же, или спорят, препираются между собой. Я пытался продолжать речь, но мой голос тонул в увеличивавшемся с каждой минутой шуме. Выступил вперед Евгений. Начал говорить о крестьянском движении, об аграрных беспорядках в различных частях России, о том, как революционные партии решают земельный вопрос.

Его мужики слушали сочувственно, вставляя время от времени:

— Это — на нашу пользу.

Недоверие к нам рассеялось. Попросили меня рассказать о манифесте 17-го октября. Соглашались с тем, что власть должна принадлежать народу. Все чаще раздавалось:

— Это — на нашу пользу.

Я перешел к выяснению преимуществ республики перед монархией. Но тут старик, раньше спрашивавший меня о чугунке, опять перебил меня.

— А как же с царем будет?

Я ответил:

— А царя — по шапке.

— Царя то? переспросил недоверчиво старик.

— Очень просто. А если царь пойдет против народа, то и голову ему не сносить...

Над собранием будто буря пронеслась. Мужики поднялись со своих мест, крича, размахивая руками. А старик, подойдя ко мне вплотную, сказал:

— То — как будто за нас говорил, а теперь —

танов сказал, что, выходит, должны мы вас связать и по начальству представить.

— Вяжи их! кричали из задних рядов: То-то они на чугунку остановили.

Евгений сделал несколько шагов вперед, толпа окружила его. Подымались вверх кулаки. Положение становилось угрожающим; я вспомнил о револьвере и, опустив руку в карман, на всякий случай, передвинул предохранитель.

Мужики считали нас арестованными. Послали за веревками. Я сделал последнюю попытку. Поднявшись на лавку, я кричал мужикам:

— Вам не нравится то, что я сказал про царя. Вязать нас хотите? Ладно же! Таких, как мы, многие тысячи. В городе, на чугунке, все так думают. Вяжите нас, а выйдете вы из деревни, так в городе или на чугунке наши вас вязать будут: ты за царя стоишь? так вот же тебе! Этого вы хотите?

— Нет, отвечали из толпы: Мы шуму не хотим, а только царя ругать непозволим. Нам царьнадобен.

Я продолжал увереннее:

— Вам он надобен, а нам — нет. Выходит, возьмем топоры, ружья, да и пойдем друг на друга. Кто больше народу перебьет, того правда и будет. Этого вам надо?

— Нет, убийства мы не хотим, отвечали мужики: А только без царя народу нельзя.

— А если ваша деревня одна только за царя стоит, как тогда быть? спрашивал я.

— Весь народ за царя, гудела в ответ толпа: Не можешь ты против народа итти.

Тогда я предложил:

— Пусть же соберутся со всей России выборные люди. Как решат они, так пусть и будет.

— Это можно, подтвердили мужики.

Я принялся развивать идею Учредительного Собрания. Слушали хмуро, но не перебивали.

А когда я кончил, один из крестьян обратился к толпе:

— Чего их вязать? И впрямь опосля с забастовщиками хлопот не оберешься. Пусть их едут...

— Пускай проваливают! отвечали голоса.

Старик, повидимому, игравший роль патриарха в деревне, сказал нам:

— Ну, ребята, мир порешил отпустить вас... Уносите ноги...

Толпа расступилась, и мы вышли из школы.

На крылечке нас поджидали Лазарь и другой возница из Хорина, оба уже одетые для дороги. Лазарь, посмеиваясь, сказал хоринскому учителю:

— Что, Фома Григорьич, видать, здешним далече до нашего общества. Ишь, дурачье! Царь им надобен! А у нас лошади уж запряжены, — можно ехать.

На него наша неудача не произвела впечатления, — «шум» вышел на сходке, — всего то и было.

Но местный учитель был совершенно подавлен. Он весь дрожал, в лице у него не было ни кровинки.

Взглянули на часы, — было около 3-х часов. Решили ехать в ближайшую деревню, там провести вечерний митинг, а на стекольный завод отправиться на следующий день.

* * *

Сидя втроем — с Евгением и Лазарем — в розвальнях, мы старались понять, почему это так недружелюбно приняли нас мужики.

Лазарь об'яснял дело очень просто:

— Дураки они здесь, чего с них спрашивать?

Поднявшись на холм, мы увидали перед собой толпу мужиков[1]). Их было человек двадцать. Одни сидели на умятом снегу у дороги, другие стояли прямо на колее, загораживая путь. У всех были палки в руках, у многих топоры за поясом. Спереди всех, прямо посреди дороги, стоял, опираясь на охотничье ружье, плотный мужик в крытом сукном полушубке. Он поднял руку и окликнул нас:

— Стой! Что за люди?

Мы с Евгением и хоринским учителем, вылезши из розвальней, подошли к нему.

— Здравствуйте, старики! поклонился крестьянам Чучин.

Никто не ответил на поклон. А мужик с ружьем повторил вопрос:

— Вы что за люди?

— Мы учителя, едем в вашу деревню[2]).

— А откуда едете?

— Издалеча.

— Так. А не те ли вы люди, что по деревням ноне ездят, народ смущают?

---

[1]) Следующая ниже сцена была рассказана мною в повести «На последнем этапе», при чем в рассказе были изменены лишь имена, а вся обстановка была описана настолько точно, насколько позволяла мне память.

[2]) Название этой деревни, как и предыдущей, совершенно выпало у меня из памяти.

— Смущать мы никого не смущаем, а дорога никому не заказана.

— Врешь, крикнул мужик с ружьем: Вам заказана... Чему вы народ учите?

Лазарь, подошедший к мужикам, ответил за нас:

— Хорошие люди добру учат...

Чучин, ободренный этой поддержкой, подхватил:

— Вот приедем мы к вам, соберем общество, вы и узнаете, чему мы учим. Правде мы народ учим, одной только правде.

Мужик с ружьем ответил сердито:

— Врешь! Правду твою пес с'ел, а в деревню вам пути нет.

Крестьяне полукругом обступили нас. Под их злобными взглядами Чучин начал теряться. Евгений, вспомнив, вероятно, как удалось ему днем исправить дело после моей речи, поспешил ему на выручку.

— Мы к вам с добром едем, сказал он: Насчет земли об'ясним...

Но мужик с ружьем перебил его:

— Врешь! Насчет земли мы и без вас понимаем, а ваше добро пусть с вами останется, нам оно ненадобно.

И вся толпа зашумела:

— Нам вас не надобно! Уезжай, откуда приехали! Проваливай!

Угрожающе подымаются палки. А старик с ружьем говорит внушительно и строго:

— От опчества нашего постановлено, чтобы вас не слушать. Бога по-вашему нет и царя не надоть?

Чугунку остановили, на коров смерть пущаете? Поворачивай живо!

Дорога была узкая, слева и справа возвышались сугробы. Трудно было повернуть лошадей. Розвальни наши опрокинулись, вожжи запутались. Никто из мужиков не шевельнулся помочь нам.

Когда мы, наконец, повернули, Евгений укоризненно обратился к крестьянам, попрежнему стоявшим поперек дороги:

— Спасибо! Всем мы расскажем, как вы нас приняли.

— Вас бы не так еще следовало, отозвался сердитый голос из толпы: Куда теперь поедете?

— На стекольный завод, ответил Евгений: Там правду слушать не побоятся.

— Там вас давно ждут. Поезжайте!

Мы двинулись в путь. Когда от'ехали довольно далеко и поднялись на холм, я взглянул назад, — мужики все еще стояли на дороге, загораживая путь, и в этой черной заставе посреди бесконечной пелены снега было что-то вызывавшее в памяти образы старых сказок...

* * *

На стекольный завод мы приехали к началу сумерок. Завод стоял над крутым обрывом. За ним теснилась куча домиков, — не то деревушка, не то рабочий поселок. Внизу, под обрывом, лежала другая деревня, с церковкой по середине, с широко раскинутой по снегу паутиной черных изгородей.

Мы поднялись на пригорок за заводом. Дорога была раз'езжена, песок и глина проступали сквозь грязный снег, лошадям было тяжело. Мы вылезли

из розвальней и пешком дошли до длинного, свеже покрашенного школьного дома. Здесь помещалась также и квартира учительницы. Окна ее были задернуты белыми занавесками. Когда мы поднялись на крыльцо, краешек одной из занавесок чуть-чуть приподнялся, — кто-то всматривался прежде чем решить, открыть ли дверь.

Затем, в сенях послышались легкие шаги, дверь отворилась, и звонкий девичий голос окликнул нас:

— Это вы, товарищи? Входите, входите! Как это хорошо! Какое счастье!

Нас встретили в сенях две девушки, — учительница заводской школы и ее подруга, учительница из деревни, расположенной под обрывом.

Войдя в комнатку с завешенными окнами, мы заметили, что они сидели в потемках. На наш вопрос, почему они не зажигают света, учительницы об'яснили нам:

— Мы, по правде, боялись немного, чтобы крестьяне не заметили.

Засветили лампу. Учительницы стали рассказывать нам о местных делах.

Еще вчера, когда они были в Хорине, кто то пустил по деревне слух, что не спроста учительницы отлучились, что за ними приезжали из города з а б а с т о в щ и к и. Несколько раз мужики из нижней деревни приходили к школьному дому, справлялись у сторожа, где заводская учительница, стучали в двери, заглядывали в окна, бранились, грозились. А утром собрали сход и вызвали туда обеих учительниц. Священник громил жидов и крамольников, призывал стоять за царя. Ста-

роста потребовал от учительниц ответа, где пропадали они целый день накануне. Учительницы показали, что были у знакомого учителя. Посыпались новые вопросы:

— У какого учителя? Кто еще был там? О чем говорили?

Учительницы, догадываясь, что их возница успел рассказать о с'езде, признались, что были в Хорине, куда с'ехалось много учителей с уезда. А на вопрос, о чем говорили, отвечали уклончиво — толковали, мол, о своих делах. Относительно вечернего митинга об'яснили, что учителя читали собравшимся в школе крестьянам манифест насчет земли.

Священник все допытывался:

— А о Боге что говорили? А как святую церковь хулили?

Староста грубо толкнул учительницу нижней школы и схватил ее за горло, требуя, чтобы она сказала всю правду. Раздавались предложения спалить школу. Затем, учительниц отпустили, сход продолжался без них.

Обе учительницы были крайне перепуганы. Но наш приезд ободрил их.

— Как хорошо, что вы приехали, повторяли они: Вы мужикам об'ясните все, покажете им, что о. Александр их обманывает. Вы все исправите...

Увы! Мы уже не были столь уверены в чудодейственной силе наших слов. Но некогда было предаваться сомнениям, нужно было действовать.

Мы предложили послать сторожа в нижнюю деревню сказать крестьянам, что на стекольный завод приехали те самые люди, которые говорили

по учительском с'езде в Хорине; что эти люди приглашают всех мужиков на собрание в заводскую школу, потолковать о манифесте и о земле; а особенно просят, мол, пожаловать о. Александра и старосту. Заводскую школу мы выбрали для собрания с тем расчетом, чтобы иметь перед собой не только крестьян, но и заводских рабочих, которые могли бы, в случае нужды, поддержать нас.

Наш план показался учительницам превосходным. И пока сторож спускался в деревню, они весело занялись приготовлением чая и ужина. Смеялись, заранее торжествуя нашу победу над о. Александром.

Сторож вернулся и передал нам, что мужики согласны притти в школу, а батюшка не согласен. Он передал и ответ священника:

— Чего я к ним пойду? Пускай они ко мне придут, в церковь.

Нечего делать, от дискуссии с попом приходилось отказаться.

В школу собралось человек сто мужиков. В углу особняком держалась кучка мастеровых, одетых по городскому.

Мы начали с вопроса о земле, — и то, что мы говорили, повидимому, понравилось мужикам. Постепенно враждебная настороженность, с которой они нас встретили, исчезала. Раздавались даже отдельные возгласы сочувствия.

Затем, мы говорили о манифесте, о Государственной Думе, об Учредительном Собрании. Казалось, крестьяне слушают с возрастающим интересом. Желая вызвать их на беседу, я спросил.

— Может быть, не все, что мы говорили, было

понятно? Спрашивайте! Мы рады будем ответить, об'яснить...

Приземистый, бородатый мужик средних лет сердито ответил:

— Чего вас спрашивать? Разве правду от вас узнаешь? Народ обманывать — вот ваше дело.

И он повернулся к мужикам.

— Православные! Будет их слушать, идем к себе, пока они нас под присягу новому царю не подвели!

Толпа зашевелилась. Раздались крики:

— Идем к себе! Чего дураков слушать? Разве они правду скажут?

Потянулись в двери. В школе осталось человек сорок, — мастеровые да десяток деревенских парней, — ни одной сивой бороды...

Один из мастеровых сказал нам:

— Вы, пожалуйста, продолжайте.

Решили продолжать митинг. Теперь говорили о социализме.

Вдруг раздался сильный удар в ставню, за ним другой, третий. Молодой, высокого роста, мастеровой, вглядевшись сквозь щель ставни в темноту ночи, громко сказал:

— Ишь, черти! Нужно двери заложить.

Он вышел в сени; слышно было, как возился он с засовами. И не успел он вернуться, как удары посыпались градом и по ставням, и в двери. Разлетелось стекло в окне, пахнуло холодом, лампа начала мигать и тухнуть.

Мастеровой снова вглядывался в темноту то через одно, то через другое окно. Затем, сказал:

— Поленьями лупят. А немного их здесь, двадцати человек не наберется. Ежели в ножи пойти, в миг угомоним...

Человек пять из заводских обступили его, совещались о плане вылазки. Мы просили их не обращать внимания на мужиков и продолжать собрание.

Но вести беседу в избе, со всех сторон бомбардируемой поленьями, было не так легко. Удары в ставни раздавались все чаще, все сильнее; трещали доски, дребезжали стекла.

Высокий парень крикнул:

— А ну, ребята, в ножи!

Вытащив из-за голенища ножик вершков в шесть, он бросился к двери, за ним еще несколько человек. С гиком выскочили на крыльцо, — но до кровопролития дело не дошло: мужики обратились в бегство.

Мастеровые вернулись в школу, торжествующие, гордые успехом. Иные из них вертели в руках ножи и, видимо, досадовали, что не удалось подраться.

Продолжать беседу было невозможно, и мы поспешили закрыть собрание. Рабочие, расходясь, благодарили нас и советовали учительницам не спускаться в нижнюю деревню и держаться поближе к заводу.

* * *

После митинга мы перешли на половину учительницы.

Я еле держался на ногах от усталости. Голова шла кругом от множества впечатлений. Было досадно на себя.

Но учительницы были довольны, — им казалось, что наши речи запали в души крестьян.

— Мужики будут обдумывать то, что слышали в школе, об'ясняли они нам: будут между собой толковать, и убедятся, что все это правда. Ничего, что они с митинга ушли, — это староста их сбил, потому что испугался... Теперь все пойдет хорошо.

Но все же обе девушки решили на два-три дня уехать из деревни и переждать где нибудь в более спокойном месте, пока все уляжется. Чучин предложил им перебраться к нему, в Хорино.

Перед от'ездом учительницы приготовили нам чай.

В это время кто то осторожно постучал в двери. Учительница вышла в сени, сняла засов и отступила в испуге. Через порог переступил мужик средних лет, высокий, красивый, с черными волосами и широкой бородой.

Учительница из нижней деревни шепнула мне:

— Это Герасим, брат старосты, первый черносотенец...

Мужик степенно перекрестился, поклонился всем нам и приветливо спросил:

— Чаек попиваете?

— Да.

— Разрешите присесть?

— Садитесь!

Сев, Герасим обратился ко мне и к Евгению:

— Я к вашей милости. Пришел поблагодарить вас, что не гнушаетесь нашим братом. Спасибо

вам за науку, — вижу теперь, что ваша правда, что и впрямь за народ вы стоите. От всего общества вам спасибо.

Встал, низко, в пояс, поклонился нам и обернулся к учительницам:

— Вы, барышни, на нас не сердитесь, что утром на сходе мы пошумели. Известно, мужик — дурак. Откуда нам правду знать? А вот, как ученые люди нам рассказали, теперь мы понимаем и прощенья просим.

Он поклонился вновь. Учительница, зардевшись от удовольствия, сказала ему:

— Это ничего, Герасим. Мало ли что случается... Выпейте с нами чаю.

Мужик осторожно взял стакан и, дуя на блюдечко, начал разговор. Посетовал на темноту крестьян и на то, что газетки в деревне никак не достать. Справился, давно ли мы из Петербурга, и верно ли, что скоро новая будет присяга. Затем спросил:

— Заночуете вы здесь или думаете домой возвращаться?

Услышав, что мы собираемся в обратный путь, заметил:

— Дорога то подле завода больно плоха, — один песок. Вы горой или низом сюда ехали?

Лазарь ответил, что ехали мы горой. Герасим покачал головой:

— Ежели низом, мимо риги, ехать, лошадям много легче, да и на Хорино низом прямая дорога.

— Низом мы и поедем, подтвердил Лазарь.

Посидев с четверть часа, Герасим поднялся, еще

21*

раз поблагодарил нас за науку, поклонился и вышел.

Учительницы были в восторге, подумывали даже отказаться от поездки в Хорино, но, в конце концов, решили ехать с нами.

Через поселок мы шли пешком, пустив вперед порожние розвальни.

Чучин с учительницами и новгородские товарищи шли тропинкой справа от дороги, мы с Евгением шагали прямо по колее. Вдруг, шагах в двадцати перед нами, вынырнули из темноты две странные фигуры, — не то мужики, не то бабы. Вглядевшись, мы разобрали широкую поповскую шубу. Евгений, решив, что это о. Александр с дьяконом, предложил мне подойти к ним и пристыдить их за то, что они натравливают мужиков против учительниц. Но странные фигуры внезапно исчезли.

Теперь дорога шла по опушке леса. Справа стеной тянулся ельник, слева, над косогором, шли плетни и изредка вырисовывались поверх них крыши крестьянских изб. Одна изба, больше других, без всякой изгороди, без двора, стояла впереди других, над самой дорогой.

Когда мы поровнялись с ней, из темноты раздался крик:

— Стой!

Из за избы выскочили на дорогу люди с кольями.

Мы с Евгением выхватили револьверы. Я успел крикнуть товарищам:

— К саням! Садитесь все!

Люди с кольями надвигались на нас. Евгений выстрелил. Толпа отхлынула. Но с косогора по-

летели в нас палки, куски льда, — может быть, бросали и камни.

— Стреляйте! шепнул мне Евгений.

Я оглянулся назад. Шагах в тридцати от нас товарищи теснились у розвальней. Такое же расстояние отделяло нас от нападавших...

Я не решился стрелять, но не мог об'яснить Евгению, что мешает мне нажать собачку, и только повторил:

— К саням!

Розвальни двинулись: Лазарь и другой возница оказались оба в передних санях; во вторых же розвальнях некому было сдержать лошадь, так как попавшие туда учительницы, перепуганные выстрелом, бросили вожжи и с головой зарылись в солому. На наше счастье нападавшие тоже были напуганы выстрелом и, видя, что мы с Евгением вооружены, медлили.

Мы успели добежать до саней. Толпа бросилась вслед за нами. Кричали:

— Стой! Отдай револьвер! Держи их!

Опять летели в нас колья, куски льда.

Евгений схватил вожжи.

Я опустился на задок саней с браунингом наготове. Но расстояние между нами и нападавшими увеличивалось с каждой минутой. Сплоченная вначале толпа наших преследователей теперь растянулась, распалась на отдельные группы. Почти вплотную за санями бежало лишь двое, но они уже бросили свои колья, промахнулись оба, и были теперь безоружны и безопасны для нас.

Стрелять не пришлось. Погоня прекратилась. Лишь вслед нам неслись крики, ругательства, проклятья.

Съехав верст пять от завода, мы остановились, дали отдохнуть лошадям, расположились поудобнее, и затем продолжали путь. Ехали лесной дорогой; в шорохе ветвей нам слышался топот погони, крики, угрозы.

Уже брезжил рассвет, когда мы добрались до Хорина.

* * *

Спать эту ночь нам пришлось недолго. Поутру стали соображать, что делать дальше.

Ясно было, что северные волости уезда настолько взбудоражены, что в данный момент собирать там крестьянские сходы невозможно. Нужно выждать пока уляжется тревога, и дать время учителям хоть немного подготовить почву.

Мы решили проехать в ближайший город, Чудово, связаться с местными рабочими, захватить из них человек 5—6, знакомых с местными условиями и способных вести пропаганду среди крестьян, и после этого вернуться в уезд.

Попрощавшись с Чучиным и с учительницами, отправились на ст. Боровенку. Вместе с нами поехали Александров и Залога. На этот раз возницей села в розвальни баба, одетая по мужски, — в тулупе, в валенках, в мохнатой шапке.

— Мужики все в лес ушли, об'яснила она нам: Дележка сегодня у них.

Опять прыгают, качаются розвальни. Кругом картина невозмутимого покоя, мирного зимнего

сна. А на душе тяжело. В одной деревне нам присягали, в другой—нас чуть не связали, в третью — не пустили вовсе, а в заключение — это ночное нападение, выстрел, погоня...

Баба-возница повернулась к нам:

— Неладно мы, это, на Боровенку едем. До другой станции верней было бы... На Боровенке мужики больно злые.

— Ничего, успокаиваем мы ее: Какое нам до них дело?

Под'езжаем к Боровенке. При в'езде в деревню, против кузницы, толпится народ, человек тридцать мужиков. При нашем приближении кто то крикнул:

— Гляди, едут!

Сошли толпой на дорогу позади наших саней, и идут следом за нами к вокзалу.

Дорога шла в гору, мы подвигались вперед медленно, шагом. Я обернулся, чтобы посмотреть, что за люди идут за нами, много ли их, и каковы их намерения. Из следовавшей за нами толпы послышался сердитый окрик:

— Чаво глядишь?

На площади перед вокзалом опять толпа, — мужики, бабы, ребятишки. Расступились, пропустили нас, и стеной сомкнулись позади.

Чувствуя, что дело плохо, я тихо сказал крестьянке, привезшей нас из Хорина:

— Ты, хозяюшка, здесь не задерживайся. Поезжай домой, скажи Фоме Григорьичу...

Она поняла, стала спешно поворачивать сани. Мы вошли в вокзал. Без 20 минут 2 часа... А поезд на Чудово приходит в 2 часа 10 минут... Значит, полчаса ждать...

Подошли к кассе, взяли билеты. У кассы стояли какие-то хорошо одетые люди, с виду не крестьяне, и пристально следили за каждым нашим движением. Делая вид, будто мы ничего не замечаем, мы вошли в зал III-го класса.

Большая квадратная комната. Три высоких окна на платформу. Под окнами — длинный дощатый диван, перед ним — крашеный стол. Справа — выход на платформу с стеклянной дверью фонарем. Слева — маленькая приоткрытая дверь в телеграфную, узкую комнатку с одним окном, выходящим на платформу. В глубине, против той двери, в которую мы вошли, другая дверь поменьше с надписью: «Для пассажиров I и II класса».

С платформы, сквозь окна, заглядывали люди, частью в меховых шапках, частью в картузах. Кучка мужиков вошла в зал следом за нами и встала в дверях.

Не могло быть сомнений, — мы попали в западню. Я предложил товарищам:

— Держаться вместе, вот в этом углу. Постараемся выиграть время. В случае нападения — стреляем. Затем — в телеграфную. Там продержимся до прихода поезда...

Встали в пространстве между столом и дверью телеграфной комнаты, — мы с Евгением впереди, новгородские товарищи за нами, в самом углу.

В зал медленно вливалась толпа. Вперед выступили трое, в длинных крытых сукном шубах. Залога шепнул мне:

— Я их знаю, — здешние купцы.

Подошли к нам вплотную, и один из них сурово спросил нас:

— Вы что за люди?

— Учителя, ответил я.

— Откуда?

— Из Чудова.

— Чему народ учите?

— Да вы что за начальство, чтобы спрашивать? возвысил я голос: Чему нужно, тому и учим.

— Тому учите, что Бога нет и царя не надо? крикнул купец: Знаем мы ваше ученье!

И повернувшись к толпе, уже на три четверти наполнившей зал, он указал на нас:

— Православные! Вот они — забастовщики.

В это время в передних рядах толпы я заметил станционного жандарма. Явилась мысль «использовать» его, чтобы выиграть время до прихода поезда, и я обратился к нему:

— Г. жандарм! Тут какие то люди пристают... Прошу вас составить протокол.

— О чем протокол? удивился жандарм: Люди эти достаточно нам известные. Они спрашивают, а вы отвечайте!

— Нет, это не по закону, возразил я: По закону, я частным лицам отвечать не должен, а вам буду отвечать лишь в том случае, если это для протокола, по всем правилам...

Часовая стрелка указывала 2 часа, оставалось 10 минут до прихода поезда.

Жандарм сказал:

— Вы здесь народ бунтуете, а я буду вам протоколы писать? Пускай народ вас и судит.

Купец крикнул:

— Бей их, православные!

Толпа двинулась на нас. Я вынул из кармана

браунинг с взведенным предохранителем и готов был стрелять, но медлил, — все еще хотел выиграть время. Евгений, тоже с револьвером в руке, стоял слева от меня. Он что то сказал мне, но за возраставшим с минуты на минуту шумом я не расслышал его слов...

И вдруг я заметил, что Евгения уже нет рядом со мной. Оттолкнув стол от досчатого дивана, он бросился в образовавшийся проход к выходной двери на платформу, — повидимому, в уверенности, что и мы следуем за ним. Два-три человека, стоявшие на его пути, шарахнулись в сторону от револьвера. Но сидевшей подле двери сторож в овчине и форменной железнодорожной фуражке с размаху ударил его по голове поленом, и Евгений упал.

В это время и оба новгородские товарища — не знаю почему — сделали попытку спрятаться от толпы и бросились вдоль стены под диван. Я остался один в углу. Сделал шаг назад, так что чувствовал одним плечом косяк двери в телеграфную, другим — стену.

Над теснившей меня толпой подымались кулаки, палки. А я все колебался, стрелять или не стрелять. Я видел, что Евгений лежит без движения на полу, и не знал, ранен ли он, или убит, не знал также, где другие два товарища. Чувствовал, что разогнать толпу выстрелами не удастся, что, на лучший конец, я смогу вырваться отсюда один, оставив моих спутников в руках мужиков. После минуты колебания, я передвинул предохранитель браунинга и опустил его в карман. Это было мое последнее сознательное движение. В этот момент я получил сильный удар по голове, какая то сила рванула

меня вперед. Я почувствовал соленый вкус во рту, в глазах потемнело. Я лишился сознания.

* * *

Когда я очнулся, я смутно различил вокруг себя серые и бурые валенки, и понял, что лежу на полу.

Поднес руку к глазам, — веки слипались от крови, кровью было залито лицо. Но я не чувствовал, чтобы был ранен. Медленно приподнялся, затем встал.

Два мужика схватили меня за плечи. Один из них крикнул:

— А ну, показывай, что у тебя в карманах.

Вытащили револьвер, перчатки, портмонэ, записную книжку, часы. Каждый предмет рассматривали с любопытством, рвали из рук друг у друга, — и потому сжимавшее меня живое кольцо становилось более широким. Заметив это, я сам достал из жилетного кармана запасную обойму браунинга и роздал патроны стоявшим ближе мужикам. В это время я увидел Евгения. Он лежал ничком на полу в одном белье. Его длинные светлые волосы были залиты кровью, и мне показалось, что кровь стояла лужей на полу, вокруг его головы. Я сделал шаг к нему, но меня снова схватили, сорвали с меня пальто, пиджак, сапоги; стали рвать кашнэ, и так крепко затянули его на шее, что у меня потемнело в глазах. Напрасно, подсовывая пальцы под скрутившийся в жгут платок, я пытался освободить горло. Но вот шелк разорвался, — и я почувствовал, что могу дышать.

В это время под'ехал поезд. Мелькали люди в окнах. Раздавались звонки, свистки. Толпа волновалась, раздавались крики:

— Не отдадим их! Своим судом кончим.

Но никто из проезжих не вошел в станционное здание. Поезд тронулся, платформа опустела. Кто-то толкнул меня. Я упал на пол около Евгения, услышал его слабый стон и понял, что он еще жив.

В толпе произошло движение. Был слышен взволнованный голос:

— Что делаете, братие? Грех великий... Опомнитесь!

К нам подошел священник высокого роста, молодой, в длинной шубе[1]). Сжимая наперсный крест в руке, он пытался образумить толпу.

Ему отвечали:

— Ты, батюшка, свое дело знай, а в чужие дела не мешайся.

— Убить их, — греха нет.

Священник не сдавался.

— Неправда, братие! Человека убить всегда грех. Отпустите их с миром! А если они преступники, — отправьте их в город, пусть суд разберет их дело.

— Не отпустим! ревела толпа: Они против Бога идут, царя ругают, церковь спалили, убить их надо.

— Здесь их и убьем!

И, уже наступая на священника, кричали:

---

[1]) Впоследствии я узнал его имя. Это был о. Николай Кульман, брат петербургского профессора словесности.

— Уходи, батюшка! Зачем пришел? Не твое здесь место.

Кто-то крикнул:

— Братцы, а ведь главный злодей то не здесь! Первая причина — это хоринский учитель.

Другие подхватили:

— За хоринским учителем! Тащи его сюда. Всех вместе кончать будем.

Часть толпы хлынула в двери, увлекая за собой и священника. Но большая часть осталась.

Евгений очнулся, узнал меня и, с трудом шевеля разбитыми губами, спросил бессмысленно:

— Вы живы?

Я сделал ему знак молчать. Он опустил голову ко мне на колени и снова закрыл глаза.

Мужики, обступив нас, спорили о том, что делать с нами.

Степенного вида пожилой крестьянин говорил:

— Чего тут? Приведут, этта, хоринского учителя, всех их тут и притюкнем, — хоть обухом, хоть чем...

Другой, маленький, суетливый, визгливо кричал:

— Братцы, а я так думаю, керосином облить их и сжечь, как они церковь спалили.

Но больше всех ярости проявлял человек в синей сибирке, с белокурой бородой во всю грудь, с голубыми глазами. Он все норовил ударить то Евгения, то меня и настаивал:

— Беспременно кишки им вымотать надоть за злодейства за ихние.

Он наклонился ко мне и, смотря мне прямо в лицо, тряся меня за плечо, с ненавистью кричал:

— Ты это выдумал, чтобы царя не было? Так не бывать же по твоему! Гляди-ка сюда!

Вытащив из кожаного кошеля серебряный рубль, он поднес его к самому моему носу:

— Это что? Рупь! А почему он рупь? Потому что царская особа на ём. А как ты царя сгонишь, а на место его мужика в лаптях посадишь, что тогда будет? Не рупь, а вроде щепки. Значит, я всю жизнь жилы себе рвал, деньги копил, а ты пришел, — раз плюнул, и у меня уж не деньги, а щепки. Этого хочешь?

И он кричал иступленно:

— Братцы, кишки им вымотать надоть.

Снова движение в толпе. В комнату вошли новые люди. С пола я их не видел. Мужики встретили их поклонами.

— Здравствуй, ваше благородие.

К нам приблизился полный человек с длинными рыжими усами, в серой шинели, в фуражке с кокардой. Посмотрев на нас, строго, по начальнически кинул толпе:

— Что за беспорядок? Кто приказал? Жандарм! Взять этих людей и отправить их в город. Представить в Губернское Жандармское Управление.

— Никак нет, ваше благородие, отвечали мужики: Мы их никому не дадим. Своим судом их прикончим.

— Как? Что? затопал ногами человек с кокардой: Своим судом? Убийство затеяли? Да еще в полосе отчуждения, в присутственном месте? При становом приставе! Да я вас! Да вы у меня...

Жандарм, проводи их до моих саней, я их с собой возьму.

Я приподнялся с пола, приподнял Евгения, искал глазами новгородских товарищей, собираясь итти за становым.

Но толпа не пустила нас. Раздавались крики:

— А ты то сам, ваше благородие, где был, когда мы их ловили? В карты играл?

— Не ты их словил, не ты и судить их будешь.

— Чего ребята смотреть на него? Видать он ихнюю руку держит.

Становой смутился и сбавил тону.

— Полно, ребята, уговаривал он мужиков: Вы их поймали, — вам за это благодарность будет. И что вы их своим судом поучили, — тоже хорошо. А теперь должен я, по закону, в тюрьму их доставить, чтоб они от вас, не дай Бог, не убежали.

— Небось, не убегут! отвечали крестьяне: Ты других лучше лови.

Стали говорить о том, что по всему уезду раз'езжают забастовщики и крамольники; что главное гнездо их в соседнем имении, — называли какую то баронессу с нерусской фамилией, говорили, что к ней поутру приехали неизвестные люди на четырех санях.

— Ты бы их ловил! кричали мужики становому: А тех, что мы поймали, не тронь.

В конце концов, становой заявил:

— Ну, ребята, делайте, как знаете, — сами же отвечать будете.

И взяв с собой человек десять мужиков, как

понятых, он отправился в соседнее имение[1]). Мы остались в руках толпы. Снова посыпались удары. Нас с Евгением опять бросили на землю.

Подошел жандарм. Сел на досчатый диван подле нас и говорил крестьянам:

— Не спеши, ребята! Порядок надобен. Вот, ужо приведут того, главного, тогда и кончай всех враз. А без правил нельзя.

Помолчав немного, он прибавил с укоризной:

— Ну, и дураки — мужики. Бить не умеют. Искровянили зря. А у нас есть средствия, — раз, другой ударишь, и следов не видать, а беспременно человек помрет. Коли сразу не помрет, так через день али через неделю, — а только живой не будет. Есть такие средствия. Все знать нужно.

Кровь мне заливала глаза; повидимому, я был ранен в голову, но не чувствовал боли. А Евгений то приходил в себя, то снова впадал в забытье, произносил какие то невнятные слова, и я не знал, бредит ли он, или о чем то спрашивает меня.

Толпа поредела. В комнате оставалось человек шестьдесят. Подошел поезд. Шевельнулась надежда, — может быть, выручат. Но, подняв голову, я увидел в окно, что у платформы стоят товарные вагоны.

---

[1]) Я чувствую, что описываемое заступничество священника и станового за пойманных мужиками агитаторов может показаться тенденциозной выдумкой дурного вкуса. И мне было бы нетрудно опустить в моем рассказе эту подробность. Но поставив своей задачей рассказать возможно т о ч н о о своей поездке в Новгородскую губернию, я не считаю себя в праве прикрашивать то, что было, исключая из рассказа те или иные черты.

Кажется, уже начинались сумерки, когда во входных дверях послышался торопливый голос:

— Где раненые? Мне передали, что есть пострадавшие, нуждающиеся в медицинской помощи...

Вперед протискался молодой человек в пальто, в сопровождении другого человека в белом фартуке поверх полушубка.

Молодой человек взял Евгения за руку, пощупал пульс, покачал головой и твердо сказал мужикам:

— Здесь дышать нечем, форточку отворите!

Два человека подошли к окну исполнить приказание.

Врач продолжал распоряжаться:

— Отойдите подальше! Воды принесите. А ты, дедушка, сбегай, — в санях у меня ящичек жестяной с инструментом... Да не курить здесь! Кто хочет курить, выходи во двор. Пособите раненых поднять.

И странное дело, — мужики исполняли распоряжения.

Евгения положили на диван. Я сел рядом с ним. На другой диван сели Александров и Залога, — повидимому, они не были ранены. Врач омыл холодной водой лицо Евгению и мне. У Евгения была глубокая рана в области темени. У меня в нескольких местах были рассечены черепные покровы, но кость не была задета.

Врач готовился перевязать рану Евгения. Достал ножницы, чтобы остричь волоса около раны, засучил рукава, вымыл руки. Но настроение мужиков уже изменилось. Из толпы слышались иронические замечания:

— Ишь, господа! Сидят, а ты стой перед ними, и курить не моги.

— Дохтур то, видать, из таких же будет, — то-то старается...

— Ребята, а дохтура насчет Бога и царя поспрошать бы!

Доктор начал теряться. От его самоуверенности не осталось следа. Руки его тряслись.

Еще больше перепугался сопровождавший его фельдшер. Он дрожал так, что расплескал воду, приготовленную для перевязки, и повторял, еле шевеля губами:

— Уезжать надо... Пропадем здесь...

Наклонившись ко мне, врач прошептал:

— Видите? Что я могу? Я должен уехать.

Я сказал ему:

— Одного, тяжело раненого, вы можете увезти с собой... Они пропустят...

Врач, проводя мокрой ватой по лицу Евгения, отвечал:

— Не пропустят... Никого не пропустят... Простите!... У меня семья...

— Попробуйте! настаивал я.

— Ничего не могу, шептал врач: Простите, ради Бога...

Из толпы посмеивались:

— А дохтур то долго возится. Нашего брата так не лечат. Мужика, — раз-два и готово. А господам внимание...

Врач уронил на пол вату. Еще раз шепнул мне:

— Простите, ради Бога!..

И быстро вышел. Фельдшер за ним. Нас сбросили с дивана на пол и снова принялись бить. В

это время, очнувшись от обморока, Евгений спросил меня:

— Нас убьют?

Я ответил:

— Не знаю... Кажется...

В глубине души я считал наше положение безнадежным. Но не чувствовал ни боли, ни унижения, ни ненависти против темных людей, в руках которых оказались наши головы. Была огромная потребность видеть и слышать все, все запечатлеть в сознании, — именно потому и теперь я с такой отчетливостью, до мельчайших подробностей помню эту сцену.

Помню старушку, наклонившуюся к Евгению. Она с жалостью вглядывалась в его лицо. Затем спросила его:

— А мать у тебя есть?

Стон раненого она приняла за утвердительный ответ и прослезилась:

— Молоденький то какой, Как мой внучек.., Мать то евоная жива, а ему умирать выходит... Уж кончайте его сразу, ребята, не мучьте...

Приходили в комнату новые люди. Им об'ясняли:

— Церковь они спалили. Теперь их народ судить будет. Вот только главного ихнего приведут...

Тому, что мы спалили церковь, мужики твердо верили. Знали уже, что это была церковь св. Николая Чудотворца. Передавали подробности: как я тыкал папироской в икону святителя...

Толпа росла. Опять набралось человек до ста.

22*

К нам протискался мужичок в плохоньком армяке, опоясанном пестрым платком. Нагнулся, заглянул мне в лицо, взглянул на Евгения и радостно крикнул.

— Братцы! А я этих людей знаю, ей Богу, знаю обоих.

Все обернулись к нему. Мужичок возбужденно рассказывал:

— Я их позавчерась в хоринской школе видал. В деревне то я проездом был, а мужики все в школу шли. Сказывали, манифест читать. Ну, и я пошел. Учителей то одних там было сто человек, а вот эти два говорили. Рыжий то, бородатый говорил, и молоденький тоже говорил. Ей-Богу.

— О чем говорили?

— До слова все я слышал. Сперва бородатый говорил, хорошо так говорил, складно: слово скажет, и рукой пристукнет. А потом молодой говорил: слово скажет, и рукой в сторону отведет. Оба говорили.

— Про Бога что говорили? спрашивали кругом.

А мужичок твердил свое:

— Рыжий то рукой во так, сверху вниз, а молоденький все в бок да в бок, — вот этак.

— Да что они говорили?

Мужичок пожал плечами:

— Ничего с ихних речей я не понял. Разве их разберешь? А только хорошо говорили, и рукой все вот так, да вот этак.

Кто то из толпы сказал:

— Убить их надо!

Мужичок поддержал:

— Беспременно убить надоть.

* * *

Я упомянал уже, что ощущал потребность видеть и запечатлеть в памяти все подробности происходившего вокруг нас. Но в самом начале я потерял очки. Мне приходилось поэтому делать усилия, напрягать зрение, чтобы видеть.

Толпа вокруг нас была такая же, как в хоринской школе. Валенки, тулупы, меховые шапки. Спереди старики с сивыми бородами; в лицах ничего зверского, жестокого. Спорят, готовясь к убийству, так же, как стали бы спорить при дележке леса или при обсуждении другого будничного, житейского дела.

Но почему то мужиков стесняло и раздражало, что я пристально смотрю на них.

Уже несколько раз до меня долетало:

— Ишь, глядит!

Прямо против меня стоял старик невысокого роста, с седой бородой клинушком, в остроконечной шапке, в светлом тулупе, стянутом красным поясом. Вид у него был миролюбивый, добродушный, — он был похож на рождественского деда.

Старик долго глядел на меня. Потом, обернувшись к толпе, сказал:

— Братцы, а надо б ему глаза выколоть. Чего мы хотим? Хотим, чтоб он нам вредить не мог. Так когда мы ему глаза выколем, вреда от него и не будет.

— Правильно, поддержали его другие.

Старик тронул меня за плечо:

— Слышь, что народ говорит? Зла мы тебе не хотим, а только ты нам не вреди. Выколем мы тебе глаза, да и отпустим на все четыре стороны. Вот, ты и пойдешь...

И старик, зажмурив глаза, изобразил, как пойду я, слепой, ощупывая перед собой дорогу.

Кто то сказал:

— Глаза то выколоть можно, а опосля, вместе с другими, притюкнем.

Но старик возражал.

Начался спор.

Затем спор стихнул.

Человек в железнодорожной форме принес полено и топор. Откололи от полена широкую щепку, раскололи ее на несколько кусков, по слою дерева, и принялись заострять концы.

Старик сказал мне:

— Ну, прощайся со светом Божиим.

Он подошел ко мне сзади, зажал мою голову между колен и принялся нацеливаться в глаз заостренной щепкой.

Повидимому, я не закрыл глаз, и это стесняло его. Я почувствовал боль ниже правой брови, — но что-то удержало руку мужика. Кровь залила лицо, но я чувствовал, что глаз не поврежден[1]).

Старик выпустил мою голову и сказал:

— Неспособно оно, братцы, щепкой. Может, ножичек есть у кого?

Вперед высунулся длинный, худощавый парень,

---

[1]) Много лет оставался у меня шрам над глазом.

более похожий на городского хулигана, чем на крестьянина[1]).

— Во ножик! крикнул он.

Вытащил из-за сапога складной нож с темной костяной ручкой и щелкнул им. В нескольких вершках от своего лица я увидел зазубренное, заржавленное лезвие.

Старик протянул руку к ножу:

— Давай сюда!

Парень отдернул нож:

— Чего «давай»? Я сам.

Снова завязался спор. Раздавались крики:

— Отдай нож! Вперед старших не суйся!

— Пусти парня, его нож...

В разгар спора послышался шум со двора. Кто-то крикнул:

— Ведут! Хоринского учителя привели!

Мужики отхлынули от нас, забыв на время о ноже и о моих глазах.

* * *

В комнату ввалилась новая толпа. Впереди Чучин, обе учительницы со стекольного завода и становой[2]). За ними мужики.

---

[1]) Позже я узнал, что это был ученик местного кузнеца.

[2]) Становой сперва поехал с понятыми в имение баронессы. Не найдя там крамольников, он, поспешил в Хорино, чтобы предупредить убийство учителя. С этой же целью присоединился он к толпе мужиков, арестовавшей Чучина и сопровождавшей его до Боровенки. И еще одна подробность. Хоринские мужики не выдали бы любимого учителя. Но, как я упоминал уже, в тот день все хоринцы были в дальнем лесу, в деревне оставались лишь бабы, заступиться за учителя было некому. Когда мужики вернулись из лесу и узнали о случившемся, первой их мыслью было запрягать лошадей и ехать с топорами и кольями в Боровенку. Потом побоялись, так как пошел слух, что за боровенковских стоят соседние деревни.

Кричали громче, чем до сих пор, и как то по иному: теперь в толпе было много пьяных.

Становой крикнул мужикам:

— Вот, ребята, на вокзал их доставили, — теперь по домам.

Ему отвечали насмешливые голоса:

— Ан нет! Что мы батюшке обещались? Обещались, что в деревне их не тронем и в дороге не тронем, а как на станцию доставим, тут всех и прикончим[1]).

Становой пытался спорить. Но мужики попьяному напирали на него, и он даже получил несколько тумаков. Тогда он втолкнул арестованных в дверь с надписью «для пассажиров I и II класса», сам вошел вслед за ними и заперся изнутри.

Ярость толпы усилилась. Колотили кулаками в дверь, орали:

— Подавай его сюда!

— Ломай дверь!

— Со двора, с окна заходи!

Теперь били в дверь поленьями. Становой что то кричал из за двери, но нельзя было ни слова разобрать из его выкриков.

Затем послышался звон стекол, яростный рев снаружи. Мужики, ломавшие дверь, притихли,

---

[1]) В действительности, о. Николай Кульман взял с крестьян обещание, что они доставят учителя на вокзал без всяких насилий. Мужики свое обещание исполнили, но затем сообразили, что это обещание не предусматривало, что будут они дальше делать с учителем. А тут кто то пустил слух, будто священник приказал по доставлении учителя на станцию убить его. Не знаю, верила ли толпа этому слуху, или мужики лишь делали вид, будто верят ему, но на данное священнику обещание ссылались настойчиво, упорно.

остановились. Из-за двери раздавались звуки ударов, звон разбиваемого стекла, крики. И вдруг все стихло. Дверь отворилась. Из комнаты «для пассажиров I и II класса» повалили мужики, возбужденные, с красными лицами. Я уловил фразу:

— А крови то сколько вышло! Что из барана.

Надвинулись к нам. Кто то крикнул:

— Теперь этих двоих кончай!

Я полулежал на полу, опираясь головой о край дивана. Евгений лежал рядом со мной, так что его разбитая голова покоилась у меня на коленях. Его рванули в сторону, и перед самыми моими глазами метнулись в воздухе его длинные светлые волосы, спекшиеся от крови в бурые комья. Почувствовал удар в голову около левого виска. Затем лишился сознания, — моим последним отчетливым ощущением был какой то глухой шум, — не то обвала, не то водопада, не то приближающегося поезда...

Когда я очнулся, около нас было пустое пространство, толпа отхлынула вглубь комнаты. В дверях стояли солдаты с примкнутыми штыками. Шинели виднелись и на платформе.

Офицер, маленький, стройный, похожий на мальчика-гимназиста, командовал фальцетом:

— Очистить зал! Выходи все! Караульные к окнам!

В зал входили солдаты. Они цепью вытянулись между нами и толпой и постепенно оттесняли мужиков все дальше, к двери. В то же время позади нас, у окон, выходящих на платформу, встало по два часовых.

Я с трудом поднялся, но не мог держаться на ногах. Подбежал какой то молодой человек — как я узнал, фельдшер — и протянул мне стакан холодной воды. Стало легче. Я спросил фельдшера, что с Чучиным, и узнал, что он жив: ему раскроили голову пивной бутылкой, от удара он лишился сознания и потерял много крови, но рана неопасная.

Появился врач, — не тот, что был днем, а другой. Промыли нам раны, наложили швы. Серьезно было лишь положение Евгения, у него началась рвота, и его сознание казалось омраченным.

Из новгородских товарищей Александров отделался испугом, у землемера Залоги, повидимому, были внутренние повреждения.

Я не знал, находимся ли мы под охраной солдат, или мы арестованы. Чтобы выяснить положение, я прошел из станционного зала в комнату I и II класса. Стоявший в дверях часовой не задержал меня, — значит, мы не считались под арестом.

Комната, в которую я вошел, представляла картину полного разрушения. Выбитое окно, осколки стекла на полу, обломки мебели, битые бутылки, лужи от растаявшего снега, следы крови.

Окно выходило на площадку перед вокзалом. В сгустившихся сумерках была видна волнующаяся толпа мужиков, а в некотором расстоянии от них, ближе к вокзалу — ряд серых шинелей.

Я прислушался. Мужики кричали солдатам:

— Креста на вас нет, что ли? В своих стрелять будете? За жидов стоите?

Я вернулся в ту комнату, где мы подверглись нападению и самосуду. Маленький офицерик непринужденно разговаривал здесь с учительницами,

с одной из них он был знаком по Новг...
Я подошел к нему и спросил:

— Господин офицер, какие у вас инструкции?

— Очистить станцию от буйствующих элементов и оградить безопасность находящихся на станции лиц.

— Вы не выдадите нас толпе?

— Что за вопрос? Разумеется, нет!

— В таком случае, обратите внимание на положение перед станцией.

Офицер побежал на площадку, затем вернулся, отдал какие то распоряжения и убежал вновь, бросив мне на ходу:

— У меня 120 человек. Могу разогнать хоть 5 000. Будьте спокойны.

Фельдшер принес нам полубелого хлеба и масла. Я взял ломоть, но, несмотря на голод, не мог есть — зубы слабо держались в деснах, во рту была кровь.

Уже спустилась ночь. Но толпа перед вокзалом не расходилась. Возбуждение ее, казалось, росло. Доносились пьяные крики:

— Подай их сюда!

— Спалить бы станцию, как они церковь спалили.

Я спросил офицера, почему остаемся мы здесь так долго. Он ответил, что ждет судебного следователя, от которого должны исходить дальнейшие распоряжения.

Наконец, уж после 12 часов ночи, приехал следователь, — тщательно одетый, представительный господин, с интеллигентным лицом.

Переговорив вполголоса с офицером и врачом, следователь обратился к нам и сказал, что считает

необходимым немедленно приступить к допросу. Я ответил за себя и за товарищей, что мы к его услугам. Следователь внимательно оглядел нас и, указывая на Евгения, сказал:

— Первым я допрошу этого господина.

Евгений только что очнулся от обморока и лежал на диване с широко открытыми, неподвижными глазами. Я указал следователю, что едва ли целесообразно допрашивать раненого, находящегося почти что в бреду. Но следователь сухо ответил, что сам знает, когда кого допрашивать.

— Не думаете ли вы, что допрос при такой обстановке должен считаться незаконным? спросил я.

Следователь ответил с раздражением:

— В ваших указаниях я не нуждаюсь.

Евгений понял, о чем мы спорим, и тихо, с видимым усилием, сказал мне:

— Оставьте, тов. Сергей. Я могу отвечать.

Следователь приступил к допросу. Велел придвинуть стол к дивану, на котором лежал Евгений, уселся, разложил бумаги и сказал:

— Прислушайтесь.

В наступившей тишине отчетливо слышался долетавший с площадки перед вокзалом и с железнодорожных путей шум множества голосов, — угрозы, ругательства, обрывки пьяной песни и поверх всего настойчивое:

— Подай их сюда!

Выдержав длинную паузу, следователь сказал Евгению:

— Вы слышали. Так имейте в виду, что я смогу вывезти вас отсюда только в том случае, если вы дадите чистосердечные показания.

Не знаю, каких показаний ждал следователь. Евгений и все мы показали, что приехали из Петербурга для участия в уездном учительском с'езде; что после с'езда беседовали с хоринскими крестьянами, а на следующий день — с рабочими и крестьянами на стекольном заводе; что на ст. Боровенке ни с кем о политике не говорили, и что причин произведенного на нас нападения не знаем. А относительно содержания наших речей мы предложили допросить крестьян, которые нас слышали.

Следователь спросил что то о поджоге церкви, но сам сообразил, что это чепуха, и в заключение допроса об'явил, что пред'являет нам всем обвинение по 129 ст. и мерой пресечения для нас определяет содержание под стражей.

Учительницы, как мне показалось, были в первый момент смущены этим обвинением и суровой мерой пресечения. Но я за всех ответил, что против решения следователя возражений мы не имеем. Следователь составил постановление о нашем заключении под стражу, мы расписались, и после этого, с чувством большого успокоения, услышали:

— С ближайшим поездом вы будете отправлены в Новгородскую губернскую тюрьму.

Но когда пришел поезд и мужики узнали, что начальство собирается отправить арестованных в город, толпа хлынула на вокзал, преграждая нам путь к вагонам. Громче раздавались крики, угрозы, ругательства. Офицер вывел солдат на платформу, установил их шпалерами от двери до вагона. Но напор толпы прорвал цепь серых шинелей. Офицер приказал солдатам перестроиться, снова очистил проход от двери до вагона, затем из

не занятых в шпалерах солдат построил новую цепь вокруг нас. Сцепившись локоть за локоть, они образовали как бы живое кольцо, внутри которого поместились мы семеро, — Евгений, новгородские товарищи, Чучин, две учительницы и я. Под этой охраной, посреди дикого рева толпы, казавшейся, в темноте ночи, бесконечной, как море, кое как добрались мы до вагона.

Нам отвели два отделения. В дверях каждого отделения поместились часовые; солдатские шинели виднелись и на площадках вагона.

Свисток, — и поезд тронулся[1]).

---

[1]) В черносотенном «Слове» в конце ноября 1905 года была помещена статья С. Сыромятникова, в которой, на основании письма «очевидца события», изображался самосуд крестьян над агитаторами на ст. Боровенке. Статья, если память не обманывает меня, называлась «Революционный пикник». Сообразно тенденции газеты, Евгению (Литкенсу) была придана в статье еврейская фамилия. Были в ней и другие отступления от правды, дававшие черносотенному автору благодарную почву для рассуждений об отношении «народа» к революции.

IV. В ДНИ РАЗГРОМА.

В Новгороде. — Тюрьма. — Освобождение. — «Финансовый манифест.»—Арест Совета Рабочих Депутатов. — Кресты. — Третья забастовка и московское восстание. — Жандармы.

Обстоятельства сложились так, что в дни разгрома движения 1905-го года мне не пришлось быть там, где шел бой, где решался исход борьбы. Отсюда скудость материалов настоящей главы, относящейся к одному из наиболее драматичных моментов русской истории.

В Новгород мы приехали на рассвете. Жандарм, встретивший поезд на платформе, пригласил нас, вместе с сопровождавшим нас конвоем, в пустой зал III класса. Вскоре конвой куда то исчез, осталось при нас лишь три солдата да два жандарма. Отчетливо помню, что у всех нас это сокращение караула вызвало неприятное и тревожное чувство: не мало ли будет 5 человек, в случае нового нападения мужиков?..

Прошло довольно много времени в переговорах по телефону, в проверке списка и в каких то еще формальностях. Затем, к нам подошел бравый жандармский унтер и доложил:

— Экипажи готовы, можно ехать.

С трудом разместились в трех извозчичьих пролетках и поехали по безлюдным улицам. Остановились перед зданием, совершенно непохожим на тюрьму: палисадничек с цветами, белые занавески в окнах, ни решеток, ни каменной ограды, ни часовых. Жандармский унтер, первым соскочив с пролетки, предложил нам вылезать.

— Куда это мы приехали? спросил я: Что здесь?

Он ответил:

— Управление.

Через полутемный коридор, загроможденный самыми неожиданными вещами — от детской колясочки до огромной проволочной птичьей клетки — нас проводили в обширную комнату с желтыми шкафами и крытыми черной клеенкой столами. Унтер предложил нам «подождать немного» и ушел, оставив нас одних.

Евгению было дурно. Уложили его на деревянном диване, укутав возможно теплее. Остальные примостились, кто как, — всем хотелось вздремнуть, хоть немного. Но сон не шел. Нервы были слишком возбуждены пережитым. Чучин, очень бледный, с повязкой вокруг головы, но уже по старому веселый и деятельный, пошел «на разведку».

Спустя несколько минут он вернулся и сообщил:

— Во всем доме ни души. А знаете, что я нашел? Самовар! Чаю хотите?

Пить всем хотелось, но сомневались, удастся ли найти в пустой канцелярии чай для заварки, сахар и стаканы. Хоринский учитель принялся за

поиски: заглядывал в ящики столов, пробовал, не открываются ли дверцы шкафов.

В комнату вошел пожилой полковник, с пышной, расчесанной на две стороны бородой. Щелкнув шпорами, он поклонился нам и представился:

— Начальник Новгородского Губернского Жандармского Управления. Не имеете ли заявлений и просьб?

Мы ответили, что заявлений не имеем. В это время в соседней комнате Чучин загремел самоваром.

Полковник заглянул в открытую дверь и вдруг заволновался:

— Как же это, господа? Неужто вы до сих пор без чаю? Дежурный!

На его зов явился жандарм с заспанной физиономией. Полковник напустился на него:

— Не видишь, что люди с дороги? Не мог самовар поставить? Живо, и чтоб хлеб был сейчас же! И масло, и колбаса! Все!

Я спросил заботливого полковника:

— Мы арестованы?

Он развел руками:

— Повидимому, это была простая формальность... Во всяком случае, прошу вас об этом не думать. Подкрепитесь, напейтесь чаю, а я разберусь в вашем деле. Доброго аппетита.

Вошли два жандарма, расстелили газету на канцелярском столе, выложили кульки с хлебом, колбасой, маслом. Затем принесли кипящий самовар.

Когда мы напились чаю, вновь появился полковник. Вид у него был озабоченный.

— Всем вам, господа, сказал он, пред'яв... ст. с безусловным содержанием под стра...
Заранее можно предвидеть, что это обвинение отпадет, — по крайней мере, по отношению к некоторым из вас. Но кое что в деле, все-таки, останется. Изменить меру пресечения сейчас же, не производя дознания, я не имею права. Прошу верить, что сделаю все от меня зависящее, чтобы не задерживать вас ни одного лишнего дня. А пока я должен распорядиться проводить вас в тюрьму... Начальнику — это милейший человек — я дал необходимые указания. Если же вы будете чем либо недовольны, — прошу обращаться ко мне.

Полковник вежливо поклонился, щелкнул шпорами и вышел из комнаты.

Это был первый жандармский офицер, с которым мне пришлось столкнуться. И должен признаться, что его манеры и все его поведение изумили меня, — я представлял себе ж а н д а р м о в совершенно иными[1]).

* * *

В губернской тюрьме нас разделили: учительниц отправили в женское отделение, Александрова и Залогу — в «следственный коридор», Чучина Евгения и меня — в больницу.

Нам отвели довольно большую, светлую и чистую камеру в два окна. Помещение нам понрави-

[1]) Позже я узнал, что начальник Новгородского Жандармского Управления — не могу припомнить его фамилию — был, действительно, совершенно исключительной фигурой в рядах этого ведомства. Это был порядочный, прогрессивно настроенный человек, по какому то странному недоразумению попавший в жандармы. Вскоре он вышел в отставку.

лось, только матрацы и подушки, набитые свежей соломой, казались нестерпимо жесткими, да неприятно было, что окно забрано частой железной решоткой. К этому присоединялось еще одно раздражающее впечатление, — не смолкавший с раннего утра до поздней ночи звон цепей. Тюрьма казалась наполнена этим звоном: лязг железа слышался и со двора, и с коридора, и из соседних камер, и сверху, и снизу. Почти мелодичные звуки, — не слишком громкие, не слишком резкие, — но от них тоскливо сжималось сердце.

В тюрьме, кроме нас, политических заключенных не было: единственный политический подследственный, ранее содержавшийся в ней, был недавно освобожден по манифесту. Естественно, мы стали центром внимания тюремной администрации: начальник, его помощник, врач, фельдшер — все по нескольку раз в день наведывались к нам, и все были любезны до чрезвычайности.

Врачебный уход был удовлетворительный. Впрочем, в серьезном уходе нуждался только Евгений. Чучин уже на второй или на третий день мог считаться здоровым. Я был на пути к выздоровлению, хотя чувствовал еще большую слабость.

Из города нам ежедневно присылали обильные передачи. И было как то по-особенному приятно, что мы не знали, от кого эти передачи, знали лишь, что от товарищей.

Были у нас и книги. Но Евгений совершенно не мог читать, я читал через силу, и только Чучин жадно глотал том за томом.

Газет первые дни мы не получали. Затем стали получать «Новую жизнь» и «Русь», — не помню

только, были ли газеты *официально* разрешены нам, или их передавал нам *нелегально* кто-то из чинов тюремной администрации.

В первой же газете, которую мы получили, мы прочли описание убийства Генкиной на вокзале в Иваново-Вознесенске. Помню, с этой, отчеркнутой цветным карандашом, заметки петитом на 4-й странице начали мы чтение газеты. И такое подавляющее впечатление произвел на нас рассказ об этом убийстве, что не было сил продолжать чтение газеты...

А на другой день или, может быть, через два дня, мы прочли в газете об аресте председателя Петербургского Совета Рабочих Депутатов Хрусталева-Носаря.

В пред'идущей главе, говоря о Совете, я не останавливался на характеристике этого человека, в течение нескольких незабываемых недель стоявшего так высоко во главе петербургского пролетариата, и впоследствии павшего так низко. Но здесь я хотел бы отметить, что, как ни оценивать *личность* Хрусталева, *председателем* Совета он был блестящим. Он умел вести заседания уверенно, без излишней формалистики, без суетливости, уважая права всех членов собрания и твердо защищая достоинство Совета. Он редко выступал докладчиком по политическим вопросам, но почти всегда ему приходилось резюмировать прения, и его «заключительное слово» всегда отличалось сжатостью, ясностью, убедительностью. Кроме того, на нем лежала большая часть внутренней организационной работы в Совете. Его арест был одно-

временно тяжелым ударом по Совету и дерзким вызовом со стороны реакции.

При обсуждении в Совете вопроса о том, как реагировать на этот вызов, раздавались голоса, требовавшие немедленного об'явления всеобщей забастовки. Эти предложения были отвергнуты, — слишком очевидно было, что при сложившихся обстоятельствах, при расширяющемся с каждым днем локауте, при растущей безработице, новая забастовка не под силу петербургским рабочим.

Решено было удовольствоваться резолюцией, — конечно, не либеральной резолюцией протеста, а резолюцией, отвечающей революционной природе Совета и серьезности момента.

Принятая резолюция гласила:

«26 ноября царским правительством взят в плен председатель С. Р. Д. т. Хрусталев-Носарь.

«С. Р. Д. временно избирает президиум и продолжает готовиться к вооруженному восстанию».

Здесь повторилась уже знакомая нам картина: оказавшись перед дилемой — забастовка или ничего, — Совет вновь пытался найти выход из этой дилеммы в революционной словесности.

Но такова сила слов, что на нас, лежащих в тюремной больнице и всего несколько дней тому назад еле-еле избежавших смерти от рук боровенковских мужиков, известие об аресте Хрусталева и о резолюции, принятой по этому поводу Советом, произвело впечатление набатного зова, и этот зов отозвался в наших сердцах не тревогой, а радостью!

Конец неопределенности, конец шатаниям и сомнениям! Теперь — восстание и, конечно, победа народа!

* * *

На седьмой день нашего заключения, 29 утром, нас вызвали в тюремную контору. Чиновник судебного ведомства — судебный следователь или товарищ прокурора, не помню, — об'явил нам, что, в результате произведенного на месте дознания, преследование по отношению к обеим учительницам, Залоге, Александрову и Чучину прекращено, поименованные лица подлежат немедленному освобождению из под стражи, и обвинение по 129 ст. будет пред'явлено лишь Литкенсу и мне.

Освобождаемым товарищам тут же вернули отобранные у них на ст. Боровенке вещи, — при чем я успел за одно сплавить Чучину свою записную книжку. Попрощались, — и товарищи, пожелав нам скорого освобождения, отправились на волю, а мы остались в тюремной конторе с судейским чиновником.

На мой вопрос, в чем именно обвиняемся мы, чиновник об'яснил, что 129 ст. Уголовного Уложения пред'явлена нам за призыв крестьян к насильственному ниспровержению существующего строя.

Я ответил на это, что считаю пред'явление нам 129 ст. Уг. Ул. простым недоразумением, так как самое упоминание об этой статье является анахронизмом: «существующий строй», на страже которого стояла 129 ст., после 17 октября перестал существовать; новый строй еще не установлен; следовательно, неизвестно, что охраняет 129 ст.; неизвестно, рав-

ным образом, к ниспровержению чего призывали мы крестьян. А кроме того, закончил я свои об'яснения, каждая партия имеет право предлагать народу свою программу, и никто не может препятствовать нам в распространении идей той партии, к которой мы принадлежим.

Чиновник, внимательно выслушав меня, предложил представить эти об'яснения письменно, в форме показаний. Затем, на верху листа он написал формулу протокола допроса с сакраментальными словами:... «в пред'явленном мне обвинении в том, что я... виновным себя не признаю, и по существу пред'явленного мне обвинения заявляю»... Этот лист он передал мне и предложил дальнейшее написать не спеша, в камере. Я спросил его, не может ли он ознакомить меня с показаниями, данными п р о т и в меня. Чиновник ответил, что все показания будут пред'явлены мне при окончании следствия, и заметил при этом:

— Собственно, там интересного мало. Подробные показания дают, главным образом, те, кто не был на ваших митингах. А те, чьи показания должны были бы представлять наибольший интерес, ничего не показывают...

Значительно позже, уже в конце 1909 года, когда мое боровенковское дело было назначено к слушанию, мне пришлось познакомиться с показаниями крестьян. Действительно, все хоринцы — а их было допрошено человек 20 — решительно выгораживали нас, при чем иные из них говорили даже, будто мы убеждали крестьян, чтобы не было никаких беспорядков и чтобы все шло «по закону». В том же духе давали показания и рабочие

стекольного завода. Крестьяне же, бывшие на митинге в заводской школе, путали и противоречили друг другу. Наконец, что касается до боровенковских мужиков, то они, повидимому, боялись, как бы не попасть под ответ за самоуправство, и потому в своих показаниях настаивали на том, что сами, мол, ничего не знают, а только от других, стороной, слыхали то-то и то-то... И за этим следовала чепуха, которой, очевидно, нельзя было принимать всерьез.

На таком материале трудно было построить обвинение. А создавать «дело» из ничего русский суд научился лишь позже, при «конституционном» строе.

Вот почему мы с Евгением вышли из тюрьмы раньше, чем рассчитывали.

После утреннего разговора с чиновником, я сел писать свои «показания». После обеда бумага была готова, и начальник тюрьмы послал ее с надзирателем в суд. А на другой день, ранним утром, к нам в камеру явился помощник начальника и поздравил нас с благоприятным оборотом нашего дела: от прокурора окружного суда пришла бумага о немедленном освобождении нас из под стражи[1]).

* * *

---

[1]) Позже прокурорский надзор Петербургской Судебной Палаты опротестовал это решение новгородской прокуратуры и предписал ей подвергнуть Литкенса и меня задержанию впредь до суда. Новгородская прокуратура отказалась исполнить это предписание, считая его незаконным. Возникло «пререкание», о котором я в то время ничего не знал, и которое закончилось победой Петербургской Судебной Палаты. По прямому приказанию из Петербурга, новгородский следователь написал постановление о моем

Первое мое впечатление по возвращении в Петербург было, что за 11 дней нашей поездки в деревню и пленения в Новгородской тюрьме вся политическая обстановка изменилась, положение до крайней степени обострилось.

Военные восстания в Елисаветполе, Севастополе, Киеве, Харькове, Екатеринодаре, Проскурове, Курске; рабочие беспорядки в Новороссийске; волнения в Манчжурской армии, брожение в войсках в Москве и Петербурге; биржевая паника в связи с почтово-телеграфной забастовкой; а с другой стороны — начавшиеся обыски и аресты. Затишье на революционном фронте явно сменилось оживлением; чувствовалось, что дело идет к решительному бою. И казалось, что в предстоящей последней схватке рабочие уже не будут так одиноки, как в дни второй забастовки.

Так, бюро Союза Союзов выпустило воззвание к обществу:

«Арест председателя Совета Рабочих Депутатов Хрусталева-Носаря и увольнение со службы поч-

---

заключении под стражу, и на основании этого постановления я был в декабре 1906 года арестован. Затем, эта мера пресечения была заменена денежным залогом (в 3000 рублей), и я был освобожден. Наше дело продолжало тянуться после этого еще три года. Оно было назначено к слушанию в выездной сессии Петербургской Палаты в Новгороде в декабре 1909 года. Для суда я был доставлен в Новгород из Екатеринослава, где отбывал каторгу по приговору военного суда. Узнав об этом приговоре, поглощавшем наказание, грозившее мне по 129 ст., Палата постановила мое боровенковское дело прекратить. По отношению к Литкенсу дело было прекращено еще раньше, в виду его смерти: арестованный на юге России за революционную пропаганду среди крестьян, Евгений скончался в тюремной больнице.

тово-телеграфных служащих за участие в забастовке центральное бюро всероссийского и центральный комитет петербургского Союза Союзов рассматривают, как демонстративное заявление со стороны правительства, что оно намерено силой подавить освободительное движение и силою же отобрать у народа те гражданские права, которые завоеваны им упорной борьбой.

«Центральное бюро и комитет призывают русское общество принять эту правительственную демонстрацию, как доказательство того, что политическая свобода не может быть получена народом иначе, как путем вооруженной борьбы.

«Для ослабления сил нашего противника в нашей борьбе могучим средством явится всеобщая политическая забастовка.

«Центральное бюро и комитет признают необходимым для всех живых элементов страны деятельно готовиться к этой забастовке и одновременно к последней вооруженной схватке с врагами народной свободы».

Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов, в предвидении этой последней схватки, выпустил воззвание к войскам, озаглавленное «Совет Рабочих Депутатов отвечает солдатам».

С другой стороны, за последние дни ноября в необычайной степени усилилась черносотенная кампания против Совета: правые газеты были полны дышащими ненавистью статьями против представительного органа петербургских рабочих; на фабриках и заводах распространялись выпущенные полицией листки, обвинявшие членов Со-

вета в присвоении рабочих грошей и призывавшие рабочих «сбросить с себя иго Совета».

На партийной явке, куда я отправился немедленно по возвращении в Петербург, я услышал разговоры, которых у нас не было две недели тому назад: за это время товарищи начали чрезвычайно интересоваться состоянием биржи, курсом различных ценных бумаг, а в особенности, курсом русского рубля за границей и движением вкладов в государственных сберегательных кассах. В первый момент я ничего не мог понять в этих новых для меня разговорах. Затем, я узнал, что почтово-телеграфная забастовка (которая только началась, когда я уезжал из Петербурга) вызвала на бирже панику, какой не было даже в октябрьские дни, и это подало революционным партиям мысль использовать давление на биржу и на финансовый аппарат страны, как оружие в борьбе с самодержавием.

Уже 22 ноября Исполнительный Комитет Совета решил призвать «рабочий класс и все бедные классы населения», в виду наступающего государственного банкротства, брать свои вклады из сберегательных касс и требовать при всяких расплатах (в том числе и при получении заработной платы) звонкой монеты».

Не знаю, какие теоретические соображения подсказали эту меру, но помню, что в представлении товарищей, об'яснявших мне 1—2 декабря этот новый метод борьбы с самодержавием, идея финансового бойкота правительства тесно связывалась с почтово-телеграфной забастовкой.

2-го декабря в социалистических и радикальных газетах появился известный «финансовый манифест»,

подписанный Петербургским Советом Рабочих Депутатов, Главным Комитетом Всероссийского Крестьянского Союза и центральными комитетами Р. С.-Д. Р. П., П. С.-Р. и Польской Социалистической Партии. Этот манифест призывал население «отказываться от взноса выкупных и всяких других казенных платежей. Требовать при всех сделках, при выдаче заработной платы и жалованья — уплаты золотом, а при суммах меньших пяти рублей — полновесной звонкой монетой. Брать вклады из государственных сберегательных касс и из государственного банка, требуя уплаты всей суммы золотом».

К этим мероприятиям, направленным против кредита правительства внутри страны, манифест присоединял решение, имевшее целью подорвать и внешний, международный кредит самодержавия:

«Мы решаем не допускать уплаты долгов по всем тем займам, которые царское правительство заключило, когда явно и открыто вело войну со всем народом».

В тот же день все газеты, напечатавшие этот документ, были закрыты. Стало ясно, что «решительная схватка» — вопрос ближайших дней, быть может, ближайших часов.

На 3-е декабря было назначено в Вольно-Экономическом Обществе заседание Совета Рабочих Депутатов. Ждали, что на этом заседании будут приняты решения величайшей важности.

* * *

Хотя вследствие упадка сил я не мог еще принимать участие в революционной работе, все же 3-го вечером я пошел в Совет, — казалось невозможным пропустить столь интересное, историческое заседание.

По дороге в Вольно-Экономическое Общество я зашел проведать Евгения. Он лежал, и его состояние внушало серьезные тревоги его отцу врачу. У постели больного я засиделся дольше, чем предполагал, и потому немного запоздал в Совет: заседание было назначено на 7 часов, а я пришел в Вольно-Экономическое Общество около 8 часов.

Приближаясь к 4-й Роте, я обратил внимание на необычное скопление полиции и войск, — повсюду виднелись усиленные полицейские посты, патрули, казачьи раз’езды. Но публику пропускали свободно, никого не задерживали. В палисаднике, примыкающем к зданию, где заседал Совет, виднелись солдаты. Стояли они как то странно, — цепью вдоль здания, обернувшись спиной к улице, лицом к выходящим в сад окнам первого этажа. Мне показалось, что они из любопытства глядят в окна, и я учел их интерес к работе Совета, как благоприятный симптом.

На улице перед зданием полиции было меньше. Только около двери стояли два околоточных. Когда я поровнялся с дверью, один из них окликнул меня:

— Вы не в Совет ли Рабочих Депутатов?

— Да.

— Так входите, пожалуйста, — заседание уже началось.

Я переступил через порог и сразу увидел, что попал в ловушку.

В передней толпилось человек двадцать городовых и околоточных. Поперек комнаты, у двери, ведущей из передней в следующий зал, был поставлен стол. За ним сидел человек в военном мундире, — не то полицейский чин, не то жандармский офицер. Меня подвели к нему. Он спросил строго:

— Вам что здесь нужно?

Я ответил:

— Ничего особенного. Ваши же околоточные зазвали меня сюда с улицы — можете спросить их.

— А, так? А вы не знали, что здесь собирается Совет Рабочих Депутатов? До сих пор вы в Совете не бывали?

Я ответил:

— В Совете я бывал не раз и теперь шел на заседание.

— В таком случае — пожалуйте.

Следующая комната была занята солдатами. Стояли рядами, с ружьями в руках, повернувшись лицом к дверям зала заседаний. Перед строем нервно расхаживал взад и вперед офицер.

Я вошел в главный зал, и моим глазам представилась следующая картина:

Вдоль стен шпалеры солдат. Ружья с примкнутыми штыками видны и над золоченой баллюстрадой хор. В кольце штыков — рабочие депутаты.

Зал полон, все сидят на обычных местах. Лишь за председательским столом — никого.

Пол, как снегом, усыпан клочками бумаги.

Когда я вошел в дверь, один [illegible] депутатов сказал мне:

— Постановление Исполнитель[illegible] Комитета — сопротивления не оказывать, до[illegible]енты уничтожать, показаний не давать, им[illegible] не называть. Если есть оружие, привести в него[illegible]сть.

Оружия при мне не было. Я от[illegible]ал свободный стол, сел и принялся уничтожать [illegible]ые при мне бумаги. Большинство депутатов [illegible] занято этим же делом.

Недалеко от меня рабочий [illegible] держал в руках браунинг, стараясь сломать его. [illegible] рабочий подошел к нему и сказал:

— Давай сюда! Это нужно ум[illegible].

Положил револьвер перед со[illegible] на председательский стол, вынул из за пояса т[illegible] короткий кинжал и, работая им, то как [illegible]кой, то как зубилом, разобрал и поломал бр[illegible]нг в мелкие куски. Покончив, спросил:

— У кого есть еще? Пусть врагам не достанется.

Еще подали маузер. В тишине [illegible]лись удары стали о сталь... Вскоре зеленое [illegible] покрылось обломками. Теперь работало уже не[illegible]лько человек.

Было что-то непередаваемо [illegible]ное в том, как эти люди под сотнями на[illegible]ных на них солдатских ружей, ломали, разбив[illegible] свое оружие, вдруг ставшее таким бесполезн[illegible] ненужным...

— У кого есть еще? снова [illegible]ил рабочий, первым начавший эту работу.

Никто не отозвался. Тогда он [illegible]ал свой кинжал и бросил куски его на груду [illegible]омков стали.

Я приглядывался к солдатам. [illegible]е, бесстраст-

ные лица. Много пьяных. В нетрезвом состоянии был и офицер, командовавший полуротой.

Настроение депутатов было подавленное, хотя все держались с наружным спокойствием. Я слышал около себя разговор:

— Ну, что теперь? В тюрьму отправят?

— Может в тюрьму, а то и здесь, на дворе...

— Без суда, думаешь?

— А на что им суд? Выведут во двор, скомандуют, — и готово...

Был один неприятный момент. Из толпы депутатов вышел молодой парень, очень плохо одетый, более похожий на золоторотца, чем на рабочего. Подошел к офицеру и взмолился:

— Ваше благородие, отпустите, Христа ради... Я всегда за царя, за начальство... Я всей душой...

Послышались возгласы негодования в зале. Но один из депутатов — кажется, Петр с Франко-Русского завода — крикнул:

— Товарищи, спокойствие! Не поддавайтесь на провокацию! Не обращайте внимания на негодяя.

Все стихло.

Парень продолжал плакать перед офицером. Тот спрашивает его:

— Как ты к жидам попал?

— Выбрали меня и послали... В первый раз я... не знал ничего... Смилуйтесь, ваше благородие...

— Ну, ладно, ступай!

Офицер вытолкнул его из зала.

Прошло часа три в тяжелом напряженном ожидании. Поздней ночью приехали в Вольно-Экономическое общество судебные власти. Хотели

авить список арестованных. Но депутаты за-
ли:

— По постановлению Исполнительного Коми-
.. имен называть не будем.

Опять прошло довольно много времени. Но
были теперь как то спокойнее: уже не ждали
стрела...

Затем, предложили выходить из зала группами
двадцать человек. Я попал в 3-ю или 4-ю группу.
ред столиком в передней сидел чиновник Охран-
о Отделения[1]) и к каждому из арестованных
ащался с одним и тем же вопросом:

— Ваше имя?

Ответ у всех был один:

— Не скажу.

Тогда чиновник спрашивал:

— Как вас записать?

— Запишите, как хотите.

Мне после этого ответа чиновник предложил:

— Снимите галоши!

И заглянув в галоши, занес меня в список
 псевдонимом: «Буквы В. В. в галошах». Один
арик получил еще более длинный псевдоним:
руглая борода и палка с набалдашником». Другие
и под кличками: «Калмык», «Каракулевая шап-
», «Широкий пояс». Один молодой парень (впо-
дствии повешенный в Екатеринославе) сам
брал себе прозвище: «Мрамольщик».

Когда список был готов, нас вывели на улицу.
есь стояла огромная карета-фургон, со всех
орон окруженная солдатами. Влезли в нее. Двер-

[1]) Это был Статковский.

ца затворилась. Но карета не трогалась в путь. Затем, дверца отворилась вновь, и в нее просунулась голова в форменной фуражке:

— Место у вас есть? Тут еще одного забыли... Потеснитесь для товарища.

Форменная фуражка исчезла. В дверцах показалась фигура в штатском и сразу залебезила:

— Вот, спасибо, товарищи! А то мне, товарищи, пешком пришлось бы итти. А у меня ноги, товарищи...

Но рабочий, сидевший с краю у входа, двинулся к дверце, и «товарищ» кубарем полетел с подножки. Снова появилась голова в фуражке:

— Что же вы товарища не принимаете? Пешком его гнать придется, а дорога дальняя...

Ему ответили:

— Это — ваш товарищ, гоните его, как хотите.

С улицы послышалось:

— Ишь, сволочи, пронюхали...

Дверца снова захлопнулась. Слышался топот копыт, лязг оружия. Затем команда: «Пошел». И карета, окруженная конным караулом, двинулась.

В дороге нас ждало новое приключение. Отъехали уже довольно далеко, когда вдруг раздался треск, карета накренилась на бок и остановилась — сломалось одно из передних колес.

Кто то пошутил:

— Видно, Совет Рабочих Депутатов слишком тяжел для кареты самодержавия.

Полчаса сидели в покосившейся повозке. Затем, нам было предложено вылезти и продолжать путь пешком. Это было на Литейном проспекте, недалеко от Невы. Конный караул, сопровождав-

ший нас из Вольно-Экономического Общества, был усилен пехотинцами. Нас выстроили по четыре в ряд. Кругом встала пехота, спереди и сзади построились всадники. Мы двинулись к Литейному мосту и, перейдя Неву, свернули направо, к «Крестам».

* * *

«Кресты» — несомненно, наилучше описанный уголок нашего обширного отечества. Не буду поэтому возвращаться к изображению этого учреждения и его порядков. Отмечу лишь, что мне лично пребывание в одиночке оказалось весьма полезно.

Я был еще очень слаб после Боровенки, испытывал непривычные головокружения, у меня начался особый вид галлюцинации, — перед глазами непрерывно двигались слева направо черные точки, похожие на летающих в воздухе мух или бабочек. Тюремный врач, осмотревший меня на другой день после ареста, нашел у меня острую форму неврастении и прописал бром и абсолютный покой. Бром мне был тотчас же выдан из тюремной аптеки, а что касается до «абсолютного покоя», то одиночка в «Крестах» была, быть может, единственным местом, где я мог найти покой в эти тревожные дни.

Жизнь протекала здесь безмятежно спокойно. С воли не приходило никаких вестей. Казалось, после 3-го декабря все уснуло, борьба прекратилась, грозовые тучи, обложившие небо, рассеялись, не родив ни пламенных молний, ни грома.

Дней через 10 после ареста меня вызвали на

допрос. Жандармский офицер спросил мое имя. Я отказался отвечать. Тогда жандарм осведомился:

— Вы это по постановлению Исполнительного Комитета, или у вас имеются личные основания?

— По постановлению Исполнительного Комитета.

— Так оно отменено. Почти все члены Совета уже назвали свои имена.

И жандарм протянул мне кипку листов. Кипка показалась мне жидковатой, — в ней было листов пятьдесят, — и я сказал:

— Я предпочитаю пока сохранить свой псевдоним.

— Как вам угодно, согласился жандарм: Я на этом ничего не теряю.

Дня через три он вызвал меня вновь и опять показал пачку листов с протоколами: теперь кипа была довольна внушительная. Тогда я назвал свое имя. Никаких других вопросов на этот раз жандарм не ставил.

Скучно в одиночке не было: я много читал, главным образом, Глеба Успенского, Златовратского, — вообще, о крестьянской жизни. Ни с кем из арестованных товарищей я не встречался. Гулять меня выпускали на отдельный дворик, где между сугробами снега была протоптана дорожка шагов в 30. Потом стали изредка выводить на общую прогулку, но здесь политические гуляли вперемежку с уголовными, и часовые строго следили за правильностью «интервалов», так что не было возможности переговорить со своими.

Между тем, долгое молчание начинало надоедать мне. Я сделал попытку вступить в разговор

со своим соседом по прогулке, уголовным. Но начал я с самого неудачного вопроса:

— За что вы сидите?

Мой сосед ответил:

— За дрова.

— Как это за дрова?

— Очень просто. Дрова продавал.

Я никогда не слышал о том, чтобы людей арестовывали за продажу дров, и выразил свое недоумение. Мой сосед с досадой пояснил:

— Да дрова то были краденные.

На этом беседа оборвалась.

В другой раз я попытался разговориться с дежурившим на коридоре надзирателем. Это был сравнительно молодой парень, смуглый, скуластый, со смышленным лицом, с черными усиками. Другие надзиратели звали его «порт-артурец». Я спросил его, был ли он на войне. Надзиратель ответил утвердительно и пустился рассказывать о Стесселе и о других генералах. Между нами вскоре установились приятельские отношения, и солдат всячески старался проявить свое внимание ко мне.

Кипяток для утреннего чая раздавался по одиночкам очень рано, — часов в 6 или даже в ½6-го. И вот, мой солдатик, заметив, что я в этот час обыкновенно сплю и вскакиваю с постели, когда открывается форточка, решил избавить меня от беспокойства: стараясь не греметь ключами, он отворял дверь моей одиночки, на цыпочках заходил в камеру, наливал кипяток в кувшин и чайник, прикрывал чайник моей меховой шапкой, чтобы вода не простыла, и уходил, оглядываясь в дверях, не разбудил ли меня.

Но о том, что происходило в эти дни на воле, порт-артурец ничего не мог рассказать мне.

Я узнал об этих событиях в 20-х числах декабря, перед самым Рождеством, узнал совершенно случайно.

Гуляя на отдельном дворике, я услышал стук форточки в окне первого этажа и, вглядевшись, узнал в переплете решетки лицо Короткова, моего товарища по университетскому Совету Старост и по ораторской коллегии. Он окликнул меня и спросил:

— Новости знаете?

— Какие?

— О Москве?

— Что там?

— Барикады.

Приходилось перекидываться отрывочными словами, чтобы не заметил часовой. Коротков успел сообщить мне:

— С 7-го забастовка. Войска отказываются стрелять. Город в руках наших...

Вернувшись в одиночку, я спросил порт-артурца, что творится на воле. Он ничего не знал — слыхал лишь, что «идут бунты», — но обещал раздобыть для меня «хорошую газетку», На другой день он принес мне № «Нашего Голоса», вышедший 18-го декабря.

С лихорадочным волнением пробегал я серые строчки и не знал, как оценить все происшедшее за последние две недели: разгром ли это и крушение всех наших надежд? или начало того «последнего, решительного боя», о котором мы столько писали

и говорили? или пролог к грядущим, еще более бурным событиям?

* * *

Третья (декабрьская) всеобщая забастовка была не только забастовкой протеста: она имела и положительный, конкретный, политический лозунг — Учредительное Собрание, избранное на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.

Эта забастовка не началась стихийно, как октябрьское выступление пролетариата, — она была назначена: в Петербурге переизбранным Советом Рабочих Депутатов совместно с центральными комитетами Р. С.-Д. Р. П., П. С.-Р. и Бунда, в Москве — Советом и местными партийными организациями, на железных дорогах — заседавшею в Петербурге конференцией представителей 28-ми железных дорог.

Все организации, призывавшие пролетариат к забастовке, отдавали себе отчет в том, что на достигнутой ступени борьба не может ограничиться простым скрещением рук.

Петербургский Совет Рабочих Депутатов и центральные комитеты революционных партий в обращении «ко всему народу» писали:

«Граждане, свобода или рабство! Россия, управляемая народом, или Россия, расхищаемая шайкой грабителей. Так стоит вопрос. Подымайтесь все — рабочие, крестьяне, интеллигенция, — подымайтесь, борцы за народную свободу и народное счастье...

«Солдаты и матросы! Вы часть народа, но вас ведут против народа. Все ваши требования также

и наши, но вас ведут против нас. И вы в крови народной утопите свою собственную свободу. Не слушайтесь команды, слушайтесь голоса народного. Присоединяйтесь к нам. Восстаньте заодно с нами. Нет силы, которая могла бы пойти против армии, об'единившейся с народом».

Равным образом, и конференция железнодорожников, об'являя забастовку железных дорог, рассчитывала на то, что предпринимаемое выступление будет поддержано военным восстанием. К солдатам были обращены первые строки выпущенного конференцией воззвания о забастовке:

«Об'являя забастовку, мы берем на себя возвращение войск из Манчжурии, доставку эшелонов в Россию скорее, чем это сделало правительство»...

И заканчивалось это воззвание словами:

«Товарищи! Смело и дружно в борьбу за свободу всего народа. Мы не одни... Городской пролетариат, трудовое крестьянство и с о з н а т е л ь н а я ч а с т ь ф л о т а и а р м и и у ж е в о с с т а л и за народную свободу, за землю, за волю».

7-го декабря началась забастовка в Москве. 8-го забастовал Петербург.

Из сообщений «Нашего Голоса» было ясно, что в Петербурге забастовка проходит хуже, чем в октябре и ноябре. Бастовало около 100.000 человек, многие заводы работали, другие были закрыты вследствие локаута. В городе, по словам газеты, забастовка ощущалась слабо: торговые предприятия оставались открыты, работала конка, правительству удалось восстановить освещение улиц.

На железных дорогах забастовка совсем не удалась: правительство не было на этот раз застиг-

нуто врасплох; оно успело занять войсками вокзалы главнейших узловых станций, железнодорожные мастерские, депо, мосты и туннели, и силой штыков заставило железнодорожников водить и пропускать поезда.

А в Москве уже на второй день забастовки, 8-го декабря, начались столкновения забастовщиков с правительственными войсками; 10-го декабря была пущена в ход артиллерия; Москва покрылась барикадами; в течение недели в десятках мест шли бои между повстанцами и правительственными войсками.

Как последнюю новость, «Наш Голос» сообщал о борьбе на Пресне:

«Весь район оцеплен войсками. Идет стрельба из орудий. Горит несколько домов. Часть революционеров погибла в огне, часть арестована...

«Стрельба усиливается... Бомбардируют фабрики Шмидта и Прохоровскую мануфактуру. Подходят еще войска. Революционеров не забирают, а расстреливают.

«... Прохоровская мануфактура, где собралось до 10.000 рабочих и революционеров, обложена тесным кольцом войск трех родов оружия».

В то время, когда я читал эти сообщения, в Москве уже был восстановлен «порядок», и победители уже творили расправу над побежденными. Но долгое время я не знал об этом; для меня движение как бы застыло на той ступени, на которой застал его выпуск «Нашего Голоса»: провалившаяся забастовка на железных дорогах, не удавшаяся забастовка в Петербурге, разрозненные,

несогласованные выступления рабочих в провинции, догорающее восстание в Москве.

А крестьянство? спрашивал я себя: А войска?

Крестьяне остались в стороне от движения — так же, как в ноябре, так же, как в октябре, так же, как в январьские дни.

Солдаты местами колебались, отказывались итти против народа. А в это время другие воинские части рубили, кололи, стреляли из ружей, из пулеметов, из пушек.

Но в рабочих массах все еще не умерла вера в победу. Петербургский Совет Рабочих Депутатов, — точнее, его Исполнительный Комитет, — решая прекратить забастовку, облек свое решение в форму резолюции, которая должна была звучать гордо и грозно:

«Совет Рабочих Депутатов об'являет в понедельник 19-го декабря забастовку прекращенной.

«В виду того, что борьба народа с правительством не может более ограничиться одной дезорганизацией хозяйственной жизни страны при помощи всеобщей забастовки и уже сейчас принимает во многих местах России характер вооруженного выступления, Совет Рабочих Депутатов решает перейти немедленно к боевым действиям и приступить к организации вооруженного восстания».

Восстание было уже позади, оно уже было подавлено, но незыблемой оставалась вера в восстание, как в некоего грядущего Мессию. В этой вере искал пролетариат опоры и утешения под бременем падавших на него ударов...

* * *

Вскоре после Нового Года меня вызвали на допрос.

Допрашивал меня молодой жандармский ротмистр. Обвинение было формулировано так: « . . .принадлежал к сообществу, присвоившему себе наименование Совета Рабочих Депутатов и поставившему целью насильственное ниспровержение существующего государственного и общественного строя». Прочитав эту формулу, ротмистр сказал:

— Ну, разумеется, — «виновным себя не признаю, а в об'яснение по существу пред'явленного мне обвинения имею заявить следующее»...

Внеся эти слова в протокол, он принялся далее записывать мои об'яснения, сводившиеся к тому, что членом Совета я не состоял, а заседания посещал в качестве гостя.

Записав мои показания, жандарм протянул мне бумагу для подписи. Пробежав протокол, я убедился, что составлен он правильно, и готов был скрепить его, но меня остановило такое соображение:

— Если я подпишусь под заявлением, что не признаю себя виновным в принадлежности к сообществу, присвоившему себе такое то наименование и поставившему себе такие то цели, то не будет ли это означать, что я подтверждаю квалификацию, данную этому «сообществу» жандармами?

Поразмыслив, я заявил ротмистру, что протокола в таком виде подписать я не могу. Начался спор.

Наконец, ротмистр в сердцах передал мне лист и сказал:

— Исправьте сами, как хотите, только оговорите, в конце, поправки.

Я исправил протокол следующим образом:

— «Виновным в пред'явленном мне обвинении в том, что я принадлежал к сообществу, которое, по выражению допрашивающего меня жандармского ротмистра, «присвоило» себе наименование Совета Рабочих Депутатов и, по мнению того же ротмистра, поставило себе целью насильственное ниспровержение . . . и т. д.»

Ротмистр был взбешен, но протокол принял.

Недели три спустя, уже в конце января, меня вызвали, под вечер, в тюремную контору. Выводящий предупредил меня:

— Пальто, шапку возьмите, а вещей не надо.

Из конторы меня отправили на извозчичьей пролетке, в сопровождении надзирателя, в жандармское управление. Здесь не было ни малейшего намека на провинциальный уют, царивший в жандармском управлении в Новгороде. На всем лежал отпечаток какой-то холодной торжественности. При входе меня тщательно обыскали. Затем, пришлось долго ждать в огромном зале с бесконечным, крытым зеленым сукном столом в форме «покоя». Наконец, дверь отворилась, и за столом появился маленький, плюгавенький человечек с голым черепом и топорщащимися черными усами (как я узнал позже, это был жандармский генерал Иванов).

Развернув на столе перед собой несколько об'емистых папок с надписью красным карандашом «С. Р. Д.», он погрузился в бумаги. Затем, будто неожиданно заметив мое присутствие, набросился на меня с раздражением:

— Зря бумагу портите.

Я подумал, что таково нелестное мнение генерала о моих литературных занятиях[1]), но он продолжал кричать:

— Протокол испачкали! Напрасно ротмистр вам разрешил. Безобразие!

Я заметил:

— Без этой оговорки я не мог подписать протокола.

— А чем, по вашему, занимался Совет Рабочих Депутатов? спросил генерал.

Я ему указал на комплект «Известий», лежавший перед ним:

— Прочтите. Здесь все написано.

Генерал ударил рукой по столу:

— Неправда! В Совете бомбы выделывали. Вот чем у вас занимались. Нам все известно.

Я возразил:

— Это просто вздор.

Генерал сердито спросил меня:

— А кто был председателем Совета?

Вопрос был явно ненужный. Почувствовав ловушку, я ответил:

— Не знаю.

Генерал вскочил в бешенстве:

— Как? Вы не знаете, что председателем Совета Рабочих Депутатов был Хрусталев-Носарь? Да об этом все газеты писали. Вы, значит, газет не читали? Вы просто не хотите давать показаний.

— О том, что происходило в Совете, я, действительно, показаний давать не буду. Могу сказать лишь одно: на заседаниях Совета происходило именно то, что описывается в отчетах «Известий».

[1]) Я печатался в журналах с начала 1905 года.

— Прибавить ничего не можете? Пишите!

Он подал мне через стол бланк и, пока я писал, не сводил с меня пристального, злого взгляда. Когда я кончил, он перечел мои показания и сердито буркнул:

— Хитрости.

Затем так же сердито протянул мне заранее заготовленную бумагу и сказал:

— Вот это еще подпишите.

Это было постановление об изменении по отношению ко мне меры пресечения и о моем освобождении под надзор полиции. Итак, уже решив освободить меня за отсутствием улик, жандармское управление хотело напоследок попробовать, не удастся ли все же выпытать от меня что-нибудь интересное...

Жандарм, провожавший меня до лестницы, спросил, желаю ли я вернуться в тюрьму за вещами, или предпочитаю прямо отправиться домой. Я ответил, что предпочитаю ночевать дома. Дверь передо мною отворилась, и я вышел на волю.

Был уже поздний вечер, улицы были почти безлюдны. Итти было далеко, — семья моя жила в Коломне. Я взял извозчика.

После одиночного заключения, была потребность поговорить с живым человеком, и я спросил своего «Ваньку»:

— Как теперь в Петербурге?

Извозчик ответил, не спеша:

— Ничего, слава Богу, теперь много лучше стало. Теперь порядок. А то, вот, свобода была...

— При свободе разве хуже было?

— Вестимо, хуже: гужи резали, ездить не давали, а ты езди — не езди, а хозяину три целковых подай...

* * *

О том, что ждало меня на воле, я расскажу в следующей книге.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

1905-ый год.

